

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ЦЕРКВИ.

*Книга 6*

ПРОТОПРЕСВИТЕР  
ВАСИЛИЙ ЗЕНЬКОВСКИЙ.

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ У ВЛАСТИ  
(15 МАЯ — 19 ОКТЯБРЯ 1918 Г.).  
ВОСПОМИНАНИЯ

Публикация текста и редакция  
М. А. Колерова



КРУТИЦКОЕ ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ  
Москва 1995 г.

**МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ЦЕРКВИ**  
**КНИГА 6**  
**(работа над серией ведется с 1991 г.)**

---

*Редакционная коллегия тома:*  
кандидат искусствоведения,  
доцент протоиерей Валентин ЧАПЛИН  
кандидат богословия игумен Иннокентий (ПАВЛОВ)  
профессор Дмитрий Владимирович ПОСПЕЛОВСКИЙ  
кандидат историч. наук Модест Алексеевич КОЛЕРОВ  
кандидат историч. наук Александр Юрьевич ПОЛУНОВ  
Илья Владимирович СОЛОВЬЕВ

*В издании книги принимала участие «Фирма Алеся»*

**Ответственные за выпуск книги**  
Гнатченко А. Н., Пичугин А. В., Вановский Д. В.,  
Беденко Д. В. (сотрудники Крутицкого Патриаршего  
Подворья), Богданов Ю. Н., художник В. Н. Сергутин,  
Фото на обложке В. Н. Корнюшина



*Протопресвитер Василий Зеньковский*



## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

С Божией помощью Крутицкое Патриаршее Подворье выпускает в свет шестую книгу основанной в 1991 году серии «Материалы по истории Церкви». Имя ее автора — о. Василия Зеньковского (1881—1962), выдающегося ученого и церковно-общественного деятеля, профессора Богословского Свято-Сергиевского Института в Париже, первого Председателя Русского Студенческого Христианского Движения (РСХД), одного из ярких представителей русского религиозно-философского возрождения XX века за последнее десятилетие стало широко известным отечественным читателям. В эти годы были переизданы его основные работы, в том числе капитальная «История русской философии», «Проблема воспитания в свете христианской антропологии», «Апологетика» и др. С падением идеологических барьеров доступными стали основные труды о. Василия, изданные за границей. Его памяти был посвящен сдвоенный «Вестник РСХД» (№ 66—67 за 1962 г.), а также выпущенная Движением в 1984 г. брошюра «Памяти отца Василия Зеньковского».

В упомянутой книге помещены краткие биографические сведения об о. Василии, статьи, ему посвященные, а также тексты речей, произнесенных на вечере его памяти, организованном в 1983 г. по случаю столетия со дня его рождения Св. Сергиевским Богословским Институтом, РСХД и Парижским храмом Введения во Храм Пресвятой Богородицы, где долгие годы проходило его пастырское служение<sup>1</sup>. В третьей части книги напечатаны отрывки неопубликованных воспоминаний о. В. Зеньковского, где он, между прочим, упоминает и о ныне впервые издаваемой рукописи «Пять месяцев у власти». Этот текст хранился в эмигрантском Русском Заграничном Историческом архиве в Праге, но оттуда в 1947 г. был передан в Публичную Библиотеку Петербурга, а в настоящее время находится в Государственном архиве Российской Федерации в Москве (ГАРФ). По рукописи ГАРФа он воспроизводится в настоящем издании.

Воспоминания «Пять месяцев у власти» посвящены фактам, имевшим место в 1918 году на Украине, когда В. В. Зеньковский являлся министром исповеданий в правительстве гетмана П. П. Скоропадского. В них идет речь о важнейших церковных и некоторых общественно-политиче-

---

<sup>1</sup> «Памяти отца Василия Зеньковского», издание РСХД. Париж, 1984 г.

ских событиях этого времени, свидетелем и участником которых суждено было стать о. Василию. Надо сказать, что в последующие годы он говорил об известных «ошибках» в своей деятельности, к которым причислял и участие в правительстве гетмана. «Ошибка, — писал о. Василий в 1956 г., — конечно, было у меня без конца, впрочем, если бы я начал заново жить, некоторые ошибки я все равно повторил бы — настолько они вытекали из самой моей души. (...) Но вот, что уже было настоящей и ненужной ошибкой в моей жизни, очень много создавшей мне позже осложнений — это непротивление деятелям Украинского Народного Университета, когда меня упростили читать (по-русски! по украински я никогда не умел говорить) лекции по истории философии. (...) Вот я и стал профессором Украинского Университета. А когда собрался первый всеукраинский съезд духовенства и мирян и меня устроители позвали туда — я пошел. Так как у меня уже было имя, то естественно, что меня выбрали в епископский Совет. А при созыве отдельного украинского Собора (с благословения Патриарха) меня выбрали в Товарищи Председателя. (...) Но моя украинская «карьер» этим не окончилась, — попал я, совсем уже *ПРОТИВ СВОЕЙ ВОЛИ*, в Министры исповедания при Гетмане. Но друзья по Духовной Академии и Рел.-Фил. Обществу настаивали — я не сумел противиться. Увы! Ни честолюбия, ни славолубия у меня не было, но я видел (насколько тогда вообще что-либо можно было видеть), что я нужен действительно, что с моими данными я, может быть, смогу что-нибудь сделать для церковного *МИРА*. Этот мотив победил мое сопротивление»<sup>2</sup>.

Желание о. Зеньковского послужить Церкви, как свидетельствовали об этом знавшие его, было весьма сильным. На все его творчество наложило серьезнейший отпечаток долголетнее пребывание вдали от Родины в вынужденном изгнании. Однако эмигрантское существование не породило в нем «абсолютизации» русской идеи и идеализации прошлого русской нации и истории Российской Церкви. Он не пошел по пути горделивого замыкания на национальных традициях потому что видел не только изумительные дарования русского духа, но и страшные его провалы, кошмарное его буйство. Видел он и трагические тупики западной секулярной культуры, возникшие из-за того, что основные темы, которые и донныне вдохновляют западное творчество, «генетически и по существу» связаны с христианством, а решение этих тем ищут непременно вне христианской Цер-

---

<sup>2</sup> «Памяти отца Василия...», с. 46, 98—99.

кви<sup>3</sup>. Вот почему он подчеркивал необходимость построения в России «целостной культуры», т. е. культуры, основанной на началах Православия и в духе его. «Эта историческая задача вручена нам, она одна только и может составить содержание нашего будущего, но она должна быть освобождена от привкуса национализма, должна, в соответствии с внутренним духом Православия, быть универсальной». «...Если нам вверено Православие, то еще надо быть достойным того, чтобы стать его светильником». «...Надо служить Православию, как истине, служить в меру сил, не возносясь опасным мессианизмом». «Наш путь, наше призвание — послужить Православию перенесением его начал, его духа в нашу жизнь; это и есть построение православной культуры, раскрытие в частной и исторической жизни заветов христианства. Задача эта так сложна и трудна, а вместе с тем именно для нас так необходима и исторически неустранима, что здесь нужно с нашей стороны чрезвычайное духовное напряжение»<sup>4</sup>. О. Василий не мыслил разрешение этой ответственной задачи без торжества церковной свободы. «Не сверху, а снизу, не путем регламентации, а на путях свободного созидания должна строиться новая жизнь, побеждая своим очарованием русскую душу и осуществляя великий синтез традиционализма и творчества, церковности и свободы». Он выступал против замкнутости и изоляции Православия, так как считал, что «отбрасывать то, что отошло от Православия, не по братски и означает признание бессилия Православия». Он выступал против бездумной критики Запада, ратовал за то, чтобы осудить «религиозный разброд внутри самой России, привести к свободе и любви — к единству в Церкви и через Церковь»<sup>5</sup>.

Помимо работы в Русском Студенческом Христианском Движении он преподавал в Богословском Институте, вел большую религиозно-просветительскую работу, сотрудничал в ряде печатных изданий. В 1942 г. он рукоположен Митрополитом Евлогием (Георгиевским) в священник сан. Это рукоположение, по словам видного современного богослова о. Алексея Князева (1913—1991), «...показало новый путь, открывающийся перед православным пастырством в наши дни. Не говоря о прочих заслугах о. Василия, в частности, о том, что сделано им в области православной фило-

---

<sup>3</sup> Прот. В. В. Зеньковский. «История Русской Философии», т. 2, с. 464, Париж, 1989 г.

<sup>4</sup> Прот. В. Зеньковский. «Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей». Париж. 1955, с. 275.

<sup>5</sup> Прот. В. Зеньковский. «Рус. мыслители...», с. 476—478.

софии, можно с уверенностью сказать, что именно о. Василию было дано воочию явить в его священствовании, каким духоносным и незаменимым орудием, вместе с личной духовностью, могут оказаться в деле окормления христианских душ наука, культура и знание, освященные духом благодати».

Как ученый-христианин, о. Василий Зеньковский понимал, что «вся современная культура так глубоко связана в своих корнях с христианством, что ее нельзя оторвать от христианства (...)». Задачу науки он видел в том, «чтобы во всех точках, где намечается действительное или мнимое расхождение знания и культуры с Церковью, показать, что правда христианства отстаётся незыблемой»<sup>6</sup>.

Исключительная эрудиция о. Василия, глубина его мысли отразилась и в предлагаемых вниманию читателей воспоминаниях, насыщенных серьезными историческими экскурсами и многими обобщениями. Все это делает публикуемый труд о. Зеньковского исключительно интересным и, надо полагать, весьма полезным в наше беспокойное время. Особенно важным его публикация представляется нам в связи с последними событиями на Украине, где бушующие националистические страсти закрывают в сознании некоторых христиан настоящий смысл их пребывания в ограде исторической Церкви. Есть надежда, что разобравшись в минувших событиях мы сумеем лучше понять настоящее и не повторим ошибок, уже допущенных прежде. Издатели будут рады, если печатаемый теперь труд поможет этому осознанию.

В заключении хотелось бы выразить здесь признательность парижскому издательству «ИМКА-ПРЕСС» за помощь, которая была оказана нам его московским представительством в работе над изданием этой книги.

Илья СОЛОВЬЕВ.

---

<sup>6</sup> Проф.-Прот. в. Зеньковский. «Апологетика», Киев, 1990, с. 7.



## Предисловие публикатора

Воспоминания В. В. Зеньковского «Пять месяцев у власти» публикуются впервые. Основой публикации послужила авторская рукопись, хранящаяся в собрании Государственного Архива Российской Федерации: ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Дд. 351-355. Исходя из содержания текст воспоминаний датируется летом — началом осени 1931 года. Следует отметить, что оригинальный заголовок воспоминаний пишется несколько иначе, нежели это сделано в настоящем издании: «Пять месяцев у власти (15/V—19/X.1918)». Изменения в его написание внесены исключительно из издательских соображений.

По-видимому, настоящий текст представляет собой первую (и единственную) редакцию воспоминаний. В. В. Зеньковский, очевидно, не имел времени даже полностью выверить текст. В нем довольно часто встречаются фактические ошибки в именах и фамилиях, описки, грамматические и орфографические несоответствия. Не выработанными остались единые принципы употребления прописных и строчных букв, сокращений и т. д. Все отмеченные погрешности исправлены публикатором, а графические принципы текста, насколько это было возможно, приведены к единообразию. Однако главной задачей публикатора все же было максимальное сохранение авторского стиля мемуариста и присущих его времени и среде правил письма. Авторские сокращения (там, где это необходимо для внятности изложения) раскрываются в угловых скобках, слова, пропущенные Зеньковским и предположительно восстановленные публикатором, помещаются в квадратные скобки. Воспоминания публикуются полностью, без каких либо сокращений. (Часто встречающиеся в тексте отточия являются особенностью стиля Зеньковского и не должны восприниматься читателем как указания на изъятия текста.)

Обзорный и даже, отчасти, просветительский характер воспоминаний Зеньковского позволил в настоящем издании отказаться от комментирования текста. Полный, с указаниями на политический, церковный, культурный контекст, с расшифровкой многочисленных имен, аллюзий и скрытых цитат, с уточнением и дополнением сообщаемых сведений, — полноценный комментарий к воспоминаниям Зеньковского, несомненно, необходим. Но его объем, как можно себе представить, сравнился бы с объемом мемуаров и по-

требовал бы весьма длительной подготовки: все это вместе взятое чрезвычайно затруднило бы скорый выход в свет самих воспоминаний. Поэтому публикатор вынужден с сожалением оказаться от комментирования текста.

М. А. Колеров

## Предисловие.

С 15/V по 19/X я входил в состав Совета Министров при Гетмане П. П. Скоропадском в качестве Министра Исповеданий. То, что мне пришлось видеть и пережить в эти месяцы, уже давно принадлежит истории, и мне кажется уместным ныне записать то, что удержала моя память из этого периода. Как до своего вступления в Совет Министров, так и после оставления своего поста я совершенно не занимался активно политикой, но зато в течение 5 месяцев мне пришлось невольно быть ответственным участником интересного в различных отношениях политического опыта, о котором до сих пор и в русской, и в украинской политической и исторической литературе нет объективного и вдумчивого рассказа. Принадлежа по своему происхождению на 7/8 к украинцам, я по воспитанию и чувствам всецело и абсолютно принадлежал России, — и это создавало лично для меня постоянные трудности на обе стороны. Те русские люди, которые узнавали о моем участии в украинском правительстве, нередко начинали относиться с недоверием ко мне, как *русскому* человеку. А украинцы, хорошо зная о том, что я не только не разделяю политических идей сепаратизма, но и по своим убеждениям и чувствам являюсь русским человеком, относились и относятся ко мне с чрезвычайным недоверием, нередко награждая меня званием «зрадника» (изменника). А между тем, помимо своей воли, мне пришлось, будучи русским человеком, действовать в составе украинского правительства... Я не жалею о том, что судьба моя сложилась именно так. По роду своей деятельности я не принадлежу к тем, кто может претендовать на широкое общественное внимание — и это позволяет мне относиться спокойно и даже равнодушно ко всем несправедливым и даже враждебным характеристикам меня вроде той, которую белло, между прочим дает мне А. И. Деникин в своих «Очерках русской смуты». А в то же время я хорошо сознаю, что судьба дала мне редкую возможность войти в враждебный ныне России стан украинской политической интеллигенции, дала возможность составить (объективное, надеюсь) суждение о русско-украинской проблеме. Не случайно и не безответственно послужил я делу Украины, оставаясь в то же время верным и сознательным сыном России. Я претендую на то, что то понимание русско-украинских отношений, которое

сложилось у меня, одно лишь дает надежный выход из тупика, в котором пока пребывают эти отношения. Именно это убеждение, сознание действительной и серьезной *политической и культурной проблемы об отношении России и Украины*, сознание, что от решения этой проблемы будет зависеть очень многое в судьбах России побуждает меня записать свои воспоминания о пребывании своем в течение 5 месяцев в составе украинского правительства.

Три основных узла соединяют Россию и Украину — политический, культурный и церковный. Следовало бы внести сюда еще экономическую связь России и Украины, которой тоже принадлежит исключительно важное место в вопросе об русско-украинских отношениях, но я по складу своих занятий и интересов всегда очень далеко стоял от экономической области и решительно уклоняюсь от того, чтобы касаться этой стороны вопроса. Что же касается указанных трех сфер, то в них я вращаюсь давно и имею смелость с достаточной настойчивостью претендовать на объективное значение своих взглядов в этих вопросах. Чтобы сделать для читателя настоящих мемуаров понятным сплетение этих трех моментов в тех событиях, которые я имею в виду описать, я считаю необходимым предпослать моим воспоминаниям большое введение, могущее помочь читателю ориентироваться в той обстановке, в которой происходили описываемые мной события. Это введение должно осветить политические, культурные и церковные события, предшествовавшие периоду, который я описываю, и должно состоять из трех отдельных глав. Кроме того, к основному содержанию мемуаров я считаю целесообразным присоединить особую часть, дающую в обобщенной форме итоги моих наблюдений и размышлений.

В настоящем предисловии мне хочется упомянуть вот еще о чем. Зимой 1925 г. в Праге состоялось несколько закрытых собраний русских и украинских политических деятелей — по 4—5 человек с каждой стороны. Это были П. П. Юренев, А. В. Маклецов, А. В. Жекулина, А. Л. Бем и я — с русской стороны, Д. И. Дорошенко, А. И. Лотоцкий, С. Н. Тимошенко и А. Я. Шульгин — с украинской. Инициатива этих собраний исходила от Д. И. Дорошенко и меня (мы были с ним вместе в Совете Министров — Д. И. был Министром Иностранных Дел — и еще с тех пор мы были дружны с ним), — и оба мы попеременно председательствовали. Эти собрания ставили себе целью выяснить и конкретно формулировать условия русско-украинского сближения. Если мне изменяет память, состоялось всего 5 собраний; прекратились они за очевидной для обеих сторон

бесплодностью. Если Д. И. Дорошенко активно и сознательно стремился к выяснению взаимно приемлемых принципов русско-украинских отношений, то остальные представители украинской политической интеллигенции (принадлежавшие к группе социалистов-*федералистов*) были настолько неуступчивы и так мало обнаруживали охоты к тому, чтобы договориться до чего-либо положительного, что для обеих сторон стали неинтересны и бесцельны эти встречи.

Мне представляются эти беседы чрезвычайно знаменательными — притом в роковую сторону. И в этом случае — как и до него не раз — я убедился, как трудно *обеим* сторонам понять друг друга и как мало у *обеих* сторон воли к тому, чтобы достигнуть этого понимания. Из всех присутствующих лишь 3 человека (Дорошенко, Бем и я, — да отчасти А. В. Жекулина) имели эту волю к взаимному пониманию и сближению, — остальные от этих встреч лишь окрепли в своих взаимно неприемлемых позициях. Украинцы покрывались в глазах русских стремлением к сепаратизму (хотя он и не составлял самого существа украинской позиции, как будет показано, при случае, ниже при анализе украинской политической мысли), а русские в глазах украинцев рисовались до конца начиненными «московским централизмом», что тоже было верно в очень незначительной степени. Беседы шли в исключительно дружественной атмосфере, в чрезвычайно корректных тонах, происходили они обеих сторон в обстановке, чуждой страстей и давящей силы реальной жизни — мы все были эмигрантами, чающими уже не мало годов возможности вернуться на родину. У всех была эта скорбь, создающая тихое раздумье и готовность спокойно взвесить слова собеседника, на сердце у всех было сознание, что в разъединенности политических групп и Россия и Украина имели главный источник распада и ослабления политических сил. И все же — несмотря на максимально благоприятные условия для беседы она осталась бесплодной. Боюсь, что для обеих сторон не пришло тогда еще время плодотворной и жизненно трезвой встречи, — но кажется, не пришло оно еще и ныне? Неужели между Россией и Украиной должна открыться настоящая война, должна пролиться кровь, чтобы обе стороны поняли историческую необходимость соглашения и прочного, основанного на уважении и признании действительно существенных интересов мира? Боюсь думать об этом, но, кажется, это вооруженное столкновение одно может сурово научить русских политических мыслителей и деятелей признавать законность и неустрашимость *основных* требований

украинцев, а украинских политических мыслителей и деятелей научить трезвости и сознанию неосуществимости и исторической бесплодности добиваться идеала державности «Великой Украины».

## Введение.

### Глава I.

*Русская революция и ее политические проблемы до 1918 г.  
Положение на Украине до возникновения гетманщины.*

Формально началом русской революции считают последние числа февраля и первые дни Марта 1917 г. Однако разложение “старого порядка” приняло острый характер еще с осени 1916 г., и убийство Распутина, зловещим эхом прокатившееся по всей России, было уже сигналом начинавшейся бури. Паралич воли, растерянность, потеря веры в себя достаточно говорили о том, что власть уже не владеет событиями, что старый “порядок” уступает место хаосу, в котором исчезают все устои прежней жизни. Мне незачем здесь входить в общую характеристику того, что происходило в России, начиная с Марта 1917 г. — нам необходимо лишь подчеркнуть в событиях 1917—18 гг. то, что имело свое значение для того периода на Украине, который носит название “гетманщины”, — и прежде всего необходимо для этого выделить в сложном потоке событий 1917—1918 годов те три момента, которые, по моему убеждению, имели решающее значение для путей России и ее отдельных частей. Эти три момента следующие: политический, социальный, национальный. Все они чрезвычайно связаны один с другим, хоть основное значение принадлежало лишь двум последним: политические перемены всюду (и в пределах России, и в “лимитрофах”) определялись либо национальным, либо социальным мотивом. Отделившиеся от России лимитрофы нашли в политическом обособлении средство для разрешения своих национальных задач, — но тщетно они думали бы освободиться от того бремени, которое перешло к ним от прежней России в виде острой социальной проблемы. Революционный процесс в России, конечно, разлился потому, что старый строй просто рухнул и естественно открыл простор для каких-то новых политических процессов, — но динамическая напряженность революционного процесса, неожиданно для всех его деятелей, начиная с к<онституционных> д<емократов> до с<оциал>-д<емократов> и даже большевиков определялась *не отсутствием сопротивления*, а тем, что история требовала разрешения двух первейших задач былой России — вопросов социального и национального. Русская революция, может

быть, искусственно сейчас затягивается властвующей партией, превосходно усвоившей и знающей технику тирании, — но, возможно, что самая сила тиранов определяется тем, что русская земля в каком-то смысле *нуждается еще* в переходной власти. Когда мавр сделает свое дело, он должен удалиться; когда то, что нужно было жизни придет — тогда внутренне закончится революционный процесс, хотя, может быть, не сразу свалится тирания. Но не говоря о сегодняшнем дне, можно совершенно убежденно отстаивать то положение, что революция имела по существу две положительные задачи, которые должна была решить. Политическая ритмика в нашей революции определялась именно этим — Временное Правительство, было, конечно, плохим, а, может быть, и никаким *Правительством*, ибо не имело (да и хотело ли иметь? Сейчас, через 14 лет, кажется, что и господин Львов, и все его сотрудники были свособразными толстовцами, гнушавшимися власти...) никакой власти. Но оно могло бы держаться, если бы все же при нем могли быть разрешены основные требования жизни. Большевики психически овладели народом потому, что они кончили войну, отдали крестьянам всю землю, — а национальностям предоставили действительно полную (по крайней мере, первое время) свободу “самоопределения”. Большевики в значительной мере обманули тех, кто им поверил, но благодаря своему обману они овладели властью, — и раз ею овладев, сумели ее удержать. Временное Правительство не обладало властью, точнее — имело ее настолько, насколько не угасшая в населении инерция и действительная потребность в управлении считалась с Временным Правительством. Но всякий раз, как у него находилась достаточная сила своеволия или сопротивления — Временное Правительство шло на уступки. В украинском вопросе это сказало с полной силой; положение здесь ухудшалось тем, что в Петрограде не имели определенного отношения не только к Украине, *но и вообще к национальной проблеме в России*. Не было во Временном Правительстве определенного отношения и к социальной проблеме. Это значит, говоря другими словами, что во Временном Правительстве была ясна и определена лишь чисто политическая задача, задача “сведения концов с концами” в управлении огромным государством. Связь с иностранными державами, продолжение военных действий с Германией, наконец подготовка учредительного собрания, на которое возлагались все надежды, — все это как бы оправдывало Временное Правительство в том, что оно не хотело стать настоящей властью. Большевики не посчитались с “волей народа” и разогнали



Учредит<ельное> Собрание, — а Временное Правительство выпустило простую возможность направить огромную страну на верный путь — все из-за почтительного отношения к прерогативам Учредит<ельного> Собрания. И социальный, и национальный вопрос *откладывались* — и это в пору политического лихорадочного бреда, овладевшего на глазах всех “русской стихией“! Немудрено, что овладели революцией другие, — они пришли с лозунгом “братания“, они просто объявили все земли крестьянскими, стгоряча декретировали полную свободу национальным группам и легко вступали в сотрудничество с революционными националистическими силами. В частности, жалкая власть, именем Временного правительства управлявшая Киевом, вскоре после переворота в Петербурге была сброшена украинцами и большевиками совместно. Как известно, до сих пор существуют украинские националисты, верящие, что их националистические чаянья могут осуществиться при помощи большевиков, — а уж тогда и говорить нечего. Победа большевизма была победой всяческого максимализма — поэтому так естественен в ту пору был тесный союз большевиков и левых с <оциалистов>-р<еволюционер>ов, развивавших максималистские идеи в вопросе о земле, так прост для большевиков был союз и с украинцами, и с грузинами, и другими революционными национальными группами, поднявшими знамя национального самоопределения вплоть до отделения от России.

Характерной чертой русской революции явилось бессилие и пассивность русской буржуазии и помещичьего класса. Единственные партии борьбы против большевиков принадлежали русскому офицерству и небольшой кучке интеллигентов типа к. д. Правые политические деятели, столь несносно шумевшие, когда они находились под покровительством власти, просто исчезли, провалились под землю, или перекрашивались в к. д., а чаще более в левые цвета. Не много чести принес 1917 г. и русской интеллигенции, что ярче всего сказалось в безвольном риторизме пресловутого Государственного Совещания или безответственной тактике Предпарламента, но все же интеллигенция как некий бессословный “орден“ дала не только тех, кто губил и замучил Россию, но дала немало крепких, сильных борцов за Россию — начиная с Шингарева, Кошкина и др. Что же касается русской буржуазии и помещичьего класса (поскольку он не входил в состав политической интеллигенции), то они оказались просто в сетях. Мученическая смерть бесконечного числа их навсегда обелила лично этих людей, павших жертвой большевистского

террора, — но поскольку дело идет о классе, а не людях, то надо признать, что на сцене русской революции действовали всего только такие силы — народ (крестьяне и рабочие), демобилизованные и кадровые солдаты и матросы с одной стороны, — а на другой стороне русская интеллигенция, которая по своей разношерстности и пестроте течений, по неумению и нежеланию сговариваться, могла явить лишь постыдное зрелище политической негодности. Отдельные исключения (во всех политических течениях) не смягчают картины. И только в группе большевиков русская интеллигенция выставила несколько людей с умением властвовать, с желанием овладеть революцией. Несчастье России сравнительно с другими странами заключалось в том, что, в то время как германская революция выдвинула Эберта и Носке, как итальянская выдвинула позже Муссолини, — в России с талантами власти оказались Ленин да его сподвижники Троцкий и Дзержинский... “Эволюция” власти в России докатилась до Октября. Долго шел процесс “завоевания” России большевиками, которые в ту пору не имели еще регулярной армии, — и когда в Феврале был подписан Брестский мир с немцами, когда большевики поладили с ними и получили возможность сосредоточить все усилия внутри России — им пришлось еще больше чем три года “собирать Россию”...

На Украине этапы ее политического развития были следующие. Сразу же после падения в России монархии на Украине вспыхнуло сильное национальное движение, революционно организовавшее “Центральную Раду”, куда, кроме делегатов от украинских партий вошло несколько представителей от русских левых партий на Украине. В различных губерниях Украины складывалась какая-то “местная” власть, но Киев, где собралась (если мне память не изменяет, уже в Мае м<есяце>) Центральная Рада, сразу стал “столицей”, центром украинского национального движения. В Петербурге жило несколько видных членов революционных украинских партий, которые стали входить в сношения с Временным Правительством на предмет установления *автономии* Украины. Но горячие головы, заседавшие в Центральной Раде, не считались с тем, о чем шла речь в Петрограде. Они сами установили несколько “генеральных секретарей”, которые были ответственны перед Центральной Радой; издали несколько манифестов к украинскому народу (“Универсалы”) и очень рано (помнится, уже в Июне 1917 г.) выставили идею самостоятельной (“самостийной”) Украины. В Петрограде мало считались с этими волнениями, не придавали им большого значения, видя

во всем этом естественную “реакцию” подпольных течений, впервые получивших свободу. Маниловщина, определявшая различные шаги Временного Правительства, присуща была и всем мероприятиям Временного Правительства в отношении Украины. В качестве “знатоков” были посланы в Киев Керенский, Терещенко и, если не ошибаюсь, Некрасов, которые от имени Врем. Правительства заключили своеобразный конкордат с Центральной Радой, признав за ней право ответственного руководства жизнью Украины и лишь ограничив это право местными делами (просвещения, земства и т. д.). Однако в эту же пору началось формирование украинских военных единиц и С. В. Петлюра сохранил звание военного министра (атамана), которое получил еще в первые дни Центральной Рады.

Никакой “конституции” в управлении Украиной, конечно, не было, но в виду того, что война с немцами еще велась и Киев входил в прифронтовую полосу, Верховная власть в т. наз. “Юго-Западном Крае” принадлежала командующему Киевским Военным Округом, каковым был назначен достойнейший по своим личным качествам, разумный и спокойный человек, менее всего подходивший, однако, для того, чтобы быть носителем власти — К. М. Оберучев. Это своеобразное двоевластие — Оберучева и Центр. Рады — никого не смущало ни на Украине, ни в Петрограде — ведь такой же беспорядок и многовластие были всюду. В последнем счете все же “верховой властью” оказывалась та группа, которая могла двинуть войска и чисто физически настоять на своем.

Это было состояние политического хаоса, который не был до конца разрушительным только потому, что все еще действовала та колоссальная инерция, которая ввинчивалась в жизнь в годы войны. Медленно этот хаос побеждал инерцию, — еще в первые годы большевизма сила инерции не была совсем сломлена, — а все же переворот 25 Октября означал победу хаоса и первый шаг к новому — советскому — “порядку”.

Первые шаги самостоятельной Украинской республики, провозглашенной совместно с большевиками, сразу же показали, что украинские интеллигенты (во главе с Винниченко) несколько не лучше русских. Не прошло и двух месяцев, как небольшой отряд Муравьева осадил Киев, — и в несколько дней Киев сдался, а министерство во главе с Голубовичем (украинский с.-р.) удалилось на запад, что <бы> вскоре <после> этого начать сепаратные переговоры с австрийцами и немцами. В Феврале м<есяц> заключается украинским “правительством” (которое собст-

венно ничем никогда не управляло) мир, и в первых числах Марта Киев увидел немецкие войска, оттеснившие большевиков. Началась страда оккупации. Политическое положение характеризовалось тем, что немцы заставили большевиков признать факт “независимой Украины“, а в то же время немецким войскам, оккупировавшим Украину, пришлось с боем продвигаться вперед. Таким образом, на северной и центральной части русско-немецкой границы немцы не воевали с большевиками, на юге же, очерчивая границы Украины, немцы воевали с теми же большевиками. Все это было такой комедией со стороны немцев!

Для чего же им понадобилось затем вести “войну“ с большевиками, в качестве “вспомогательных войск“ при Украинском Правительстве? Для чего понадобилось затем вести (и бесконечно тянуть) так наз. “мирные переговоры“ украинцев с большевиками — между Раковским и Шелухиным? Конечно, ключ к этой загадке заключался в том, что в то время называлось “планом Рорбаха“ (по имени известного немецкого политического писателя и публициста), — в создании самостоятельной Украины, отделенной от России и входящей в систему государств Центральной Европы. Это был план тех “Randstaaten“, в силу которого немцами (!) были воссозданы Польша, Литва, Латвия, Эстония как самостоятельные государства. Таким же государством объявлялась Украина — и немецкие войска номинально находились будто бы в распоряжении Украинского Правительства. На самом деле немцы очищали южные части России по своему плану, стремясь дойти до плодотворной Кубани, чтобы обеспечить хлебом и скотом истощенные Германию и Австрию. Но фикция “вспомогательных войск“ держалась все время...

Немцы попали в Украину при содействии украинских с.-ров, но Украина была слишком нужна им самим, чтобы они могли серьезно опираться на круги с.-ров. Они искали буржуазные элементы на Украине, и естественно, что Киев был центром этих всех исканий и переговоров. Первые месяцы немецкой оккупации принесли с собой очень существенный перелом в психологии промышленных и помещичьих кругов, которые не сговариваясь решили опереться на немецкую оккупацию. Да и как им было иначе поступить? Большевики буйствовали во всей России, первые вспышки только что начинавшегося добровольческого движения были еще ничтожны, переворот в Сибири, закончивший бесславный период Комитета Учред. Собрания и Директорий, был очень неопределенным. А немцы, испы-

танные в деле водворения “порядка”, устанавливали действительно возможность нормальной жизни. Насколько я могу судить по впечатлениям своим того времени, немецкая оккупация вызывала у всех очень тяжелое чувство — немцы были врагом, а не союзником, к немцам питали отвращение и часто ненависть, немцы же провезли в plombированном вагоне Ленина с его друзьями, слишком явно разрушали русскую армию (убийство Духонина и т.д.). Эти разрушительные действия немцев лишь усиливали враждебные чувства к ним, — а в то же время ужас большевистского террора диктовал обратное. Когда большевики завладели Киевом 26 Января 1918 г., как радовались почти все киевляне, что наконец положен конец буйствовавшему самостийничеству! Но уже через несколько дней все изменилось — и массовые расстрелы и убийства довели страх перед большевиками до крайней степени. То, что враги (немцы) освободили Кисв, освобождали Украину, было мучительно, а в то же время радостно, — открывались вновь возможность жизни, хотя бы под игом вражеской оккупации. И это чувство возвращающейся жизни было настолько всеобщим, настолько определяющим, что в нем сходились решительно все. С врагами пришла жизнь, нормальный порядок, безопасность — и уже через несколько дней после прихода немцев обыватель начинал осваиваться с фактом оккупации. Некоторое чувство омерзения и скрытого отталкивания, мне кажется, никогда не исчезало, но определяющим все же было не оно. И в первые же дни стало ясно, что радость нормальной жизни должна быть куплена дорогой ценой — очень скоро стал ясен смысл оккупации, когда немецкие солдаты и офицеры стали посылать бесконечные посылки в Германию. Хищничество пропитывало собой все, захватывая не только солдат, но и высших офицеров, а за хищничеством отдельных лиц стояла систематическая кража огромных богатств — в том числе и военных, скопленных тылом огромного Юго-Западного фронта. Даже обыватель, а тем более люди ответственные почувствовали, что с оккупантами надо вступить тоже в борьбу, что надо от них обороняться, надо вообще *урегулировать* отношения между населением и оккупантами. Это и была проблема “власти” местной, проблема организации местного управления. Сами немцы — и это был порядок, всюду проводимый ими на местах “оккупации” — нуждались для лучшего использования богатств страны в том, чтобы местное управление составлялось из местных людей. В украинских с.-р., еще недавно братавшихся с большевиками, они, конечно не могли видеть для себя опору в населении — отсюда их

стремление завязать связи с украинской буржуазией. Весь Март и Апрель тянулись эти поиски — и на ловца, конечно, набежал зверь. Для немцев было несколько неожиданным, что крупная буржуазия была по существу русской — это им не годилось, им нужна была все же “украинская” буржуазия. Из переговоров полутайных, полуизвестных — родилась идея гетманщины, на которой готовы были сойтись русские промышленные и землевладельческие круги с умеренными украинцами.

Социалисты-федералисты погнушались войти в этот блок — и с точки зрения “самостийной Украины” они совершили тогда (как и много раз впоследствии) непоправимую ошибку. Единственным представителем (по-видимому все же с тайного согласия партии) этой партии был Дм. Ив. Дорошенко. Но, если я не ошибаюсь, он тогда вышел из партии (сохраняя с ней фактические связи и будучи ее “заложником” в министерстве), чтобы сохранить “незапятнанными” ее ряды. Этот весьма своеобразный блок русских октябристов и правых с одним левым украинцем включил в себя и русских к. д.. Я не рассказываю здесь истории кабинета Ф. А. Лизогуба. И не буду передавать разных эпизодов, разыгравшихся перед составлением кабинета. Во всяком случае в первых числах Мая был составлен кабинет во главе с Ф. А. Лизогубом, человеком, стоявшим ранее вне политики, весьма заслуженным земским деятелем (но таковым оставшимся и на посту главы Кабинета Министров), большим украинофилом, а после довольно усердным (“щирым”) украинцем. В составе Министерства кроме Д. И. Дорошенко был еще один украинец, однако ярко русской ориентации — Н. П. Василенко, член Ц<ентрального> К<омите>та партии к. д. от Киева. Я тогда не принимал участие в партии к. д., но стоял близко к ней и очень интересовался ее позицией. Не знаю, как и почему, но в первых числах Мая собрался “всеукраинский съезд партии к. д.”, которому предстояло решить вопрос об участии партии к. д. в составе гетманского Совета Министров (тогда входило три человека в Сов. Мин.: Н. П. Василенко, А. К. Ржепецкий и С. М. Гутник — из Одессы). Я бывал на этих собраниях, длившихся три дня. Прения были острые и горячие — но одолела ориентация Н. П. Василенко, горячо стоявшего за то, чтобы партия, считаясь с создавшимся положением, приняла участие в организации власти при наличии оккупантов. Задача правительства в этих словах понималась как борьба с хаосом и разорением, внесенными в край большевиками — и хотя и ни слова не было сказано, что этим должно быть положено начало освобождения и всей

России от большевиков, но именно эта общерусская задача все время стояла перед глазами и она звала к реальной и трезвой политике, к деловой работе в тех условиях, какие были созданы “независящими обстоятельствами“. Очень трудным оказался для ряда лиц вопрос об “украинской культуре“ и “национальной задаче“ на Украине. Одни просто не придавали никакого значения этому “временному и чисто декоративному“ моменту, считая, что, когда освободится вся Россия, эти фиговые листочки мнимого украинства спадут сами собой. В этом беззаботном и циническом даже отношении к “украинской“ проблеме (которую и проблемой-то не считали) пребывало довольно значительное число не только в партии к. д., но и в правых и левых группировках, — и это настроение влиятельных русских групп было известно в украинской интеллигенции, не только ее раздражая, но и создавая справедливое недоверие к “украинским симпатиям“ этих русских групп. Менее многочисленна, но очень шумлива и криклива была явно антиукраинская группа (В. М. Левитского, Ефимовского и др.) впоследствии до конца слившаяся с течением “малороссов“, возглавляемых В. В. Шульгиным. Кругом этих словесных оттенков (“малоросс“ или “украинец“) сгустились и национальные, и политические расхождения и страсти. Но “всеукраинский съезд партии к. д.“ обнаружил большую гибкость и трезвость, учел реальную политическую обстановку и, ни на минуту не забывая об общерусской задаче, ответственно лежавшей на его плечах как единственно свободной части партии к. д., счел возможным создать особую, временно независимую от Ц. К-та (которого фактически не было) “Всеукраинскую партию к. д.“. Съезд, исходя из общей оценки положения не только “разрешил“ отдельным членам партии войти в состав Министерства, но и поручил президиуму партии (во главе с Д. Н. Григорович-Барским) пребывать в постоянном общении с министрами к. д., что тогда, когда я был министром, выражалось в еженедельных совещаниях президиума партии с министрами на квартире Григорович-Барского.

Так как гетманский переворот, весьма недурно инсценированный при помощи немцев, дал место буржуазным группам, то левые — и украинские, и русские группы — оказались в оппозиции. Первое время оппозиция эта ничем не проявляла себя, выжидая того, во что выльется режим гетманщины, а часть украинских левых деятелей (С. В. Петлюра, Чеховский и др.) служила в неотвественных местах, принимая участие в различных неофициальных или неотвественных выступлениях.

Из 9 русских губерний сложилось, силой немецкой оккупации, некоторое подобие небольшой “державы”. Все, кто чувствовал динамическую стихию большевизма, его разрушительные тенденции, не мог не сочувствовать тому, что на обширном пространстве юга России хаосу противопоставлялся порядок, что жизнь вновь здесь вступала в свои права. И те, кто носил в сердце скорбь о России, и те, кто жил мечтой об Украине и ее “освобождении”, не могли не понимать огромного творческого задания, которое брала на себя буржуазная власть. Но на пути к овладению стихиями, бушевавшими в русской революции, стояли все те же два основных вопроса — национальный и социальный. Обойти их нельзя было, их надо было “решить”. Буржуазной власти трудно было найти в себе смелость и силу для решения социального вопроса и она очень быстро стала проводником социальной реакции. Но если бы буржуазная власть смогла овладеть национальной стихией, ее социальная позиция могла бы кое-как приспособиться к требованиям жизни. Но если большевизм легко смог проникнуть на Украину, пользуясь глупостями реакционной власти, то у него оказался могучий союзник в лице националистов украинцев. Так была политически подготовлена та “революция”, которая свалила гетманщину, отдала на два месяца власть “Директории”, чтобы затем окончательно потонуть в захлестнувшей ее волне большевизма. Оставляя в стороне социальный вопрос, как он ставился во время гетманщины, обратимся к изучению национальной проблемы. В наших вводных главах мы должны подробно коснуться этого вопроса, так как его неразрешенность была одной из главных (хотя и не единственной) причин неудачи того интересного замысла, который лежал в основе работы гетманского правительства.



## Глава II.

### *Украинская проблема до революции и во время ее.*

Я не буду входить здесь в обсуждение “правды” или “неправды” украинского движения, хотя считаю этот вопрос неустранимым при обсуждении русско-украинской проблемы вообще. Но я коснусь этого вопроса во второй части своих воспоминаний, здесь же нам необходимо познакомиться с основными этапами в развитии русского движения.

О настоящем украинском движении невозможно говорить до середины 40-х годов XIX века, хотя развитие украинской культуры шло непрерывно в течение XVII, XVIII и начала XIX века. Но о “движении” можно говорить лишь с того момента, когда начинается организация украинской интеллигенции в целях защиты и развития особой украинской культуры. Не разрывая связи с Россией, не ставя вопрос о выделении из нее, украинская интеллигенция не только отдается изучению украинской старины, фольклора, песен, истории и т. д. (что вполне отвечало романтизму во всей Европе, хоть и проявившемуся там значительно ранее, — и совпадало с соответствующими стремлениями в русском обществе), но и создает известное “Кирилло-Мефодиевское братство”, ставящее своей целью воспитывать “украинское сознание”. Это было в сущности как бы предварением программы “национально-культурной автономии”, как принято говорить в наше время. Эпоха Александра II наносит тяжкий удар этому всему движению, которое загоняется в подполье. Наверху остается лишь слабое “укаинофильское” движение, приведшее однако к образованию “Украинской Громады”, объединившей много светлых голов и ярких защитников украинства. Новая эпоха в развитии украинского движения начинается в 80-ых годах прошлого столетия — благодаря тому, что Австрия создает во Львове возможность концентрации украинских культурных сил. Не очень большая степень свободы, которой могла пользоваться украинская интеллигенция во Львове, все же резко контрастировала с угрюмыми условиями, в которых пребывала украинская интеллигенция в пределах России. Львов, Женева (Драгоманов!) становятся как бы маяками, на которые тянутся молодые люди, живущие идеалом украинской культуры. Мысль украинской интеллигенции больше и больше движется логикой вещей от защиты культурного своеобразия, своей культурной личности к политической проблеме. Надо признать в этом движении полную логическую трезвость: в политических условиях тогдашней

России не было никакой возможности отстаивать и развивать культурное своеобразие Украины, защищать украинские школы, печать, свободу общественного мнения. “Регионализм” силой вещей подходил к политической стороне дела: история достаточно показывает, что без политической самостоятельности или хотя бы некоторой политической замкнутости невозможно исторически действенное и творческое развитие культурного своеобразия народов. Но политическое сознание украинской интеллигенции было стеснено тем самым, что создало политическую трагедию Украины — географической невозможностью образовать самостоятельное государство. После XIV в. Украина находилась между тремя крупными государственными образованиями — Московским государством, Польшей, а позднее и Турцией. Она никогда не могла существовать независимо, как это было возможно для Швейцарии, находившейся тоже между тремя крупными государствами. Но география Швейцарии сделала ее историю более светлой и удачной, а география Украины определила трагедию ее истории. Украине неизбежно было, как остается неизбежно и ныне, *опираться* на одно из соседних государств — и это даже в эпохи славы и силы. Когда в XVII в. Украина соединилась с Россией, то она не только экономически срослась с ней, не только церковно объединилась, но и культурно слилась с ней. Россия XVIII в. и XIX в. есть совместное создание Великороссии и Украины ( см. об этом исследование Харламповича). Россия создавалась дружной работой двух братских гениев, и это приводило к очень глубокому, интимному процессу срастания Украины и Великороссии в широких путях России. То, что отделяло Украину от Турции и Польши, то именно изнутри сближало ее с Московией: вера и Церковь.

Отсюда понятно возникновение *федералистической* системы идей. Полная самостоятельность представляла и представляет чистейшую утопию, что очень резко и остро видно на том, что защитники самостоятельности и разрыва Украины с Россией непременно опираются либо на Польшу, либо на Германию. Лозунг самостоятельности, приобретший во время революции такое острое значение, по существу означал линию *отделения от России* при неизбежном включении в какую-либо другую государственную систему. Федерализм представляет поэтому неизбежную границу в политическом мышлении украинцев и единственное вместе с тем реальное содержание его. Самый серьезный и крупный политический мыслитель, какого выдвинула Украина в XIX веке, был Драгоманов, — и для

него совершенно была ясна историческая неустрашимость федеративной связи (как политического максимума) с Россией. Тем больше страсти и энтузиазма отдавали украинские интеллигенты защите своего культурного своеобразия. То, что Россия продолжала оставаться русско-украинским колоссом, поглощавшим массу украинских сил, показывало трудность отстаивания творческой отделенности: творческие силы Украины постоянно вливались в огромный поток российского большого культурного дела, — и на долю чисто украинского творчества почти всегда оставались *dii minores*. Ничто так болезненно не действовало на украинскую интеллигенцию, как именно этот факт неизбежной “провинциальности”, которая все время отличала украинскую культуру, и на которую она была обречена в силу ее сдвинутости и слабости. Бессилие сделать что-либо большее, невозможность “зажить своей жизнью”, отдельно от огромной России, рождало гневное отталкивание от России, легко переходившее в ненависть. Россия вызывала к себе вражду именно своей необъятностью, своей изумительной гениальностью, — и то, что она забирала к себе украинские силы, делая это как-то “незаметно”, — больше всего внутренне раздражало украинскую интеллигенцию, болезненно любившую “нерасцветший гений” Украины. Известно, что было немало русских больших людей, которые отстаивали полную свободу для Украины — *так как совершенно не верили в нее*, считали, что некоторый рост украинской культуры искусственно поддерживался тем угнетением, которое было усвоено русским правительством в отношении к Украине. Иначе говоря — в этом взгляде на Украину ее творческие проявления сводились к тому подъему, который питается одной ненавистью и враждой. Свобода и равнодушие рядом с чрезвычайной мощью русской культуры, очень быстро и легко привели к полному ничтожеству затеи об особой украинской культуре... Если бы украинская культура была сильна, она могла бы ответить на это лишь презрением, но бессилие украинской культуры, ее действительная слабость вели к тому, что очерченная выше русская позиция задевала еще больше, чем чисто внешние полицейские притеснения.

Именно в такой атмосфере складывалась жизнь украинской интеллигенции на пороге XX века. Романтическая влюбленность в свой край, в свои песни, искусство соединялись с раздражением, отталкиванием от всего “российского”, с ненавистью не только к политическому режиму России, но и к “москалям” вообще. Закордонная литература уже далеко ушла от строгого и ответственного либера-

лизма и федерализма Драгоманова, новый радикальный и революционный дух веял в этой закордонной литературе, правда, запрещенной к употреблению в России, но достаточно известной благодаря заграничным путешествиям. Официально политические пожелания не шли — даже у самого М. С. Грушевского — дальше автономии, дающей возможность “культурной независимости”, но центр тяжести лежал в этом уже очень прочном и глубоком убеждении украинской интеллигенции, что только на путях культурной замкнутости и культурного обособления возможно уберечь гений Украины от поглощения его мощной русской культурой. Другого пути никто не видел, а те, кто были против такого обособления, по-существу, не шли дальше простого украинофильства и не жили той любовью к украинству, которая для них ставила бы украинство на первое место. Ни тревожной заботы, ни горькой обиды они не имели в своем сердце и поэтому в своем прекраснодушии и не замечали острой русско-украинской проблемы. Надо признать это со всей силой, чтобы понять, что у всех, кто болел за свою украинскую культуру, мысль невольно обращалась в сторону обособления. Нельзя же в самом деле огулом обвинять украинскую интеллигенцию в “ненависти” к России — ненависть может быть и была, но у немногих, у большинства же была любовь к Украине и *страх за нее*. Тут была налицо глубокая трагедия Украины, не сумевшей ни укрепить, ни охранить свое политическое самостоятельное бытие и вынужденной, конечно, навсегда идти рука об руку с Москвой. Но Украина потеряла не одну политическую свободу — она потеряла “естественность” своего культурного творчества, вливаясь в огромное мощное русло русской культуры — она отдала столько своих лучших сыновей на служение Великой России. Несчастье, трагическая сторона положения заключалась в том, что тогда, когда — при общем расцвете национальных [движений] во всей Европе — стало развиваться (с середины 40-ых годов прошлого столетия) литературное и вообще культурное украинское движение, оно попадало в общие условия того сурового режима, в котором жила вся Россия. Старая рана, *почти заживавшая*, вновь стала болеть и, чем дальше росло украинское движение, тем *меньше* оно имело свободы, тем напряженнее были в нем гнев и обида на Россию. Если бы русское общество не относилось снисходительно-ласково, но и небрежно к украинской интеллигенции, это все могло бы быть смягчено, но надо признать и то, что насколько ясна была программа в польском, финляндском вопросе, настолько неопределенны были очертания даже для левых

партий в украинском вопросе. Люди обиженные всегда больнее переживают небрежность к себе, чем те, у кого жизнь складывается счастливее. И украинская интеллигенция чем дальше, тем больше ощущала свое одиночества, свою роковую непонятость — и в темноте обиды и гнева закалялась любовь к своей обиженной родине, к ее “нерасцветшему гению”. Не следует забывать, что в ряды украинской интеллигенции время от времени вступали неукраинские элементы, оказывавшиеся на Украине, полюбившие ее и понявшие ее горькую судьбу. Самым ярким примером служил известный и заслуженный деятель украинского движения — А. А. Русов (костромич по рождению, изгнанный из университета, ставший статистиком в Черниговской губ <ернии> и там ставший “щирым украинцем”) и его жена — еще более известная писательница и педагогичка С. Ф. Русова (урожденная Линдфорс из семьи обрусевших шведов).

Вся эта особая атмосфера предвоенной жизни на Украине вербовала в стан “обособленцев” много молодежи, типично украинской по ее пылкости, склонности к романтизму, к некоторой театральности; общерусское революционное настроение того времени (особенно усилившееся после 1905 г.) не только передавалось украинской молодежи, но питалось еще и собственными источниками. Много лиц, занимавших официальное положение (самый яркий пример — С. П. Шелухин, бывший членом суда в Одессе, уже тогда “щирый” украинец, но умевший ладить с властями), были в то время участниками полулегальных в то время украинских организаций.

В то же Австрия вела определенную политику в украинском вопросе, не только давая полную свободу украинской политической мысли (поскольку она направлялась против России), но и подготовляла план формирования воинских частей из украинцев на предмет “освобождения” Украины. Часть украинской интеллигенции, — особенно из Холмщины, — шла на это; самый видный деятель в этом направлении — прославленный Скоропис-Елтуховский — находился действительно на службе у австрийского генерального штаба... Я имел случай позднее несколько раз встречаться с этим деятелем, к которому первоначально не скрою, чувствовал омерзение и отвращение. Но в эти же встречи я почувствовал, что был неправ и односторонен: это был не очень умный, но фанатически преданный делу “освобождения Украины” человек, насколько я мог судить, даже не питавший ненависти к России, а выросший в решительной и глубокой отчужденности от нее. С точки зрения своей

Украины он поступал так же, как поступал Масарик со своими планами освобождения Чехии. Были безусловно аморальные моменты в тех планах, которым он служил, — здесь были черты аморализма, которыми так болезненно всех раздражала Германия во время войны и которые наши большевики. Но узкий и духовно бедный человек, которым был Скоропис, честный в своем фанатизме, готовый на все “революционные” шаги для того, чтобы добиться свободы для своей родины, служил австрийскому штабу лишь в целях освобождения Украины. Такие люди, как он, попадаются во всякой стране, они могут быть подлинными героями, верными своему долгу, но узкими, не знающими ничего за пределами своей фанатической верности. Он, думаю, во многом выше других украинских деятелей, которые служили долго России потом оплевывали ее: Скоропис этого не делал в отношении к Австрии...

Когда наступила война и военное командование, уже хорошо осведомленное о планах австрийского штаба, имевшего в виду также привлечь к себе украинцев России, как это имел в виду известный манифест к полякам, изданный Вел. Кн. Николаем Николаевичем, не нашло ничего лучшего, как воспретить все издания на украинском языке. Возможно, что с военной точки зрения это было и целесообразно и необходимо, предупреждая возможное разложение в украинских частях русской Армии, — но в более широком масштабе эта мера имела губительные последствия, до последней степени раздражив украинскую интеллигенцию, словно нарочно бросаемую в вражеский стан. Чем дальше шла война, тем больше накапливались неприятности в этом деле. Завоевание Галиции оживило одно время у русских украинцев надежды на объединение разрозненных частей Украины под русским “свободным” управлением — не кто иной как Д. И. Дорошенко в преданности которого украинскому делу нельзя сомневаться, работал в Галиции при Генерал-Губернаторе (от Союза Городов, если только я не путаю здесь фактов, — у меня нет сейчас полной уверенности, что я не смешиваю деятельности Дорошенко при Временном Правительстве и при гр. Г. А. Бобринском). Но в то же время поспешные и ненужные церковные мероприятия по обращению униатов галичан в Православие (роль при этом митр., тогда архиепископа Волынского Евлогия мне совершенно неизвестна, а повторять распространенные обвинения, о которых я слышал от самого митр. Евлогия реплики возмущения, не нахожу нужным) болезненно отзывались в украинских душах как проявления руссифика-

ции. Среди украинской интеллигенции был вообще вкус к унии *совсем не по религиозным мотивам*, а из желания и здесь как-нибудь обособиться от России, — и отсюда понятна мнительность украинцев в отношении к церковным мероприятиям в Галиции, в частности, заточение чтимого украинскими деятелями за свою (несомненную и подлинную) любовь к украинскому делу митр. Шептицкого.

Когда разразились революционные события, притихшая за время войны украинская интеллигенция в первые же дни направила свои усилия к тому, чтобы в общем потоке революции продвинуть идею освобождения Украины. Эта идея в первые месяцы захватывала лишь вопросы культурного творчества и т. сказ. местного самоуправления. Однако — как было указано выше — уже в первые месяцы революции завелся “головной атаман” (Петлюра) и стали выдвигаться идеи “украинских вооруженных сил”. В хаосе революции, когда еще не кончилась война, когда начинало уже пахнуть междуусобной войной, это было, если угодно, естественно, но и зловеще. При системе федерации невозможно “местная армия”, — а между тем формирование особых украинских частей началось уже в рядах стоявших на позициях армий. Медленно разгоралась идея “украинской державы” и лозунг “самостийной Украины”, однако все это зрело и усиливалось тем быстрее, чем яснее становилось бессилие Временного Правительства и надвигавшаяся анархия. О церковных, тоже бурных и тоже медленно восходивших к зловещей идеи автокефалии церковных течениях я буду говорить в основной части книги. Здесь же упомяну о создании Украинского Народного Университета. Зимой 1917 г. я получил приглашение принять участие в этом университете, о котором я к тому времени не имел почти никаких сведений. Не помню сейчас, кто именно передал мне это приглашение, которое удивило меня, так как по-украински я совершенно не говорил и с украинскими деятелями (кроме Русовых) не имел никаких отношений. Состоя директором Дошкольного Института, я имел отношение лишь к той группе украинских деятелей, которая была связана с дошкольным делом (С. Ф. Русовой и ее ученицами). Во время войны наше Фребелевское Общество, председателем которого я тоже состоял, было связано с т. наз. Земским Союзом, с его школьным отделом (во главе которого очень рано стал известный московский педагог А. И. Зеленко), на обязанности которого стояло открытие очагов-приютов в прифронтовой полосе. Тут я впервые столкнулся с вопросом о языке преподавания — и конечно без каких-то бы то ни было колебаний присоеди-

нился к требованиям Русовой и др., чтобы в этих очагах-приютах и детских садах с детьми говорили на их родном, то есть украинском языке. Если вопрос о языке *в школе* более или менее сложен, то для детских *народных* учреждений он бесспорен в смысле необходимости говорить с детьми на "материнском языке". Когда Февральская революция изменила режим, наш Дошкольный Институт (и это было первое культурное украинское начинание) уже через месяц открыл украинское отделение при себе. Надо заметить, что в составе Института нашего было много евреев, у которых в связи со всем известным возрождением древнееврейского языка, было очень сильное творческое стремление выразить полнее и глубже национальный характер в еврейских детских учреждениях (в которых во время войны на Юго-Западе России была большая потребность). Для меня были понятны и симпатичны все эти стремления в развитии национального начала в детских учреждениях — и я искренне и сердечно приветствовал украинское отделение в нашем Институте, когда мне пришлось его открывать. О весьма скромном тогда моем участии в украинском церковном движении скажу позже, — но во всяком случае дальше общих симпатий к украинскому движению (в пределах русской культуры!) я не шел. Действовала во мне, конечно, и реакция против грубых и шовинистических заявлений П. Б. Струве против украинского движения... Приглашение читать лекции по философии в Украинском Народном Университете меня удивило, но зная, что по моей специальности у украинцев не было никого из "своих" деятелей, я не хотел им отказывать. Было одно серьезное затруднение — то, что я не говорил по-украински, но лица (не помню кто), пригласившие меня в Укр<аинский> Унив<ерситет>, любезно и либерально ответили, что они не шовинисты и русскую речь в Укр<аинском> Унив<ерситете> признают. Я дал согласие и стал читать лекции в каком-то частном помещении, чуть ли не в доме Терещенко. Среди профессоров я увидел ряд своих коллег по Университету — А. М. Лободу, Граве и еще кого-то, конечно Богдана Кистяковского, блестящего философа права, недавно вступившего в состав Киевского Университета и очень мне уже близкого в то время, как и В. Н. Константиновича, проф<ессора> патологической анатомии, тоже очень мне близкого и симпатичного по Университету. Нас было 10 человек, профессоров Университета св. Владимира, вошедших в состав Украинского Народного Университета. Коллеги наши по русскому Университету (который был известен своим консерватизмом) отнеслись



чрезвычайно остро и враждебно к тому, что часть его профессорской коллегии пошла в Украинский Университет. Можно сказать, что вся левая группа профессорской коллегии (насчитывавшая около 12 чел<овек>) оказалась в Украинском Унив., — и старые наши острые отношения с консервативной группой (боевым лидером которой был в это время проф. Алекс. Дм. Билимович) осложнились очень остро национальным мотивом. Наш ректор Университета Е. В. Спекторский, бывший мне лично очень близким и прошедший в ректорат при значительном моем активном участии в этом, оказался во враждебном мне стане — а это мне стоило (да и ныне еще стоит) довольно дорого... — но не об этом сейчас идет речь.

В Украинском Университете я узнал Д. И. Дорошенко и еще кое-кого; все время, относясь с симпатией к самому замыслу, я считал свое положение в нем фальшивым и двусмысленным, потому что весь *raison d'être* Украинского Университета заключался также в том, чтобы студенты украинцы могли слушать лекции на украинском языке. Поэтому чтение мной лекций в *Укр<аинском> Унив<ерситете>* на *русском* языке было странно и ни к чему, но я чувствовал, что мною дорожили и не хотел бросать дела — особенно в виду тех глупостей, которые высказывались против меня и других в профессорской коллегии Университета св. Владимира.

Приглядываясь ближе к украинской интеллигенции, я чувствовал как хмель революции все более кружит их головы. В сущности, в музыке революции генерал-басом звучит мелодия “все позволено” — и нет ничего невозможного, чего бы нельзя было по крайней мере затеять. Проектерство — эта хлестаковщина всякой революции — бурлило в украинских головах, воображение, которым вообще очень богата украинская душа, разливалось выше меры. Политическая психология украинских деятелей — это мне было ясно уже тогда — лишена вообще основной силы в политике — реализма, трезвого и делового подхода к своим собственным идеям, выдержки и хладнокровия. Вчерашние “подпольцы”, а сегодняшние властители, эти украинские политики, начиная от самого “батька” М. С. Грушевского, не отдавали себе никакого отчета в реальном положении вещей. Даже такой спокойный, в силу уже одной своей культурности выдержанный человек, как Дорошенко, с которым я часто пикировался в Совете Министров по вопросам иностранной политики, поражал меня тем, что все его мышление направлялось исключительно категорией желанного и почти не считалась с категорией реализуемого,

возможного. Второй чертой политической психологии украинской интеллигенции я считаю ее склонность к театральным эффектам, романтическую драпировку под старину (“гетманщина” одна чего стоит — это и монархия, и республика одновременно), любовь к красивым сценам, погоню за эффектами. Того делового, осторожного строительства, которое им, “самостийникам” так нужно было, чтобы, воспользовавшись слабостью России, сковать свою “державу”, я не видел ни у кого. Как в научных и литературных кругах создавали украинскую терминологию, чтобы избежать руссизмов, так и в политическом мышлении все искали свой национальный путь, больше думая о национальном своеобразии, чем о прочности и серьезности “державы”.

Уже лето 1917 г. привело к необходимости создания особого русского “секретаря” или министра (для защиты русских), каковым был назначен из Петрограда прив.-доц. (ныне проф.) Д. М. Одинец. Растолковать *политически*, что значило создание этого особого органа “русского секретариата” — положительно невозможно. По существу это был *посол* России в Украине — призванный защищать интересы многочисленного русского населения... Но ведь Украина не только еще не отделилась от России, но даже не имела никакой автономии (мы уже упоминали о том, как чрезвычайное уважение Временного Правительства к правам будущего Учредительного Собрания обрекало его на нерешительность во всех основных вопросах русской жизни). В Киеве находился представитель центральной военной власти, которому по военному положению принадлежала высшая власть во всем и который был подчинен непосредственно Временному Правительству. И все же, при всей неопределенности своего политического смысла, “генеральный секретарь” (одно название чего стоит!) по русским делам оказался живым и деятельным центром собирания русских культурных сил, — ибо положение русской школы оказалось весьма угрожаемым. В соответствии с духом времени большое значение получил русский профессиональный учительский союз, который был связан с этим “секретариатом”.

Я считал и считаю русскую интеллигенцию непригодной для политического действия, для политического творчества. Быть может, в этом виновата история, не давшая развития политическому искусству и необходимым для него качествам — но факт налицо. Даже поляки — которым, на мой взгляд, тоже не дан талант государственности, стояли и стоят несравнимо высоко в этом отношении. Единственный, глубокий и трезвый, творческий и серьезный, политический

ум среди украинской интеллигенции, с каким меня столкнула судьба — был Липинский (защитник очень интересной, но фантастической концепции, сочетавшей славянофильскую теорию самодержавия с идеей советов). Средний тип украинской интеллигенции — это тип учителя, журналиста, адвоката. Подполье украинской интеллигенции жило в России и разве можно сравнивать по технике, по образованности, по выдержке и революционной настойчивости деятелей русской революции (Ленин, Троцкий и др.), которые в Западной Европе прошли превосходную школу государственного мышления — с теми мечтателями, литераторами (Винниченко), учителями, которых Украина в свой неповторимый исторический час могла выставить в качестве своих вождей? Достаточно назвать С. П. Шелухина, “сенатора”, председателя комиссии по заключению мира с Сов<етской> Россией — чтобы понять, какие чудачки бесталанные, хоть и “милые”, бескрылые, хоть и фантасты, бессильные, хоть и страстные, были все эти люди. Если бы история в тысячу раз больше дала им в руки, что она фактически им дала — они все равно не могли бы ничего сделать. Украина вышла на путь революции фактически без вождей, без сильных, опытных и способных властвовать лидеров. Неудивительно, что Украина потеряла все, что даже приобрела до полной ее инкорпорации в состав Советского Союза. Но было бы легкомысленно из бесталанности украинских вождей делать вывод о незначительности самого украинского вопроса... Но к этому мы еще вернемся во второй части.

Нам остается теперь коснуться третьей стороны, знание которой необходимо для понимания того, что будет дальше излагаться — церковного положения на Украине во время революции: до гетманского переворота.

### Глава III.

#### *Церковное положение на Украине во время революции.*

Ко времени революции я был председателем Киевского Религиозно-Философского Общества, существовавшего, если мне память не изменяет, уже 10 лет. Наше общество, по инициативе изгнанного из Дух<овной> Академии проф. В. И. Экземплярского, издавало уже два года (под его же редакцией) журнал "Христианская Мысль". Оно группировало вокруг себя небольшой круг верующей интеллигенции; в его составе находилось и несколько священников, которые, однако, в силу особого распоряжения Св. Синода (который считал, и, правду сказать, не без основания, наше общество церковно радикальным), не могли быть его членами. С рядом священников меня (не говоря уже о профессорах Академии) связывали литературные связи. С священником о. Василием Липковским, ставшим впоследствии митрополитом автокефальной Украинской Церкви, меня связывало давнее знакомство, завязавшееся вокруг литературной церковной работы. Кроме официальных заседаний, у нас бывали каждые две недели "чай", на которых собирались те, кому нельзя было официально входить в Рел. Фил. Общество (профессора Духовной Академии и преподаватели Дух<овной> Семинарии). Так создалась очень сильная церковная русская группа, на долю которой выпала ответственная церковная работа во время революции.

Когда вспыхнула революция, она чрезвычайно окрылила церковные круги, почувствовавшие, что для русской Церкви открывается новая эпоха. Мы собирались каждую неделю, чтобы обсуждать создающееся церковное положение — и кроме того, что все мы писали (Боже, как все это ныне кажется наивно и романтично!) в "Христианской Мысли", мы устроили несколько публичных митингов, посвященных религиозным вопросам в новых условиях русской жизни. Эти митинги мы устраивали (под моим председательством) в самой большой аудитории Университета, которая всегда была битком набита народом. Некоторые собрания были очень ярки и удачны (это было лишь в первые два месяца — Март и Апрель, пока русская революция не была еще омрачена ничем); почему-то — не помню сейчас, почему — в большом количестве приходили к нам старообрядцы. Ни разу в это время не выступал еще украинский церковный вопрос, хотя уже с недели на неделю разгоралось украинское движение. Уже в середине Апреля образовал-

ся — память мне не подсказывает, как — т. наз. церковно-общественный комитет, связанный чрезвычайно с нашим Религиозно-Философским Обществом, но действовавший независимо от него. Думаю — судя по тому, что дальше случилось, — что в нем уже проявлялись украинские силы; комитет, состоявший из священников, решил созвать экстренный епархиальный съезд. Растерявшаяся высшая церковная власть в лице митр. Владимира не знала, как быть. Состав Св. Синода еще в Марте был заменен другими и наш митр. Владимир был в Киеве. Он противился созыву епархиального съезда, и тогда несколько нас, мирян, отправились к митр. Владимиру уговаривать его не противиться замыслу самочинного церковно-общественного комитета и дать благословение созываемому съезду, чем может быть наполовину парализован его революционный дух. Мы все верили тогда, что все “образуется”, если дать бушующей стихии возможность проявить себя, если не раздражать и не возбуждать ее запрещениями. О митр. Владимире скажу я несколько слов позже, сейчас же вернусь к епархиальному съезду, который был созван легально. Митр. Владимир на нем не присутствовал, но епископы (Никодим и Димитрий — викарии) посетили его. Хорошо помню открытие этого съезда, уже тогда вызывавшего у меня жуткие чувства. Как председ<атель> Рел<игиозно-> Фил<ософского> Общ<ества>, я получил приглашение от цер<ковно-> общ<ественного> комитета (во главе которого стоял о. Евгений Капралов). Когда я подошел к зданию Рел<гиозного> Просвет<ительского> Общества, в огромном зале которого назначен был съезд, я был крайне изумлен, увидев огромную толпу крестьян, которые загрохотали часть улицы. С трудом я протолпился в зал и узнал, что из деревень приехало много крестьян без всяких мандатов. Хотя правила выборов, установленные церк<овно-> обществ<енным> комитетом, были чрезвычайно либеральны, но зачсмето, очевидно в силу соответственной агитации батюшек, приходы послали неисчислимое количество представителей. Вместо 350-400 человек в зале было 800-900... Организационный комитет решил признать всех прибывших имеющими право на участие в заседании, очевидно, не ожидая от собрания никаких деловых постановлений. Долго ждали епископов (митроп. Владимир не приехал), наконец, они приехали и епарх. собрание было объявлено открытым. Председателем было предложено избрать о. Липковского (о котором я упомянул выше), в товарищи председ<ателя> выбрали Капралова и меня. Все это меня, бывшего не в курсе дел, изумляло — ведь я достаточно знал хоть и

крепкую и энергичную натуру о. Липковского, но знал и его безалаберность. Он был совершенно негодный председатель, только одно ревностно проводивший — все, что касалось украинства. Устами о. Липковского съезд назвал себя “украинским епархиальным собранием”, мне тут же объяснили, что слово украинский здесь взято в территориальном, не в национальном смысле... Это было странно, совершенно немотивированно (губернский епарх. съезд называть украинским!), за всем этим была какая-то игра, которой я не мог понять. Меня просили остаться — и мы с о. Капраловым несли тяжкую обязанность технически направлять съезд. По-существу съезд был бессодержательным и нецерковным, но буйным и страстным. Какие-то страсти кипели (пока еще за кулисами), какая-то стихия уже бушевала. Я еще плохо разбирался во всем, но чувствовал уже тайное отвращение к этой “мазне”, к этой недостойной игре вокруг Церкви. Однако я все же полагал, что овладеть стихией можно лишь не ставя ей преград — отчасти это оправдалось уже на этом съезде. Съезд выбрал большой “епископский совет” (чуть ли не 30 чел.) при митр. Владимире (включил в него прежний состав консистории) и разошелся... Много было неожиданного и неприятного для меня на этом первом проявлении церковного украинства, — но самое главное было еще впереди...

В мае м<есяце> я получил от А. В. Карташева телеграфное приглашение войти в состав предсоборного присутствия, подготовившего Всероссийский Собор, но отказался ехать, будучи занят в это время, и не имея вкуса к тому, что тогда делалось в Петрограде — хотелось уже тогда мне остаться в стороне. Однако когда в июне в Москве группой московских церковных деятелей был созван Всероссийский съезд духовенства и мирян — уже предварявший и по настроению, и по составу — будущий собор, я после долгих колебаний принял предложение церковной группы в Киеве (во главе с В. И. Экземплярским) поехать на съезд в качестве представителя журнала “Христианская Мысль”. Некому другому было поехать, я согласился... Хорошо помню Москву Июня м<есяца> — уже грязную, беспорядочную, символически отражавшую положение в России “без хозяина”. Помню и съезд, очень красочный, ненормального В. Н. Львова, тогда еще обер-прокурора, его демагогическую, нецерковную речь при открытии съезда. С о. С. Булгаковым (тогда еще не священником) и с П. И. Новгородцевым у меня вышли в комиссии очень горячие и острые споры. Вместе с своими друзьями по Киеву я принадлежал к церковно-радикальной группе, считал необходимым освобо-

ждение Церкви от прежнего типа связи с государством (следуя идеалу “свободная Церковь в свободном государстве”). Было много интересных встреч, бесед, горячих схваток — но все это меня не захватывало до конца, и я, пробыв в Москве неделю, поспешил в Киев и очень скоро уехал в деревню.

Но уже в конце Июня меня вызвали на заседание епископского совета, экстренно собравшегося, если память мне не изменяет — для решения вопроса о созыве Украинского поместного Собора. Уже тогда у меня сформировалась точка зрения на церковное положение на Украине — я считал очень важным именно территориальный момент (чтобы тем ослабить недопустимый церковный национализм). Упорное и настойчивое стремление ряда деревенских батюшек (особенно запомнилось мне фигура достопочтенного, глубокого, но вместе с тем крайнего в своем украинском национализме о. Боцяновского) к созыву поместного Украинского Собора меня поразило. Я увидел, что церковное украинство сильно в деревне, что в нем очень напряженно живут стремления к выражению в церковной жизни своего национального лица. Ясно было, что иначе как “парламентским путем” не найти нормального и церковно приемлемого выхода. Поэтому я вместе с другими очень упрашивал митр. Владимира (к которому я, начиная с этого времени, чувствовал всегда очень искреннюю симпатию) дать согласие на созыв Украинского поместного Собора. Митр. Владимир в конце концов согласился принципиально (при условии соглашения с Всероссийской церковной властью) — и наше чрезвычайное собрание епископского совета, назначив следующую сессию на осень, разошлось. В противоположность апрельскому епархиальному собранию, это заседание епископского совета удовлетворило меня и вызвало во мне большую работу мысли, а главное — вызвало глубокое чувство церковной ответственности. Я почувствовал, что не могу уклониться от церковно ответственного дела — как сделал это, получив приглашение от А. В. Карташева; почувствовал и то, что с украинством в церковном деле совладать будет трудно.

К осени епископский совет не был созван, митр. Владимир брал свое согласие назад, указывая, что начинается (15/28 Авг <уста>) Всероссийский Собор. Мы, русские члены епископского совета, несколько раз обсуждали серьезность положения; созданного митр. Владимиром, не желавшим созвать и второй сессии епископского совета, а не то что поместного Собора. Митр. Владимир объявил, что еп <ископский> совет был избран на незаконном епарх.

собрании и что поэтому созывать его он не намерен. К 15/VIII он уехал в Москву, легальные пути для урегулирования бушевавшей украинской стихии церковной закрылись... Мы (русские) были крайне огорчены, — так как по ходу политических событий ясно было, что потребность национального выявления церковности в украинстве очень сильна, — а духовенство на Украине всегда было главным хранителем украинского сознания...

События не заставили себя долго ждать. Убедившись, что с епископами они ничего не могут сделать, горячие головы из украинских церковных кругов (священники, диаконы и псаломщики) решили действовать без епископов и создали "украинскую церковную раду", имевшую специальную задачу созвать поместный украинский собор. Я не был в курсе всех этих дел, общерусская трагедия развертывалась (Сентябрь-Октябрь) со страшной быстротой. Но уже в Ноябре я услышал об образовании упомянутой церковной рады. Добрых вестей я не слышал, не мог сразу поверить в серьезность этого начинания — но скоро узнал, что эта рада работает регулярно и поспешно. Переворот — устранение представителей Временного Правительства (т. е. военной власти) у нас произошел в Ноябре. Централ <ная> Рада оказалась высшей властью, — созыв собора делался видимо возможным. В самом конце Ноября к нам неожиданно приехала депутация от Собора Московского в лице кн. Григ. Ник. Трубецкого и проф. С. А. Котляревского. В Москве были крайне обеспокоены бурным развитием церковных событий в Киеве, там происходили совещания при Соборном Совете о том, что делать; большинство склонялось к тому, чтобы разрешить и благословить созыв поместного Собора — но точно не знали, чем это могло кончиться, вообще были в полной растерянности. Делегаты из Москвы имели несколько совещаний с русскими церковно-общественными кругами; наше Рел. Фил. Общество устроило открытое собрание для обсуждения церковного украинского вопроса. Это собрание, в общем прошедшее спокойно, показало нашим гостям, как трудно уже было в это время найти какой-либо выход для умиротворения начавшегося движения (хотя на заседании Рел. Фил. Общ. было всего 2-3 ярких представителя церковного украинства, главные деятели не захотели придти). Мне кажется, что и Трубецкой, и Котляревский уехали недовольные нами (т. е. русской церковной интеллигенцией) за то, что мы как бы слишком быстро сдаемся на неправильные требования украинцев. Им было, конечно, трудно понять, что у нас не было уже возможности затормозить церковное украинское



движение, — что единственная тактика для нас была в том, чтобы стремиться внести возможно более духа церковности в это движение, изнутри его преобразая.

Вскоре после отъезда московских делегатов, видимо, хотевших найти опору для того, чтобы от имени местных кругов бороться в Москве против благословения на созыв Украинского Собора, я получил приглашение в состав “предсоборной церковной рады” и по совещании со своими друзьями вошел в ее состав. То, что я увидел, показалось мне убогим и мизерным, но бурным и самодовольным, — жуткое чувство еще сильнее разгоралось во мне. Было ясно, что Собор Украинский состоится... Все это крайне обеспокоило меня, особенно когда я уяснил себе, что на Соборе предполагалось не более не менее как провозглашение украинской церковной автокефалии.

Что было делать при таких обстоятельствах? Мы решили созвать небольшое совещание из испытанных церковных деятелей Киева и нескольких ответственных политических и общественных деятелей (Н. П. Василенко, Д. Н. Григорович-Барского, С. Д. Крупнова и др.). Совещание это состоялось в конце Декабря на частной квартире; на нем было 25 человек — и неожиданно на нем появился и митр. Платон, приехавший уже с какими-то официальными полномочиями от Московского Собора.

Темой нашего собрания был вопрос об автокефалии и автономии. Все соглашались с тем, что для Украины *необходима* автономия, что в автокефалии нет никакой надобности, однако она допустима с *церковной* точки зрения. Вопрос об автокефалии надо признать вопросом *церковно-политическим*, т. е. связанным с политическими условиями жизни, ибо в Православии число автокефальных церквей не ограничено, часто они ничтожны по размерам, но хранят свою автокефалию по политическим или традиционным соображениям. Митр. Платон очень внимательно слушал все эти соображения, но сам не высказывался. Мы и не настаивали — стало сразу известно всем, что он приехал с большими полномочиями, с грамотой от Патриарха (который уже был избран к тому времени), *благословляющей поместный собор*, в качестве представителя Патриарха. Уже к этому времени он был митрополитом Одесским, как арх. Антоний — митрополитом Харьковским (эти митрополии были учреждены на Соборе).

6 Января открылся Собор очень торжественно и очень церковно. Русские церковные группы пошли на него — так в состав Соборного Совета, куда попал и я, был избран наш киевский проф <essor>, очень правый и очень “анти-

украинский“ — М. Н. Ясинский. Собор работал довольно спокойно, были на нем и тревожные и даже комичные моменты (так митр. Платон, услышав однажды слова крестьян и др. членов: “згода“, что значит “согласны“, принял эти слова за “годи“, т. е. “довольно“, ужасно разволновался и его с трудом успокоили, выяснив это недоразумение). Митр. Антоний не приехал, вместо него приехал его викарий — кажется, Митрофан. Уже тогда я заметил подольского викария сп. Пимена, одного из видных современных представителей т. наз. украинской обновленческой Церкви, полуслепого (с одним выжженным глазом) черниговского викария Алексея. Митр. Владимир тоже присутствовал, видимо, крайне тяготясь своим присутствием. Собор формально был совершенно законным и по присутствию епископов и по наличности благословенной грамоты от Патриарха. О. Липковский как-то отошел в сторону, большую роль играл упомянутый батюшка из южных городов Киевской губ. Боцяновский (или Ботвиновский).

Но работы Собора, происходившие в женск<ом> спарх<иальном> училище в Липках, не могли развиваться нормально, ибо с той стороны Днепра подошли большевики, требовавшие от украинской рады (тогда первым министром был Голубович, тот самый, о котором я уже упоминал в связи с Брестским миром) сдачи Киева. Кажется, уже 9 Янв<аря> начался обстрел Киева, постепенно разгоравшийся все больше. Стало ясно, что Собору работать невозможно, и уже 19 Янв<аря> он вынужден был прекратить свои собрания, отложив свои заседания до б/V (по старому стилю). Уже тогда было опасно ходить в Липки, где стреляли на улицах. Члены Собора разъехались, но Киев еще держался несколько дней. 25-го украинские власти покинули Киев — и в него вступили (в первый раз) большевики (во главе, если не ошибаюсь, с Муравьевым, у которого под началом было, как говорили, всего около 2.000 “войска“ — матросов, рабочих, случайных солдат).

На другой день по Киеву разнеслась печальная весть, что в ночь вступления большевиков был мученически убит митр. Владимир. Тайна его смерти так и осталась нераскрытой; по одной версии его убили украинцы, ненавидевшие его за его сопротивление украинскому церковному движению, по другой — кажется, более близкой к истине версии он был убит несколькими послушниками из самой же Лавры, которые ограбили митрополита и, полуизбитого, вытащили далеко за пределы Лавры (около 1/2 версты) и там убили (уже во время гетманщины на этом месте по-

ставлен был памятник митр. Владимиру). Это страшное убийство кроткого, хотя и враждебного украинскому церковному движению, архипастыря, не очень умного, но очень достойного по своим личным качествам, очень тяжело легло на души всех, кто был связан с церковной жизнью. Но пришли как раз такие дни, когда всем было страшно и жутко. Я уже упоминал, что первый приход большевиков в Киев был встречен даже радостно русским населением Киева, которому было уже невтерпеж от разгулявшегося украинства. Но скоро стала действовать чека, вскоре появился известный Лацис, жизнь стала страшной, грабежи один за другим участились в Киеве. Жители домов стали образовывать охранные дружины (большевики сами были еще бессильны навести порядок). С недели на неделю жизнь становилась мучительнее... и вот через 1 1/2 м<есяца> господство большевиков кончилось: пришли немцы.

К этому времени уже вернулся из Москвы первый викарий митр. Владимира еп. Никодим, человек очень твердый, крайне правый (он был как раз один из той группы в Февр<але> 1917 г. требовала от государя роспуска Госуд<арственной> Думы, крайний противник украинского церковного движения. Он повел очень умную политику — не споря с украинцами, он представил в Москву доклад о положении Церкви на Украине и настаивал на том, чтобы были поскорее произведены выборы Киевского митрополита (в виду убийства митр. Владимира) — до созыва Украинского Собора, которому должно было (и на это вполне соглашалась Москва, недавно лишь благословившая поместный собор...) сопротивляться до последней степени. Официальным кандидатом был выставлен митр. Харьковский Антоний (Храповицкий). И так как уверенности в том, что он будет избран, не было (хотя еп. Никодим, хорошо знавший практику дореволюционных выборов, принимал все меры по устранению “неблагонадежных“ (по украинству) священников), то еп. Никодим получил от Св. Синода при Патриархе особый указ, коим приостанавливалось введение устава, введенного в действие Всероссийским Собором. Дело в том, что иначе как путем выборов нельзя уже было поставить митрополита, а по правилам Всероссийского Собора, для выборов епархиального архиерея нужно было 2/3 голосов. В изъятие этого правила, по представлению еп. Никодима, была установлена норма простого большинства для выбора Киевского митрополита.

Конечно, в епархии, да и вне ее это все знали. Крайнее раздражение украинских церковных деятелей заострилось упорным отказом со стороны еп. Никодима созвать собор.

Шел уже Март и Украина вступила уже в полосу оккупации — что было делать? Продолжая борьбу с еп. Никодимом, украинские круги требовали, чтобы выборы Киевского митрополита как первосвященника Украинской Церкви были отложены до Собора, — т. е. требовали, чтобы эти выборы не были делом одной Киевской епархии, ибо избранию подлежал не местный иерарх, но глава Украинской Церкви. Конечно, так же, как Патриарх в Москве является одновременно и епархиальным архиереем, и избирается Всероссийским Собором, — так же и Киевский митрополит, по мнению украинских кругов, подлежал избранию украинского Собора, а не епархиального собрания. Вокруг этого именно вопроса шла напряженная борьба, но еп. Никодим, твердо стоявший за полученный им указ (им же и испрошенный!) от Московского Патриарха, утверждавший, что он сам не может ни изменить, ни отложить выборов митрополита, вел все подготовительные работы к созыву епархиального собрания. Тогда украинские круги решили, не прекращая борьбы, не игнорировать епархиального собрания и выставить свои кандидатуры.

Первым украинским кандидатом в митрополиты был второй викарий Киевской епархии еп. Димитрий (Уманский), которого хорошо все знали, большинство очень любили за его прекрасный характер, несомненную любовь к Украине, искреннюю религиозность. Вторым кандидатом — неожиданно для меня самого — оказался я. Помню, как в начале Апреля ко мне пришла специальная делегация от украинских церковных кругов во главе все с тем же о. Липковским и просила меня дать позволение выставить мою кандидатуру в митрополиты Киевские. Я был человеком холостым, говорили они, следовательно, мне не трудно стать монахом; я искренно был предан Церкви, отдавал много своих сил на церковно-общественную работу, — следовательно, для меня будет радостно послужить Церкви в такое страшное и ответственное время. Я люблю Украину, говорили они, пользуюсь доверием в украинских кругах, — следовательно, для меня не будет бременем послужить делу соборного и укрепления церковной жизни на Украине... Я все это слушал, улыбался — в такой степени странно и “неудачно” было все это предложение. Я согласился со всем, что говорили мне, кроме одного — я не собирался становиться монахом. Не говоря о том, что я не чувствовал себя ни достойным занять такое место в Церкви, ни подготовленным к такой деятельности — я хотел и хочу, говорил я им, остаться “церковным интеллигентом”, работать на ниве церковного просвещения, утверждать са-

мый тип — еще редкий тогда — сочетания научной работы и преданности Церкви. Эта задача столь важна, столь трудна, что так мало людей могут браться за нее, что я не считаю себя вправе отходить от начатого мной дела. И я сказал делегации, не подозревая о том, как напророчил я себе этими словами: “еще пожалуй в министры исповеданий я пошел бы, чтобы служить Церкви, но к священнослужению и монашеству я не чувствую себя еще готовым“... Я сам не знал тогда, как было близко время, когда я должен был стать министром исповеданий.

Таково было положение церковного дела, когда совершился гетманский переворот... Но тут мы можем уже закончить наше введение и перейти к тому периоду, когда мне пришлось самому активно войти в состав правительства.

Часть I.  
Пребывание у власти.

*Глава I.*  
*Вхождение во власть.*

Гетманский переворот совершился в последних числах Апреля 1918 г. (кажется 29/IV), но Министерство сформировалось не сразу. Первое Министерство, вышедшее из числа “заговорщиков” (с Сахно-Устимовичем во главе) не могло добиться коалиции украинских и русских деятелей. Приглашенный еще С. Устимовичем Н. П. Василенко очень активно и энергично принялся помогать Гетману — говорили тогда, что немцы, видя безуспешность попыток Сахно-Устимовича сговориться с украинцами, поставили Гетману срок, до которого они готовы ждать — в случае же невозможности сформировать Министерство они должны будут сами вручить власть другим группам. Будущего премьера, Федора Андреевича Лизогуба не было в эти дни в Киеве, — формировал же Министерство фактически Н. П. Василенко. Ему не удалось добиться от партии соц. федералистов согласия войти в состав Министерства (я считаю, что это была роковая ошибка этой относительно умеренной украинской группы — см. позже анализ событий, приведших к падению Гетмана); единственное, чего он добился — это было вхождение в состав Министерства Д. И. Дорошенко, который для этого формально вышел из состава партии. Кроме Василенко и Дорошенко, украинцев в Министерстве не было — остальные были русские (по-преимуществу правые) деятели. Премьер-министром согласился быть Ф. А. Лизогуб — б. председатель Полтавской Земской Управы, украинофил, не говоривший, впрочем, по-украински; Василенко был мин<истром> Нар<одного> Просвещения, Дорошенко — мин<истром> Иностр. Дел, Лизогуб стал мин<истром> Внутренних Дел, ген. Рагоза — военных, Любинский — здравоохранения, А. К. Ржепецкий (правый кадет) — финансов, С. М. Гутник (кадет, председатель Промышл<енного> Комитета в Одессе) — торговли и промышленности, Бутенко — путей сообщения, Соколовский — продовольствия, В. Г. Колокольцов — земледелия, Г. Е. Афанасьев (известный историк, тогда Управл<яющий> Госуд<арственным> Банком) — государственный контролер, Ю. Н. Вагнер (м<инистр> труда), М. П. Чубинский (м<инистр> юстиции). Министерство

сформировалось, если не ошибаюсь, уже к 2 Мая. В тот же день я получил от Н. П. Василенко телефонное приглашение зайти к нему в Минист<ерство> Нар<одного> Просвещ<ения>. Когда я пришел к Н. П., он предложил мне быть у него товарищем министра по отделу средней и низшей школы. То, что я уже четыре года был Директором Дошкольного Института и постоянно читал лекции на различных педагогических курсах, очевидно, сыграло роль при этом приглашении. Я не ответил Н. П. сразу согласием, он долго убеждал меня разделить с ним его труды, указывая на то, что положение именно школы в новых политических условиях является особенно ответственным и важным. Н. П. категорически заявил, что ни одной русской школы при нем не будет закрыто, но что введение и развитие украинской школы — уже развивавшейся очень сильно в течение 1917—18 г. — является задачей очень настоятельной, а в то же время требующей серьезного и внимательного к себе отношения. Школьная политика Н. П. клонилась к удовлетворению серьезных потребностей украинского общества и к борьбе с украинским шовинизмом, проявившимся за год революции. Убеждая меня, Н. П. остановился на характеристике политического положения, созданного немецкой оккупацией, и горячо призывал не уклоняться от ответственной работы. Я все же не мог ответить согласием, так как для меня, кроме общей трудности войти в политическую работу, — чем я до того времени абсолютно не занимался, стоял еще очень трудный и существенный вопрос о том, каково будет мое положение в Университете, если я стану Тов<арищем> Министра Нар<одного> Просвещ<ения>. Я был одним из самых младших членов профессорской коллегии, сразу же занял место в небольшой “левой” группе профессуры и по живости своего характера, естественно, постоянно входил в дебаты с своими правыми коллегами. Не углубляясь в эту тему, скажу, что у меня создались очень острые, а порой и враждебные отношения с Алекс. Д. Билимовичем, а после моего вхождения в Украинский Народный Университет — и с ректором нашим — Е. В. Спекторским и рядом других профессоров. Я не мог не считаться со всем этим — и поэтому я сказал Василенко: если я не встречу особой оппозиции в профессуре, то я согласен на Ваше предложение. Я пошел к 5 лицам, с мнением которых я считался — к Е. В. Спекторскому, Н. М. Бубнову (моему декану), Г. Г. де Метцу, С. Н. Реформатскому и А. Д. Билимовичу. Большинство из моих коллег ответили на мой вопрос (считают ли они, при настоящих условиях, удобным, чтобы я, как проф. Университе-

та, входил в управление всеми школами) уклончиво — указывая, что они считают это делом моих убеждений... Эта нейтральная позиция была явно недоброжелательной, лишь прикрытой уклончивыми словами. А. Д. Билимович на мой прямой вопрос, как он посмотрит на мое “товарищество” Н. П. Василенко, сказал мне прямо: мы до сих пор были на противоположительных полюсах, если Вы станете товарищем Мин. Нар. Просв., я не скрою от Вас, что борьба моя с Вами станет еще острее... Один лишь Г. Г. де Метц сказал мне: напрасно Вы хотите считаться с мнением Ваших коллег. Каждый из нас на Вашем месте, т. е. получив такое приглашение, ответил бы на него, исходя исключительно из его *личных* обстоятельств, совершенно не считаясь с тем, как посмотрят его коллеги. Советую и Вам то же...

Однако я не мог примкнуть к этому мнению. Ведь мне предстояло стать *начальством* (хотя бы и не прямым) для моих коллег и я нуждался в их доверии, в признании ими, что я не унижаю достоинства профессора, не разрушаю добрых традиций Университета... Я был слишком молодым тогда членом профессорской коллегии (я был к тому времени всего 3 года профессором), чтобы обойтись без ее поддержки. Когда я пришел к Василенко и сказал ему, что в виду отношения моих коллег ко мне не считаю возможным дать согласие на его предложение, он пришел в чрезвычайное волнение и даже сказал в запальчивости: те, кто не отдает себе отчета в обстановке и будет нам мешать делать наше дело, тем незачем оставаться у нас. Назовите мне фамилии тех, кто против Вас, и мы их вышибем в Сов<етскую> Россию. Конечно, только запальчивостью и раздражительностью можно объяснить эти слова Н. П., которые привели меня в ужас. “Что Вы говорите, Н. П., сказал ему — неужели Вы думаете, что я могу Вам в таком случае назвать эти имена и что при *таких* условиях я могу работать у Вас”. Н. П. замолк, и мы с ним расстались... А через 12 дней я получил снова просьбу от Н. П. Василенко зайти к нему — и здесь он мне, уже от имени Гетмана и Лизогуба предложил стать Министром Исповеданий. Этому предложению предшествовали некоторые обстоятельства, о которых необходимо здесь рассказать.

Когда формировалось Министерство, пост Министра Исповеданий оказался очень трудным для замещения — в виду крайней остроты (см. дальше) именно *церковных* русско-украинских отношений. Надо было найти человека, могущего если не примирить обе стороны, то все же ослабить взаимную вражду. Русские церковные группы выдвигали кандидатуру крайнего правого А. В. Стороженко, бывшего



к тому времени председателем союза приходских советов Киева. Фамилия Стороженко — старинная украинская, братья Стороженки были известны своей любовью к украинской старине, а в то же время это были русские (крайние правые) патриоты. Украинцы категорически воспротивились тому, чтобы дать пост Мин. Исповеданий яркому и резкому противнику украинского церковного движения (каким действительно и был А. В. Стороженко). Тогда была выдвинута кандидатура П. Я. Дорошенко (дяди Мин. Иностр. Дел) — богатого черниговского помещика, близкого человека к Гетману, очень близкого к украинским кругам, очень уже пожилого, но еще свежего человека — во всех отношениях исключительно достойного и особенно подходящего для указанного поста по своему очень мирному характеру и чрезвычайному спокойствию. Одна лишь была у него беда — он совсем был далек от церковных дел. Именно потому он и отказался. Переговоры с ним шли около недели и шли вничью.

Между тем церковное положение со дня на день становилось все острее и напряженнее. Еп. Никодим, в соответствии с указом патр. Тихона (составленным, как было упомянуто выше, по его же указаниям) созывал на 19 Мая (6/V по старому стилю) епархиальное собрание для выбора Киевского митрополита — а о созыве Украинского Собора, который, расходясь, назначил срок своей новой сессии именно на 19 Мая, не только не было речи, но еп. Никодим прямо высказывался против его созыва. Украинские церковные круги при новых политических условиях уже не могли действовать революционно. Возбуждение в украинских кругах по поводу срока созыва Собора, по поводу неправильных действий еп. Никодима разрасталось чрезвычайно — и несколько наиболее горячих голов уже выдвинули мысль о том, чтобы разослать повестки всем членам Собора о необходимости явиться 19/V и открыть заседания Собора в явочном порядке. Конечно, эти шаги небольшой группы были по-существу еще более вредны для дела Украинского Собора, чем то, что делал еп. Никодим — так как без согласия епископов принять участие в Соборе, он не мог бы, по каноническим условиям, функционировать. С другой стороны, для работ Собора нужно было найти помещение, разыскать средства для членов Собора и т. д. Частичный приезд небольшого числа членов Собора только дискредитировал бы его достоинство. Украинские круги — и умеренные, и крайние — понимали всю невыгоду своего положения, но и не хотели просто мириться с своеволием еп. Никодима, укрывавшегося за патриарший указ. Мало

этого — украинские церковные круги, в силу ряда принятых еп. Никодимом мер, попадали на епархиальное собрание в очень небольшом числе, и это очень их волновало — ибо, не имея силы не допустить епархиального собрания, они чувствовали, что не имеют силы провести своего кандидата. Совету Министров, занятому устройением “державы” в условиях оккупации, было невозможно входить во все эти дела — между тем день 19 Мая приближался и нужно было что-то делать.

При таких условиях кем-то была выдвинута моя кандидатура — и когда, после предварительных справок, выяснились достаточно благоприятные [нрзб] для меня, Н. П. Василенко было поручено войти со мной в предварительные переговоры. Это было 14 Мая. Я попросил у Н. П. Василенко день на то, чтобы иметь возможность побеседовать со своими друзьями в церковных кругах. Тут у меня уже не было тех препятствий, какие стояли передо мной при первом предложении Н. П., но зато еще острее стояли другие трудности. Прежде всего и больше всего это была личная трудность — нелюбовь к политической работе, трудность бросить совсем научную и общественную деятельность, расстаться с той относительно спокойной жизнью, которую я вел. Я понимал, что входя в состав Совета Министров, я разделял общую ответственность за управление Украиной, за политические судьбы ее — и России, поскольку политическое развитие украинской “державы” не могло не иметь влияния на судьбы России. Правда, именно в этом пункте передо мной с особенной ясностью вставало чувство долга — послужить устройению Украины *в интересах России*, борясь против сепаратизма и руссофобства. Но я не чувствовал себя политиком, не чувствовал в себе темперамента и волевой напряженности, необходимых в политической борьбе. Я готов был идти на работу, на труд, но не на борьбу, к которой не чувствовал никакого влечения и в которой к тому же не видел правды вообще... При таком самочувствии было невозможно идти на предложение Василенко — и с этим почти принятым внутренним решением я отправился к своим друзьям по церковно-общественной работе. У нас состоялось заседание при участии В. И. Экземплярского, П. П. Кудрявцева, Ф. И. Мищенко, не помню еще кого. Все горячо и настойчиво говорили о том, что, в виду создавшегося положения, я один сейчас могу помочь найти выход из тупика, в котором оказались церковные дела. Особенно горячился Ф. И. Мищенко (проф. канонического права в Дух <овной> Академии). Я его знал давно, ценил как хорошего ученого, но всегда чувствовал в нем большую вялость,

иногда легкий скептицизм. Здесь — как и в последующие чрезвычайно частые встречи во время моего министерства — я не мог его узнать — так был он горяч и страстен, с таким огнем и силой он говорил. В нем тут (впрочем, это мы все замечали уже с зимы) сказался и яркий патриотизм (украинский), боль за церковный хаос, и живое ощущение неповторимости и ответственности исторической минуты и потребность активного действия... На меня все надели, требовали, чтобы я согласился поработать на пользу мира и устройства церковного. Я поддался этим увещаниям — я чувствовал, что другого лица, имеющего связи и доброе имя (и, конечно, любовь к Церкви) в обоих враждующих лагерях нельзя было найти. Я дал своим друзьям обещание подумать и согласиться.

Был уже вечер. Я пришел к родным, рассказал им все дело. Все по- существу были против — ни у кого не было уверенности ни в прочности только что создавшегося режима, ни в возможности плодотворной деятельности при запутанном церковном положении, все просто жалели меня — но никто особенно не уговаривал меня противиться предложению Василенко... Я помолился Богу, подумал немного в одиночестве — и решил пойти на работу, меня ожидавшую, решил ответить согласием на предложение Василенко. Тогда я не сознавал, каким роковым для всей моей жизни был этот шаг... Если бы я мог не только предвидеть, но даже предполагать, что мне придется оставить Россию — на долгие годы, быть может, навсегда, — покинуть все, что у меня было дорогого — я конечно ни за что не согласился бы оставить мирный путь учебной и общественной работы. Но будущее было совсем закрыто в тумане, и у меня не было серьезных мотивов отказываться от ответственной работы. Я знал что иду на *жертву*, что очень много потеряю вследствие этого — но не представлял себе все-таки, как велика будет жертва...

В 11 ч. веч<ера>, как было условлено, Н. П. Василенко спросил меня по телефону, согласен ли я взяться за руководство Министерством Исповеданий. Когда я ответил ему согласием, он сказал, что сейчас пошлет за мной автомобиль, что я должен сейчас же приехать на заседание Совета Министров и поговорить с Гетманом и Лизогубом. Мне не очень понравилось, что вступать в должность пришлось ночью, но делать было нечего. Через 10 минут я уже мчался по улицам Киева к бывшему дворцу Генерал-Губернатора, где жил Гетман.

Когда я подъехал к дворцу, меня поразила вооруженная его охрана (из немцев) с пулеметами наружу и в вестибю-

ле. Меня ввели в отдельный кабинет — и через две минуты туда вошли Гетман и Лизогуб. Обоих я видел впервые, — и о каждом хочется сказать два слова, воспроизводя первые тогдашние впечатления.

Гетман был высокий, стройный человек, с порывистыми движениями, с частой улыбкой на лице. Лицо умом *не дышало*, хотя “умные” выражения не раз виделись на лице. Улыбка казалась порой тайной усмешкой над кем-то, над положением, над всем — точно он играл роль и сам над собой иронизировал. Но лицо было смелым, решительным, в глазах была отвага; простота и доброта светились на лице. Гетман мне понравился, я почувствовал к нему симпатию, которую чувствуешь к людям, которым можно верить. Но как сразу было ясно, что это все же только генерал, что не только никакого государственного таланта у него нет, но что и мыслить государственно едва ли он может. Впечатление это сейчас же окрепло, как только началась беседа.

Федор Андреевич Лизогуб оставлял другое впечатление — серьезного, вдумчивого, привыкшего к ответственности человека — но только очень провинциального и маленького. То, что он мне говорил, лишь заострило это первое впечатление.

Беседу начал Гетман, сказавший, что “Совет Министров и я просим Вас взять на себя управление Министерством Исповеданий и помочь нам в церковных делах, которые сейчас очень запутаны. Ко мне, сказал Гетман, без конца ходят представители обших сторон, надоели мне чрезвычайно — и ни одна сторона не хочет уступить. Вам нужно что-то сделать, чтобы наступил хоть какой-нибудь мир”.

Тут вступил в беседу Лизогуб и прежде всего счел нужным очень решительно и деловито заявить мне, что сейчас закладывается основа украинской самостоятельной державы, что история ставит перед украинским правительством чрезвычайно ответственные и серьезные задачи. Все это было сказано как заученный урок, мне слегка становилось смешно, что Л<изогуб> как бы хотел “втирать очки”. Ни в какую “самостоятельность” — еще при оккупации! — верить я не мог и не понимал, зачем была эта игра словами. Я все слушал. Лизогуб, точно читая в парламенте речь, стал мне говорить о том, что в самостоятельном государстве, которое ныне строится, необходимо создать независимую, *автокефальную* церковь, что иначе он не мыслит выхода из положения. Лизогуб кончил тем, что, прося быть Министром Исповеданий, взяться за церковные дела, он хотел бы, чтобы я высказал свой взгляд на положение.

У меня, уже во время слушания речей П. П. Скоропадского и Ф. А. Лизогуба, было все время два основных впечатления. С одной стороны, они, чувствовал я, считали необходимым твердо установить тот официальный *façon de parler* (“самостоятельная держава“!), который был неизбежным эвфемизмом для них и который я должен был бы усвоить, — а после того как была отдана дань официальному украинству (мы, конечно, говорили по-русски, ибо мои собеседники не говорили по-украински — по крайней мере тогда — ибо впоследствии П. П. Скоропадский выучился говорить) они не без некоего лукавства хотели перейти к реальной программе действий, которую и просили меня им изложить. Другое мое впечатление было, что вся эта беседа была ни к чему, что оба они были так рады, что нашелся человек, которому они могли бы подкинуть надевшие им церковные распри, что они мне всецело доверяют и вполне передают мне ведение церковных дел, полагаясь и на мой такт и на умение вывести церковное положение из тумана. Некое глубокое *безразличие* к существованию церковной проблемы, как она тогда стояла, я ощутил уже в эту же беседу и, конечно, это мое ощущение могло только усилиться в дальнейшем. Хотя то, что я сказал моим собеседникам, совершенно расходилось с только что высказанными ими взглядами, но они, как говорится, и глазом не моргнули, слушая меня — такое было у меня впечатление — только из вежливости (нельзя же было, вручая мне власть, даже не выслушать моей программы) и явно торопились к прерванному заседанию Совета Министров, на котором я должен был присутствовать.

Я высказал Гетману и Лизогубу, как я понимаю церковное положение в Украине вообще и в Киеве в частности. Я решительно высказался против автокефалии (оба собеседника меня слушали и ничего не возразили!), что основная задача устройства церковного дела должна быть толкуема в смысле автономии, ибо разрывать с Московской патриархией невозможно путем церковной “революции“. Я говорил о том, что необходимо пойти в спокойной и ответственной форме навстречу тому, чего ищет украинская церковная мысль, что необходимо даже больше — реальная помощь государства Церкви в момент, когда она так пострадала (от большевиков), что необходимо собрать Украинский Собор, в чем государство всячески должно помочь украинской Церкви, — и на этом роль государства в церковной жизни кончается и вся компетенция церковного самоустройства должна быть сосредоточена в руках Собора. Мои собеседники не особенно внимательно слушали, кто-то из них ска-

зал: “мы Вам совершенно доверяем, действуйте, как найдете правильным” — и на этом мое “вхождение во власть” закончилось.

Я немножко больше и лучше думал о людях, которым принадлежала в эти дни власть. У меня было такое же чувство, как бывало у меня, профессора Университета, в отношении к достойным и уважаемым преподавателям гимназии. Впечатление непобедимой *провинциальности*, оставшееся от 10-15 минут “аудиенции”, сохранилось, а во многом и усилилось впоследствии — и было в этом впечатлении много досадного и грустного. Таким ли людям возможно было овладеть разбушевавшейся стихией?... Мы вышли в большой зал, где гуляли и курили остальные министры и через 5 минут все направились в соседнюю комнату, где возобновилось заседание Совета Министров, в котором я принял уже участие. Мы заседали до 3-х часов ночи — после чего я в автомобиле Н. П. Василенко отправился домой.

Провожая меня домой и сердечно благодаря за то, что я взялся за руководство Министерством Исповеданий, Василенко сказал мне: “сегодня мы сделали два больших приобретения (точные слова были более лестны, но смысл был таков) — Вас и Игоря Александровича Кистяковского мы имеем с сегодняшнего дня в составе Совета Министров“. Действительно несколько раньше меня (на 1-2 часа) в состав Совета М<инистров> вошел И. А. Кистяковский в качестве “Статс-Секретаря“ — в сущности управляющего делами Совета Министров. Расскажу тут же о моих общих впечатлениях о членах Совета М<инистров>, — чтобы затем уже не возвращаться к этому.

Ф. А. Лизогуб навсегда остался в моей памяти как хороший и серьезный провинциальный деятель. Я ездил к нему каждую неделю, чтобы делать ему доклады по своему Министерству (к Гетману я тоже ездил с докладом раз в неделю — о Гетмане см. дальше), много с ним беседовал по вопросам своего Министерства, внимательно всматривался в его общую работу как Премьера — и всегда у меня крепло чувство искреннего уважения и доверия. Это был порядочный человек, gentleman, хотевший непременно серьезно и “честно“ отнестись к своему заданию — укрепления и устройства “украинской державы“. Для меня было ясно, что он был придавлен и как-то смят революцией, большевизмом, ухватился за буржуазную и национальную реставрацию Украины как *части* России, но считал временно, до уничтожения большевиков, необходимым опираться на национальное украинское движение как здоровое начало, как

точку опоры в борьбе против большевизма. Он был предан, условно, но искренно, "украинской идее", нередко, по новизне дела, перебарщивал. Но у него не было в этом вопросе никакой перспективы политического характера, он просто не умел политически мыслить, оставаясь все тем же земцем, каким был раньше. В нем не было ни политического темперамента, ни воли; правда, при немецкой оккупации, имевшей свои задачи, проводившей свою политику, мудро было проявить большую активность в общих политических перспективах, но все же можно было бы иметь хотя бы свой план — но его не было, да и не могло быть у почтенного Федора Андреевича — он просто вел дела, какие жизнь выдвигала, оставаясь всегда честным, порядочным, аи фонд преданным России, но в данной обстановке честно служившим "украинской державе" работником.

Н. П. Василенко в составе Министерства был единственным человеком, мыслившим политически. Правда, его интересовали лишь вопросы "внутренней политики" — иностранной политикой он не интересовался, но это был настоящий политический деятель, которому было бы впору работать и во всероссийском масштабе. На его серьезное сотрудничество всегда можно было рассчитывать, хотя по ряду вопросов церковной школы мы нередко с ним расходились. Обыкновенно Василенко подвозил меня на своем автомобиле (я обычно отпускал своего шофера) — возвращаясь с заседания Совета Мин<истров> (никогда не раньше 2 ч. ночи, а первые два месяца сплошь и рядом в 4-5 ч. утра) мы делились с ним впечатлениями и это нас очень сближало.

Н. П. Василенко, вместе с А. К. Ржепецким и С. М. Гутником и мной, образовал группу к-д в Совете Министров. Мы обыкновенно собирались раз в неделю у Д. Н. Григорович-Барского ("Председ<ателя> Всеукраинской партии к-д"). Но в этой кадетской группе Ржепецкий состоял по недоразумению или по традиции; по существу же он резко эволюционировал вправо. В ночь, когда я вошел в состав Совета Мин<истров>, Ржепецкий подошел ко мне, чтобы приветствовать меня — мы обменялись тут несколькими словами. Ржепецкий видел задачу Правительства в экономической реставрации, в возвращении хозяйственной и финансовой жизни, сильно потрясенной за год революции, к нормальным условиям. Дальше этой — естественной и верной, но не единственной задачи всякого антибольшевистского правительства — Ржепецкий ничего не видел и ничем не интересовался. Гораздо глубже и серьезнее был С. М. Гутник (еврей), разумный, трезвый и очень спокойный

человек. Мы сидели обычно рядом с ним и делились замечаниями во время заседания Совета, и я мог оценить здесь многие хорошие стороны этого в общем среднего, но энергичного и разумного человека. Большую симпатию во мне возбуждал генерал Рагоза — очень порядочный и толковый военначальник. Я расскажу дальше кое о чем в его достойной всяческой похалы работе. Г. Е. Афанасьев, по своей глухоте, принимал очень мало участия в работе Совета Министров — но всегда вносил ту исключительную порядочность и деловитость, которые были ему свойственны. Не очень много симпатии возбуждал во мне талантливый и ловкий М. П. Чубинский (министр юстиции, заместитель премьера). Это был известный русский криминалист, человек большого административного опыта, властный, хитрый, умный, по-существу (да простит меня М. П.!) беспринципный человек. Гораздо выше его стоял “дикий” в политических взглядах (когда-то с-р) Ю. Н. Вагнер (министр труда) — он был один из тех немногих в Совете, кто понимал силу революционной стихии, по своим специальным вопросам он выдвигал очень разумные и интересные проекты, но в общих дебатах он не умел найти надлежащей точки зрения. И М. П. Чубинский и Ю. Н. Вагнер не раз мне — а мне фактически пришлось играть некоторое время роль как бы “лидера” к-д группы — выражали свою обиду, что вот четыре к-дских министра обособились и действуют согласно, не желая принять их в свою группу. Я лично был очень против этого, меня столько же отталкивала беспринципность Чубинского, как и хаотичность Вагнера. Бутенко (министр путей сообщения) вызывал во мне отвращение и даже подозрения (я не имею данных, что он был нечестен, о чем ходили упорные слухи — но личное впечатление скорее было благоприятно для этих слухов...). Д-р Любинский был просто ничтожеством — глупый и ограниченный человек, он неизвестно как попал в министры. Старик В. Г. Колокольцов, вечно раздававший нам разнообразные проекты (в его министерстве шла интересная, но часто фантастическая работа по урегулированию земельных отношений), чувствовал себя в Совете Министров как в земской управе, да и то среднего качества. Министр продовольствия Соколовский, наоборот, был очень привлекателен личной культурностью и тонкостью, однако в политических вопросах был нем и равнодушен.

Мне осталось сказать несколько слов о трех более крупных людях — Д. И. Дорошенко, И. А. Кистяковском и наконец о самом Гетмане. С Д. И. Дорошенко я имел случай



довольно близко сойтись уже в эмиграции, и мои суждения о нем неизбежно теперь окрашиваются всем тем, что накопилось у меня в течение многих встреч в Европе. Но я помню хорошо, что Д. И. представлялся мне тогда человеком не очень умным — во всяком случае в вопросах политики (которыми он должен был заниматься...), но “себе на уме”, сдержанным и скрытным, до известной степени — делегатом от уклонившейся от участия во власти партии соц. федералистов, честолюбивым, жаждущим проявить себя — знающим в области литературы и истории, основательным и солидным, но непобедимо провинциальным! Корректный, спокойный, почти всегда молчаливый — словно он не разделял нашей общей ответственности за то, что делало правительство, он ужасно был озабочен организацией иностранных представительств от Украины в разных дружественных и нейтральных странах. Политически мыслить он просто не умел — и, так как я лично всегда интересовался вопросами внешней политики, а в эти годы, когда решались судьбы почти всех европейских народов, особенно, так как я систематически читал лучшие немецкие газеты, которые появились в Киеве после прихода немцев, то естественно, что я всегда, при докладах Д. И. по разным частным вопросам, выдвигал общие проблемы украинской внешней политики. Д. И. обыкновенно отмалчивался — и видно было, что ему просто нечего было сказать. По одному лишь вопросу он всегда говорил — о русско-украинских отношениях — но и тут обнаруживал неподвижность и упрямство фанатика. Словесная “незалежность” Украины его больше волновала, чем трезвый учет реальных будущих отношений Украины и России... Кстати, вспоминаю одну пошлую и отвратительную фразу, сказанную Ф. А. Лизогубом при обсуждении лукавого вопроса о русско-украинской границе. Беседа возникла в связи с докладом С. П. Шелухина, невообразимого дилетанта, размашистого политикана, ужасно храброго в своих претензиях (а он был представителем Украины в “мировой комиссии”, где ему приходилось бороться с таким опытным и умным, хотя и циничным человеком, как Раковский). Для Шелухина с его мегаломанией пределы Украины расширялись беспредельно, захватывали даже Орловскую губернию на сев<еро>вост<оке>, а уже об юго-востоке нечего и говорить. Д. И. Дорошенко тоже строил очень его увлекавший план “федерации” с Донской областью (Крым, конечно, весь инкорпорировался...). Было противно и стыдно слушать все это — когда фактически “Украиной” называлась территория немецкой оккупации. И вдруг — по поводу этнографических разногласий

между русской и украинской комиссией, когда мы рассматривали карту, принесенную Шелухиным, когда из его доклада было ясно, действительно, что большевики оперируют с преувеличенными данными, Лизогуб вдруг вскричал: “нет, это невозможно, недопустимо! Мы все пойдем бороться с большевиками за наши границы...” Это было так фальшиво, так пусто — и так было стыдно слушать это... Мне вообще часто бывало стыдно в Сов<ете> Мин<истров> — как и что меня выручало в этих случаях, скажу дальше. Но и политические планы, и не знающая сомнений и колебаний мегаломания Дм. Ив. меня всегда раздражала и я был, так сказать, присяжным оппонентом Дм. Ив. — и в Совете Мин<истров> привыкли к тому, чтобы по вопросам внешней политики заслушивать и меня.

Перехожу ко второй крупной и, пожалуй, самой тяжелой в правительстве фигуре Иг. Алек. Кистяковского. Это был бесспорно очень умный и талантливый человек, сильный и яркий, но очень циничный, полагающийся на “реальные факторы” — на силу и принуждение, на деньги и давление, презирающий все, что в иных тонах строит понимание жизни. Мне пришлось слышать И. А. Кистяковского на одном закрытом собрании в начале Февраля 1917 г. (т. е. до революции), когда он рассказывал о разных предположениях и надеждах, распространявшихся тогда в Москве, — и тогда вместе с впечатлением большого ума меня поражало отсутствие внутреннего благородства, внутренняя *Selbstironie*. Для больших даров, каким обладал И. А., необходимо было больше духовной силы и благородства; за отсутствием подлинного идеализма вся обычная интеллигентская идеология вызывала в нем не только справедливую критику, но и отвращение и презрение. И. А. был по существу делец и хищник, жертва обездушенной культуры и доминирующего во всем этактизма. Хотя он был юрист, но юриспруденция была для него ремеслом, а не правдой, не заветным убеждением.

Революция освободила И. А. от той неизбежной и для него благородной риторики, без которой не мог и он обойтись в прежние времена. По-настоящему для него русская стихия не была ни очень дорогой, ни очень глубокой, но странно — за цинизмом и скептицизмом можно было порой подметить нотки примитивного сентиментализма. Крупный, высокого роста, с самоуверенным тоном, с решительными речами, с острыми и умными формулами, И. А. не мог не импонировать собеседникам — и в Совете Мин<истров> его речи всегда были ярки и остры, сильны и умны. В них были те же черты, что вообще были присущи его лично-

сти — ум и сила, цинизм и хищничество, отсутствие благородства и редкие точки сентиментализма. Ведь основная линия гетманщины выражала *реакцию* на большевизм, возврат к “нормальному” порядку вещей — и в этой линии И. А. был очень сильным и умелым выразителем того, что бродило у всех. Я опишу дальше некоторые моменты, предшествовавшие тому, что И. А. стал министром внутренних дел, но в качестве “государственного секретаря”, призванного к окончательной формулировке и проведению в законном порядке (т. е. предложению на подпись Гетмана) законодательных актов Совета Министров, будучи, так сказать, обер-юристом среди нас, но *не имея никакой власти*, к которой его влекла вся его натура, И. А. сам провел себя — в последнем счете — в министры. Но он же оказался и наиболее одиозной фигурой в первом министерстве Лизогуба — несмотря на то, что часто он бывал прав...

Мне остается сказать несколько слов о Гетмане. Мы все видели его почти каждый день в Совете Министров, где он присутствовал (не председательствуя). Он добросовестно старался вникать в дела, но, видимо, ему было все же очень скучно среди нас. Боевой офицер, склонный к военным авантюрам, П. П. Скоропадский мог бы еще утешиться всем тем, что обычно связано с верховной властью — той шумихой, теми парадами, которые и утомляют, но и забавляют. Первое время вместо этого его забавляла *атмосфера заговора*, которая очень долго чувствовалась во дворце; забавляли приемы, встречи, интриги — но это стало скоро надоедать П. П., как надоедали ему и ежедневные заседания Совета Министров (лишь с середины Июня мы по воскресеньям совсем не работали, а по субботам съезжались в 2 ч. на 2-3 часа). П. П. по-существу — порядочный и благородный человек, но беспринципный, не в смысле цинизма или отвержения принципов, а в том смысле, что вся его принципиальность не шла дальше обычной порядочности — ни мировоззрения, ни глубоких убеждений у него [не] было по поверхностности натуры. Самый трудный порог для него, как подлинного военного, был в разрыве со старым строем, с присягой — но это случилось помимо его воли, это захватило всех. В Дон Кихоты П. П. не годился — и он кинулся в авантюру украинской самостоятельности, в которой пребывает (все же полуискренно) и доньне. Таким украинцем, каким его хотят и хотели видеть защитники украинской монархии, он не был и не может быть — оставаясь везде и всегда русским человеком. И то, что в годы, когда столько людей потеряли голову, отреклись от морали,

стали бесстыдными оппортунистами, перед П<авлом> П<етрови> чем жизнь поставила трудный вопрос о рыцарской верности России, то, что он поддавался (и поддается) разным украинским нашептываниям и нередко ругает “москалей” и Россию, — в этом отречении от того, что является его сущностью, П. П. утерять устои, которыми держалась духовно его личность. Ныне — насколько мне позволяют судить встречи и беседы в Берлине — это уже просто авантюрист, поставивший ставку на самостоятельную (при *немецкой*, а не польской поддержке) Украину. Ему сейчас просто уже невыгодно отойти от своей позиции... Впрочем, государственные деятели в большом числе могут во всех странах явить тип практических последователей Маккиавели — удивляться П<авлу> П<етрови> чу особенно не следует. Только одно — это не был ни государственный человек, ни даже “верховный главнокомандующий” и вождь — хотя он и был на этих “ролях”. Между прочим он был добрый, привлекательный и милый “барин” — в частных отношениях (насколько я мог судить об этом).

## Глава II.

### *Первые шаги мои.*

На другое утро в 9 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> я был в ограде Софиевского Собора, в доме, в котором размещался “департамент исповеданий” (как он именовался при украинском генеральном секретариате), — ныне, с моим вступлением в должность Министра, превращенный в “Министерство Исповеданий”.

Я застал там бывшего главу “Департ<амента> Испов<еданий>” Чеховского (который при Директории стал премьер-министром) и его помощника Павловского (не ручаюсь, что память верно сохранила мне фамилию его). Чеховский, несуразно длинный и толстый, с насупившимся, умным, но неприятным лицом встретил меня угрюмо и спросил, имею ли я в виду сотрудничать с ним или нет. Я просил его остаться, пока разберусь в делах, бегло ознакомился с тем, как был организован департамент исповеданий и сказал Чеховскому, что в ближайшие дни я займусь организацией Министерства, что сейчас я считаю нужным всецело посвятить себя вопросу об созыве Украинского Собора.

Скажу сейчас же о том, как было организовано Министерство мной, чтобы потом уже не возвращаться к этой теме. Труднее всего было подыскать мне Товарища Министра, которому я мог бы всецело доверять, который мог бы следить за работой в Министерстве. После обсуждений разных кандидатур с моими друзьями по церковной работе я остановился на Конст. Конст. Мировиче, который был членом Всероссийского Церковного Собора от духовной семинарии, где он был инспектором. Это был очень скромный, но очень порядочный, сердечный и достойный всяческого доверия человек, с которым я раньше почти не встречался, но о котором слышал самые добрые отзывы. Он был украинцем по своим взглядам, искренним и давним, но свободным от фанатизма и шовинизма. Когда я предложил ему стать Товарищем Министра, он после недолгих колебаний принял это предложение и вступил в должность по утверждении его Советом Министров. Ему непосредственно отдал я в ведение духовные школы, которые были предметом моего особого попечения. Департаментом инославных исповеданий оставил я временно ведать Павловского, помощника Чеховского, а самого Чеховского сделал Директором Департамента Общих Дел. Так скромно было организовано мое Министерство, умещавшееся в двух этажах церковного дома. Моим личным секретарем я избрал молодого юношу, погибшего впоследствии совершенно невинно в ЧК у боль-

шевиков (когда они отступали перед добровольцами из Киева) — Глеба Сер<геевича> Жекулина. Я никогда не жалел, что выбрал себе в секретари такого молодого человека, который был мне предан и был чужд всяким интригам, обычным для такого места. Об Ученом Комитете, организация которого явилась одним из главных поводов обвинений меня в “насилии над Церковью” со стороны митр. Антония, я расскажу после.

В первый же день я отправился с визитом к еп. Никодиму и еп. Димитрию, двум vicариям Киевской епархии. С еп. Никодимом у меня был небольшой, но очень характерный разговор. У меня еще не образовалось никакого плана действия, но я сказал еп. Никодиму, что взялся за свой пост исключительно из желания послужить церковному миру и благоустройству, что, войдя в состав правительства, я никогда не стану переходить компетенции государственной власти в церковных делах, но что надеюсь, что епископат пойдет мне навстречу, считаясь с очень серьезным и политическим, и церковным положением. Еп. Никодим, стремившийся ускользнуть от каких-либо ответственных слов, принимавший меня очень сдержанно и холодно, сказал, что время для Церкви сейчас действительно трудное, но что Церковь полагается на свои силы, что он надеется, что я буду уважать свободу Церкви и не переходить границ государственного вмешательства во внутренние дела Церкви. Я не считал нужным вступать в спор с еп. Никодимом, но мне сразу стало ясно, что я имею в лице его врага, который не пойдет ни на какие уступки, который твердо и упорно будет бороться за те позиции, которые он считает правильными. Меня это не могло смутить, — я достаточно раньше знал еп. Никодима — но показало мне сразу же, каким трудным путем предстоит мне идти. Беседа с еп. Димитрием была гораздо дружнее и сердечнее, но еп. Димитрий не имел никакого влияния на церковные дела.

Первым делом своим я поставил точное осведомление о положении церковных дел и о созыве Епархиального Соборания на 19/V для выбора Митрополита. Информации шли ко мне с разных сторон — не только со стороны украинской, которая искала во мне своей естественной защиты и попечения, но и со стороны русской. Незаменимым, хотя и чересчур горячим и даже страстным, помощником для меня в эти дни, как и в первые месяцы, был проф. Ф. И. Мищенко (профессор канонического права в Дух<овной> Академии. Я уже упоминал о том, что он был очень предан делу украинской Церкви — однако оставался человеком, свободным от шовинизма и фанатизма. Много разумных со-

востов давал он мне, обильно иллюстрируя свои положения различными фактами из истории Церкви, — но основная и самая боевая часть его планов оставалась мне чужда и au fond противна. Мищенко все убеждал меня, что я являюсь представителем государственной власти, что госуд. власти всегда принадлежала в Церкви огромная роль — большею частью положительная. Если носителем власти оказывался, так говорил он, человек подлинно церковный, чуждый честолюбия и интриганства, то он был несравненным благом для Церкви, ибо наша восточная иерархия, говорил он, не умела и не умеет вести Церковь. Конечно, эти дефекты в восточной Церкви и особенно в русской объясняются историческими условиями, но дело идет не об “понимании” духовенства, а о действовании среди него. *Надо брать на себя инициативу*, говорил он, не бояться быть новатором, не бояться новых путей, не бояться и того, что консервативное духовенство вооружится против меня. Мищенко особенно призывал меня к тому, чтобы я, оказывая всяческое почтение епископскому сану, *не перелагал своей ответственности за Церковь на епископат*, он подчеркивал, что на мне, как уполномоченном государственной властью для “управления” Церковью, лежат ответственность *перед Церковью, а не епископатом*. Он резко осуждал Карташева, который совершенно стушеввался перед Всероссийским Собором, забыв, что духовенство не умело и не умеет вести церковную жизнь. И Мищенко защищал теорию свободы Церкви, но указывал, что сейчас, после снятия многовековой опеки государства, сделать Церковь совершенно свободной значит преступно оставить “без призора” Церковь, которую так долго держали в плену, а теперь хотят оставить в полной свободе, т. е. небрежении.

Мне было тяжело слушать многое в речах Мищенко — я глубоко пропитался теми идеями о свободной Церкви, которые впервые заронил в мою душу Влад. Соловьев и которые так дороги были как раз тому церковно-радикальному течению, которое было представлено в нашем Киевском рел <игиозно-> фил <ософском> Обществе. Но две вещи все же запали мне в душу, хотя речи Мищенко в целом не могли быть приемлемы для меня. Я почувствовал по-новому (об этом еще несколько подробнее придется говорить мне позднее) свое ответственное *за Церковь* положение, поняли, что идея свободы Церкви не должна превращаться для меня в формальное умывание рук — ибо я призван к ответственности, ибо “начальник не без ума меч носит”. Вторая вещь, запавшая мне в душу и отвечавшая моему искреннему желанию послужить Церкви, заключалась в

идее свободной инициативы. Я достаточно хорошо знал наш епископат, чтобы понимать, что в нем доминировало два типа — кротких и добрых, но ничего не понимающих в делах управления Церкви, или же хорошо ведущих дела Церкви, могущих быть “князьями Церкви”, но, к сожалению, лишенных той благодати, без которой “власть” в Церкви сбивается на гражданскую власть.

Уже на второй день (17 Мая) у меня созрело решение, как найти выход из положения. Но, прежде чем повести речь об этом в Совете Министров, я счел нужным попробовать сговориться с еп. Никодимом. Я застал у еп. Никодима арх. (ныне митр.) Евлогия, с которым до того времени встречался очень случайно: еп. Никодим для придания авторитетности епархиальному собранию, имевшему избрать Киевского митрополита, выписал архиеп. Евлогия в Киев. Визит мой к еп. Никодиму имел своей целью найти корректный выход из трудного церковного положения, — и этот выход видел я в том, чтобы, занявшись различными делами епархии на епархиальном собрании (которое уже нельзя было отложить за поздним временем): 1) *выборов Митрополита не производить*, 2) переноса эти выборы на Украинский Собор (который один мог бы избрать первосвященителя Украинской Церкви и определить круг его обязанностей, его компетенции при разрыве отношений с Москвой, при новом политическом положении на Украине) и 3) в начале Июня созвать Украинский Собор. Развивая эти предложения, я указал еп. Никодиму, что смысл их заключается лишь в том, *чтобы оградить права Украинского Собора*, что компетенция государства при наличии церковных разногласий только в том и заключается, чтобы создать законную форму для чисто церковного разрешения этих разногласий, т. е. обратиться к Собору — что было тем легче сделать, что законный, *признанный Патриархом Собор* уже заседал в Январе м<есяце>, что нет поэтому никаких оснований не созывать Собора, который разошелся только в виду начавшихся военных действий, что жалобы украинского духовенства побуждают правительственную власть стать на защиту прав Украинского Собора, без всякого основания попираемых еп. Никодимом, как заместителем Киевского митрополита. Развивая эти мысли, я перешел затем к другому — к указанию на то, что нам нужно сберечь Церковь, стремиться к устранению в ней тяжких разногласий, которые только расшатывают здание церковное... Еп. Никодим меня слушал внимательно — и уже из того, как он меня слушал, я чувствовал, что слова мои не действуют на него, что он твердо и неуклонно стоит на



своим. И действительно — он сейчас же (и арх. Евлогий немедленно стал подтверждать и усиленно аргументировать ответ еп. Никодима) сказал мне, что он является исполнителем лишь указа Патриарха (им же самим добытого!..), что программа чрезвычайного епархиального собрания, в частности, выборы митрополита преуказаны Патриархом и он абсолютно не может отменить его указа... Для меня сразу стала ясна вся бесплодность нашего диалога — еп. Никодим стал на формальную точку зрения, конечно, не потому, что был формалистом, — а наоборот, он постарался сам создать эту формальную преграду, чтобы за нее укрыться. Он сказал мне еще: теперь не время созывать Собор, в разгар лета невозможно получить из деревни ни священников, ни прихожан, а осенью, когда закончатся работы, можно будет созвать Собор. Выборы же митрополита нам абсолютно необходимы, потому что епархия не может жить без ответственного главы ее. Когда я возразил на это, что после смерти митр. Владимира прошло 4 м<есяца> и еп. Никодим превосходно справился со всеми делами, что возможно подождать созыва Украинского Собора, который, собравшись на небольшую летнюю сессию, только бы установил правила жизни Церкви при наличных политических условиях и избрал бы митрополита, — еп. Никодим сказал снова: я ничего своей властью переменить не могу, я призван исполнить указ и отменять или откладывать не могу. Я заметил тогда еп. Никодиму, что он совершенно напрасно отворачивается от того правительства, которое занято успокоением и восстановлением края после большевиков, что я поистине кроме формализма, притом довольно придуманного, не вижу в его замечаниях, что на самом деле события столь серьезны, положение Церкви столь тяжело, столь обременено церковными раздорами, что ссылаться, при таких крайних обстоятельствах, на формальные преграды невозможно. Но и эти слова мои несколько не подействовали, ничего не задело в душе еп. Никодима. Я встал и сказал с огорчением, что моя первая же попытка найти мирный выход из положения, всей тяжести которого, очевидно, еп. Никодим не ощущает, — очевидно не имеет успеха. Я все же просил его назавтра встретиться с ним и другими приехавшими или присутствующими в Киеве епископами (собственно, при этом свидании отсутствовали лишь еп. Димитрий и еп. Василий (Богдашевский), ректор Дух. Академии). Еп. Никодим согласился на это и мы решили вновь встретиться 18 Мая (н<ового> ст<иля>) в 4 ч. дня.

Я уже не ждал большого успеха от совещания между

епископами, которое они должны были иметь до моего приезда. Действительно, когда я присхал к еп. Никодиму и начал беседу с ним и с 3 другими владыками (арх. Евлогий, еп. Димитрий, еп. Василий) — он заявил мне от имени всех их, что они не могут пойти на мое предложение в виду прямого указания патриарха Тихона произвести выборы митрополита... Мне оставалось только удалиться.

Я еще утром предупредил Лизогуба о том, что в церковных делах наступила очень серьезная и существенная точка и что мне необходимо сделать большой доклад в Совете Министров, чтобы я мог выступить на собрании епархиальном (а я предупредил еп. Никодима, что приеду на Собрание и попрошу дать мне слово) от имени всего Правительства.

Уже поздно ночью, около 2 ч. ночи, Ф. А. Лизогуб предоставил мне слово, — в ту ночь мы разъехались около 5 ч. утра — так основательно разбирали мы создавшееся положение. Изложив подробно историю несозыва Украинского Собора, нарочитые стремления еп. Никодима обойти Собор и провести (это было известно) митр. Харьковского Антония — в Киевские митрополиты, изложив подробно мои переговоры, я поставил вопрос так: я обращусь от имени всего Правительства к епархиальному собранию *с просьбой* отложить выборы до созыва Украинского Собора и удалюсь, конечно, указав на то, что Правительство *настаивает* на созыве Украинского Собора и на отложении выборов митрополита. Совет Министров был крайне возмущен поведением еп. Никодима (имевшего прочную славу покровителя крайних правых...), кто-то предложил просто полицейски не допустить епархиального собрания, в крайнем случае даже разогнать его. Тогда я категорически высказался против таких мер, указав, что считаю абсолютно невозможным пользоваться полицейскими способами в деле церковного замирения; что у нас, в случае отказа епархиального собрания пойти навстречу Правительству (а этого надо было ожидать), есть достаточно еще способов настоять на созыве Украинского Собора и кассировании выборов, произведенных на епархиальном собрании. Совет Министров, по-видимому, наконец понял, что иначе поступить невозможно, постановил принять мое предложение и уполномочил меня выступать на епархиальном собрании.

Надо заметить, что официальных кандидатов в Митрополиты было два: митр. Антоний и еп. Димитрий (кстати сказать, моя кандидатура в Митрополиты была все-таки выставлена, но за отсутствием ответа моего о согласии официально не могла быть поставлена — я же получил

официальный запрос и уведомление о выставлении моей кандидатуры 21/V, т. е. через два дня после епархиального собрания!). Хотя еп. Димитрий не мог, конечно, равняться с митр. Антонием, известным своими трудами, недавним кандидатом во Всероссийские патриархи, — но за еп. Димитрия стояли все украинские члены собрания. Еп. Никодим оказался очень предусмотрительным, добившись у Патриарха того, чтобы устав о выборах епископов не был применен в данном случае, чтобы вместо 2/3 голосов достаточно было абсолютного большинства, — митр. Антоний, фактически избранный на собрании, получил всего на 7 голосов больше еп. Димитрия!

Пришел день епархиального собрания. Если не ошибаюсь, оно было открыто после обеда; по соглашению с еп. Никодимом я приехал к 6 ч. веч <ера>. Собрание было достаточно многочисленным — около 303-305 человек. Когда я вошел в зал и подошел к президиуму поздороваться с епископами (председательствовал арх. Евлогий), сел на стул, — через 2-3 минуты арх. Евлогий предоставил мне слово. Помню хорошо, как все глаза устремились на меня... Я приветствовал епархиальное собрание от имени Правительства, лишь недавно пришедшего к власти и ставящего своей задачей восстановление порядка и мира внутри страны и, изложив сущность затруднения, перед которым стоит церковное сознание, которое тревожит и Правительство, подчеркнув, что Правительство вовсе не желает вмешиваться в церковные дела, но не может быть равнодушным к острым церковным разногласиям, считает крайне опасным, при общих условиях, в которых мы находимся, всякое дальнейшее заострение внутренних разногласий, сказал, что от имени Правительства прошу отложить выборы митрополита. Я отметил, что Правительство желает жить в мире с церковными людьми, но оно сделает, конечно, свои выводы, если его просьба, основанная на серьезных данных, не будет уважена. Епархиальное собрание, конечно, свободно поступить, как оно хочет — но и Правительство свободно в случае отказа собрания последовать предложению Правительства в своем пути...

Меня слушали внимательно. Когда я кончил, я обратился к председателю с указанием, что говорил не от имени только своего, но от имени всего Правительства, и что я буду теперь ожидать решения Собрания, о чем справлюсь у председателя по телефону. Я удалился... Через 1 1/2 — 2 часа у меня было несколько человек из “оппозиции” и сообщили о том, что на собрании авторитетно и решительно было заявлено епископами, что со стороны Правительства

оказывается насилие над Церковью, что указ Патриарха нельзя не исполнить, не разрушая церковной дисциплины... Решено было выборы производить, т. е. *отклонить* предложение мое подавляющим большинством голосов против 8 человек... Даже те, кто голосовали за еп. Димитрия, т. е. шли против линии еп. Никодима, тоже считали невозможным откладывать выборы... Выборы состоялись — и как указано было выше — несколькими всего голосами победил митр. Антоний, который был избран таким образом Киевским митрополитом.

Я доложил об этом вечером Совету Министров, как доложил одновременно и план дальнейшей политики: не признавать выборов до тех пор, пока Украинский Собор не выскажется о том, как он находит лучшим поступить — производить новые выборы или просто подтвердить своим авторитетом прежние. Совет Министров присоединился к моему предложению — и формально Правительство оказалось как бы в войне с Церковью. В действительности положение определялось лишь тем, что мы исходили из церковного *status quo как оно было до епархиального собрания*, т. е. признавали митр. Антония Харьковским (а не Киевским) митрополитом, по делам же киевской епархии обращаясь к еп. Никодиму. На другое утро я был у Ф. А. Лизогуба и предложил ему вместе со мной послать телеграмму Патриарху с указанием невозможности для нас признать выборы митрополита и необходимости переложить вопрос на Украинский Собор. Лизогуб принципиально согласился — и я устроил у себя в Министерстве совещание из некоторых влиятельных церковных деятелей и К. К. Мировича. Но весть о том, что мы собираемся сделать “интервенцию” у Патриарха как-то проникла за стены Министерства и достигла епископата. После обеда ко мне прибыл арх. Евлогий и со свойственным его дружелюбным и мягким тоном стал развивать две темы — прежде всего, что решение собрания было продиктовано невозможностью не исполнить волю Патриарха, а вовсе не нежеланием идти навстречу Правительству (весьма возможно, что епархиальное собрание уполномочило арх. Евлогия передать мне это), что и он, и епарх. собрание крайне сожалеют, что получилось такое неприятное положение. Я холодно ответил ему, что никто не собирается отвечать насилием на враждебность собрания к прямой просьбе Правительства и что теперь напрасно смягчать то, чего уже нельзя изменить. Арх. Евлогий стал мне говорить о том, что собрание да и весь церковный народ относится с чрезвычайным сочувствием к новому режиму, что он надеется, что все сгладится и отношения станут взаимно добро-

желательными, — и тут он перешел ко второй теме и стал говорить, что до него дошли слухи, что Правительство собирается обратиться к Патриарху. Я сказал ему на это прямо, что позиция Правительства была и остается строго лояльной — как в вопросе об отложении выборов, так и в дальнейших действиях, что никакой явочной автокефалии нет и быть не может, что дело идет только об установлении церковной автономии, что оставаясь в пределах этого и, признавая Патриарха высшим церковным органом и для Украины, я намерен от имени Правительства обратиться к Патриарху с тем же, с чем обращался к епархиальному собранию — и просить его уважить предложение Правительства. Арх. Евлогий ужасно заволновался (возникает вопрос — почему? Я думаю, потому, что боялся, что из материалов, которые были бы посланы Патриарху, стала бы ясна подтасовка выборов на епарх. собрание и подтасовка выборов митр. Антония — и, как однажды и Патриарх и Собор пошли на гораздо больший по решительности шаг в интересах церковного мира — на благословение Украинского Собора, — так и теперь, быть может, Патриарх пойдет навстречу нам и не утвердит выборов епархиального собрания... Только тем, что арх. Евлогий чувствовал слабость позиции, на которой он стоял, можно объяснить его волнения и его дальнейшие предложения). Арх. Евлогий стал говорить о необходимости церковного мира, о том, что мы должны здесь в Киеве сами найти пути соглашения. Я снова холодно спросил его — как он может говорить это, когда в ответ на совершенно лояльное предложение Правительства епископат и епарх. собрание, укрываясь за формальную силу указа Патриарха, отклонили возможное соглашение. Арх. Евлогий, боясь очевидно, что я пошлю кого-либо в Москву, стал убеждать меня, чтобы я подождал некоторое время, что он лично надеется, что ему удастся добиться в Москве какого-либо компромисса, что в то же время он будет стараться достигнуть соглашения здесь, вообще добиваться того, чтобы мы никого не посылали в Москву, обещая, что и он с своей стороны приложит все личные усилия в Москве для мирного улажения вопроса и что никаких настояний в Москве на утверждении выборов *не* будет сделано. Я тогда заявил арх. Евлогию, что если кроме его личного письма ничего не будет послано, если будет задержано все дело до ответа Патриарха, как выйти из создавшегося положения — что я готов, во имя церковного мира, пойти навстречу ему и ничего от себя не посылать Патриарху. Арх. Евлогий настаивал на этом, говоря, что посылка официального обращения к Патриарху сделает

уже невозможным “частное”, неформальное вмешательство Патриарха в положение вещей. Для меня было неясно, что может сделать Патриарх *после* выборов? Просить, повлиять на митр. Антония, чтобы он отказался ехать в Киев и таким образом сделать возможными новые выборы? Не знаю, это для меня осталось загадкой, но я решил уступить и сказал, что не буду ничего писать Патриарху при условии, что в Москву не будут посланы официальные материалы, а будет послано лишь частное письмо. Лизогуб не протестовал, когда я телефону сговорился с ним — и он хотел, конечно, мира.

Я уверен, что арх. Евлогий меня не обманывал и действительно имел какой-то план, но уже через два дня — через ту же “подпольную” почту, которая передавала известия из Министерства епископам, я узнал, что фактически в Москву выехал со всеми официальными материалами доверенный человек от еп. Никодима, — и таким образом обещание арх. Евлогия оказалось нарушенным. Я просил навести более точные справки — и они подтвердили известие... Что было делать? Для меня стало ясно, что еп. Никодим (надеюсь, без арх. Евлогия) воспользовался “перемирием”, чтобы выиграть время получить формальное утверждение Патриарха и Высш<его> Церковного Совета раньше, чем мы сможем осведомить его о своей точке зрения. Я решил действовать немедленно, составил текст телеграммы (которую нужно было тогда посылать через немцев, так как прямого телеграфного сообщения с Москвой не было) и отправился к Лизогубу. Лизогуб, как и я, был крайне возмущен обманом со стороны епископата. Телеграмма была составлена кратко и просила Патриарха воздержаться от утверждения решения епархиального собрания до получения от нас материалов, освещающих позицию правительства, желающего отложения выборов. Материалы эти — краткий, но ясный меморандум о положении церковных дел на Украине — были посланы в Москву на другой день (кажется, это было 23 Мая). Своим обращением к Патриарху как к высшей церковной власти я хотел подчеркнуть, что *мы признаем ее таковой*, что никакого, обычно свойственного молодым политическим организациям (Эстония, Польша, Финляндия!), желания разрыва с Москвой и установления через Константинополь автокефалии у меня не было. Недостатка в таких советах не было — украинские церковные деятели оценивали мой “провал” на епарх. собрании как объявление войны Правительству и настаивали на том, что именно сейчас было очень удобное время, чтобы разорвать с епископатом, столь себя связы-

вавшим с Москвой. Я говорил этим горячим людям одно: если Вы пойдете сейчас на разрыв, Вы не сможете созвать Украинского Собора, ибо без епископов Собор неканоничен, значит нельзя действовать так, а надо добиться созыва Украинского Собора. Хотя упрямые украинцы и спорили со мной (между прочим, на острых мерах настаивал — хотя и осторожно, считая себя вообще и обиженным, и “чужим” — Чеховский), но я чувствовал, что они понимали, насколько положение было запутано. Передо мной ясной стала задача — добиться созыва Украинского Собора, как единственного легального и канонического органа для устроения церковного положения.

Прежде чем перейти к рассказу об этом, достаточно драматическом периоде в моей работе, забегу немного вперед и доскажу историю о судьбе материалов, посланных еп. Никодимом и мной в Москву. Я не знаю точно и полно, что происходило в Москве, и вот что мне рассказал о. С. Булгаков, бывший тогда членом Высшего Церковного Совета (через несколько дней принявший сан священника и потому вышедший из состава Высшего Церковного Совета и не участвовавший в заседании, посвященном “украинскому вопросу”). Через два-три дня после моего вступления в должность Министра Исповеданий, на заседании Высш. Церк. Совета (покойный ныне) кн. Евг. Ник. Трубецкой сообщил, что, по сведениям т<sup>ак</sup> наз<sup>ываемого</sup> “Общественного Центра” (не помню точно названия политической антибольшевистской организации в Москве), новое церковное несчастье постигло русскую Церковь: “Министром Исповеданий назначен проф. Зеньковский, ставший униатом”. Это чудовищная и нелепая клевета, переданная из Киева нарочито, чтобы дисквалифицировать меня, рассчитана была на то, что меня мало знали в Москве. Кн. Е. Н. Трубецкой, с которым я встречался мельком еще когда он был проф<sup>ессором</sup> в Киеве (я был тогда студентом), но с которым потом мне пришлось видеться несколько раз, как на заседаниях Религиозно-Философского Общества в Москве (на моем докладе там еще в 1912 г.) и особенно на Всероссийском съезде Духовенства и Мирян в Июне 1917 г. (о котором упомянуто выше), — который знал меня по моим статьям в “Христианской Мысли” и по участию в издательстве “Путь”, мог повторить такую нелепую и вздорную клевету! Конечно, в те ужасные дни было так много разных предательств, позорного перехода к новым властям, что в атмосфере этой почти все казалось возможным. Во всяком случае, когда кн. Трубецкой передал “известие” Высш. Церк. Совету, на

всех это произвело самое удручающее впечатление. О. С. Булгаков, как он мне рассказывал, заявил, что, зная меня очень хорошо (а мы были дружны и близки с о. Сергием с 1905 г., когда сблизились впервые при издании существовавшей всего 8 дней “церковно-социалистической” газеты “Народ“...), он считает это сообщение решительной неправдой. При всем авторитете, каким тогда (до своего священства) пользовался о. Сергей Булгаков, его решительное заявление не могло совершенно рассеять клеветы, переданной кн. Трубецким. Нетрудно себе представить, в каком свете взглянул Высший Церк. Совет на описанную выше мою “борьбу“ с епарх. собранием, когда доверенный еп. Никодима человек привез материалы о выборах. Телеграмма, полученная из Киева за подписью Лизогуба и моей, создавала, конечно, затруднения, так как в Москве уже тогда, а тем более позже, относились с большим сочувствием к удалению большевиков из Украины, верили, что из национального украинского антибольшевистского движения может разрастись и дойти до Москвы общерусское движение. Но в церковной стороне дела в Москве не могли иметь никаких колебаний в том, чтобы утвердить выборы “мудрейшего“ митр. Антония в Киевские митрополиты. Протянув полторы-две недели, В. Ц. Совет прислал на имя Лизогуба письмо за подписью патр. Тихона о том, что В. Ц. Совет, рассмотрев дело о выборах митр. Антония и убедившись в том, что выборы были произведены правильно, не находит возможным отменить их, — надеясь вместе с тем, что гетманское правительство не оставит Православную Церковь без своего содействия и помощи в ее нуждах... Ответ этот закреплял положение, создавшееся еще на епархиальном собрании и делал невозможным никакой компромисс. Церковь и Государство на Украине оказались, таким образом, в войне, — и я, конечно, очень тяжело переживал эту ненужную, спровоцированную еп. Никодимом и близким к нему духовенством войну. Я был глубоко убежден в неправде и в чисто *политическом*, антиукраинском характере провокации, хорошо зная, как беспокойна была украинская церковная группа, бывшая в самом центре крайних украинских националистов. Еп. Никодим, вероятно, верил в то, что и большевики, а с ними и все украинское движение пропадет в 1/2-1 год, — и, как и раньше он вместе с другими вмешивался в политику, требуя разгона Государств <енной> Думы (в Февр <але> 1917 г.!), так и теперь он вел политическую борьбу. “Церковь выдержит“ — это было общее тогда беззаботное убеждение русских антиукраинских групп, которые вели свою политичес-



кую борьбу под флагом Церкви (как позднее делали это крайние монархические группы в эмиграции под знаменем Церкви в т. наз. "карловацком" движении).

У меня не могло быть колебаний в том, что и Москва не только не сумела разобраться в положении, но что и она не понимала *реальной необходимости создания церковной автономии для Украины*. За 2-3 недели своего пребывания на посту Министра я с ужасом убедился — я расскажу об этом подробнее дальше — в каком невыносимом положении оказалась Церковь, лишенная прежней государственной поддержки, но не имеющая базы в самоорганизации церковного общества. Формула об отделении Церкви от государства, даже если признавать ее *in abstracto* возможной, все равно *не могла отменить трудностей переходной эпохи в жизни Церкви*. Государственная власть, два века державшая в плену Церковь, не могла считать "свободой" для Церкви равнодушие к ее нуждам: это была бы непростительная фальшь. Для того, чтобы дать Церкви возможность не на словах, а на деле стать свободной, необходима была *помощь* Церкви, т. е. вхождение в ее жизнь, помощь в том, чтобы дурное политиканство епископата и духовенства, созданное при Госуд. Думе и благодаря давлению Правительства в этой именно точке на духовенство (на которое опиралось Правительство), — могло бы сойти со сцены, выдвинув деятелей, проникнутых чистой преданностью Церкви и свободных от веками воспитанного сервиллизма. Тем существеннее становилась тема об Украинском Соборе, для которого, по времени получения ответа от Патриарха, было уже немало сделано. Весьма возможно, что благоприятное разрешение вопроса о созыве Украинского Собора (см. след. главу) произошло не без указаний из Москвы, но я могу лишь высказать такое предположение, — данных же в пользу его у меня нет никаких.

### Глава III.

#### *Вопрос о созыве украинского собора.*

Беседы с украинскими церковными деятелями привели к тому, что они отказались от созыва “явочным” порядком украинского Собора и поверили моему обещанию приложить все усилия к тому, чтобы собрать Собор надлежаще, т. е. канонически правильно. Два условия необходимы были для этого: согласие епископов и финансовая помощь правительства. Последнего я добился очень скоро: состав бюджета Собора (если память мне не изменяет) в 1.200.000 “карбованцев” (рублей) я провел через Совет Министров; без особых споров деньги были ассигнованы, так что были обеспечены внешние условия для работы Собора. Гораздо труднее было, конечно, первое условие — сговориться с епископатом. Я видел, что еп. Никодим, как наиболее сильный в волевом смысле человек, имеет огромное влияние на всех, а он был так неуступчив, его политическая линия была так явно антиукраинской, он был тесно связан с антиукраинскими политическими деятелями, что надежды сговориться с ним у меня не было. Газета “Киевлянин”, выходящая под каким-то новым заглавием, но во главе с тем же В. В. Шульгиным, все время объявлявшим себя ярым “малороссом” и противником украинства, неожиданно взъелась именно против меня (впрочем надо принять во внимание близость Алекс. Дм. Билимовича к семье Шульгиных). Судьбе было угодно, чтобы уже впоследствии, в эмиграции мне пришлось оказать немало дружеских услуг жене В. В. Шульгина... Газетные выпады против меня были инспирированы и одним из наиболее “черных”, хотя и искренно религиозных деятелей антиукраинских группы — Скрынченко. Когда-то этот господин написал обо мне — не помню, по какому поводу — очень похвальную статью в “Киевлянине”, называя меня “священником в сюртуке” — теперь же он, как это всегда бывает в газетной полемике, хватал факты, не разбираясь в их подлинном смысле — и остро и резко напал на меня. История с моим “провалом” на Епархиальном Соборании давала, конечно, благодарный материал для него. А в каком-то небольшом еженедельнике, выходявшем под редакцией неугомонного и скучного “эволюционного социалиста” Бориса Гуревича, появился пасквиль, направленный против меня, где в пошлой форме был изображен разговор между мной (хотя моя фамилия не была названа, но все было так прозрачно, что нельзя было не угадать, о ком

идет речь) и Лизогубом при приглашении в состав Министерства, причем я был представлен жалким искателем министерского жалованья, готовым на самую низкую лезть, лишь бы пробраться в Министры. Пасквиль был написан небезызвестным правым публицистом Валерием М. Левитским, когда-то моим учеником, очень близким мне человеком, у которого я был крестным отцом его дочери... Я привожу все эти факты, чтобы показать, в какой атмосфере приходилось мне действовать. Я был глубоко убежден в срочной необходимости созвать украинский собор, чтобы установить церковную *автономию* (но конечно не автокефалию!) Украины, ибо видел, что без этого невозможна дальнейшая нормальная жизнь Церкви. Со всех сторон ко мне обращались с просьбой за помощью денежной, меня просили о назначениях, перемещениях в духовных семинариях, — превращая меня в “Обер-Прокурора”. Материальное положение Церкви, неурядица внутри епархий, невозможность иметь связь с Москвой, отсутствие какого бы то ни было центра церковной власти — все это лишь усугубляло хаос, созданный появлением большевиков. А в то же время стали приходиться вести, что из Галиции двинулись католики с пропагандой унии в губерниях, смежных с Галицией (Подольская, Волынская). Сведения, поступавшие ко мне в Министерство из церковных же кругов, взывавших о защите прав Православной Церкви, меня сильно волновали. Австрийцы (именно они, а не немцы), вероятно, по инерции еще военных годов относились недоброжелательно к православным и покровительственно к униатам. Особенно тяжелое положение для Православия создавалось в отошедшей к Украине части Холмщины, о чем мне говорил Д. И. Дорошенко, а несколько позже Скоропис-Елтуховский, о котором я уже упоминал и который в первые же дни был назначен губернатором (кажется, он назывался “старостой”) Холмщины. Я чувствовал, что на меня падает все большая ответственность за положение Православной Церкви — между тем мои собственные отношения к Православной Церкви оставались неурегулированными. Краткая история отношений Временного Правительства России к Православной Церкви и к инославным не создала никакой традиции, — я был, по смыслу самого замысла Министерства Исповедания — защитником интересов верующих в составе Правительства, я был, с другой стороны, уполномоченным Правительства для помощи Церквям. Конечно, элементарно ясно было, что необходимо было урегулировать и эти отношения, столь существенные для ежедневных дел Церкви — не говоря уже о том, что украинское

национальное движение должно было найти какой-то законный и канонически оформленный выход.

У меня тогда созрел план пригласить всех владык тех епархий, которые входили в состав Украины, чтобы на совещании с ними поставить вопрос о созыве Украинского Собора. Я обратился с телеграммой к митр. Антонию в Харьков, к митр. Платону в Одессу, арх. Евлогию в Житомир, к другим епископам (Чернигова, Полтавы, Подолии, Екатеринослава) с просьбой приехать в Киев к 28 мая на экстренное совещание в Министерстве Исповеданий. Впоследствии до меня дошло известие, что еп. Никодим (все еще пока заместитель Киевского Митрополита) был в претензии, что я созвал совещание епископов *не через него*. Конечно, при нормальных отношениях Церкви и Государства, совещание епископов нормальнее всего (хотя это и не обязательно) было бы созвать по соглашению с местным архиереем, в епархию которого приглашались другие правящие епископы. Но какое же могло быть соглашение у меня с еп. Никодимом после того, что произошло у меня с ним на Епарх <иальном> Собрании?

Кроме того, я вообще решил действовать самостоятельно, как представитель власти — считая, что трудность положения *обязывает* меня к этому, раз со стороны еп. Никодима я встречаю систематическое нежелание считаться со мной.

Состав задуманного совещания был мной определен в такой форме. Кроме епископов всех епархий, я пригласил несколько украинских священников (о. Нестора Шараевского, о. Филиппенко, остальных не помню), профессоров Дух <овной> Академии (Ф. И. Мищенко, П. П. Кудрявцева, Н. П. Мухина) и высших чиновников Министерства — товарища Министра, директоров департаментов. Митр. Платон и митр. Антоний оба не приехали, но прислали своих викариев, старшим был арх. Евлогий, который приехал, — всего было епископов 8 или 9 (не помню точно). Когда все собрались, я предложил арх. Евлогию быть председателем собрания, но он отказался, боясь, очевидно, за то, к чему может привести совещание, — и мы нашли компромисс в том, что оба заняли центральные места; фактически председательствовать пришлось мне. Когда я просил арх. Евлогия принять председательствование, я вовсе не хлопотал о том, чтобы создать “фикцию церковности”, а считал, что здесь собрались церковные люди для беседы по церковному вопросу и что уместнее возглавлять собрание архиепископу, — и я, хоть и Министр, в этом собрании участвую наравне с другими. Арх. Евлогий наобо-

рот, видимо, хотел подчеркнуть, что это не церковное собрание, а заседание, организованное органами Правительства... Кто-то мне говорил потом, что я остался "интеллектом" несмотря на всю свою церковность, именно так (т. е. по своей инициативе) организуя собрание с епископами, которые из уважения к власти прибыли, хотя от церковного человека могли бы ждать другого... Но я и до сих пор думаю, что оставался церковным человеком, организуя собрание так, как я его организовал. Как представитель власти, я звал владык — и отказать власти светской в этом праве значит вернуться к теории Иннокентия III и признать принцип клирократии, что не отвечает духу Православия. Но созвав церковное собрание, я считаю, что даже если бы я был царем, я все же предложил бы председательствовать на нем архиепископу. Нельзя же в самом деле считать церковным только то, формальная инициатива чего исходит от церковной власти. Не говоря о том, что вся история Церкви дает нам свидетельство постоянной инициативы светской власти и чрезвычайной легкости (доходящей до сервиллизма), с какой епископат шел навстречу светской власти, — и по-существу нельзя никак оправдать тезиса, что созыв церковного собрания должен оставаться в руках церковной власти — и наоборот совершенно необходимо, чтобы ведение церковных собраний оставалось в руках церковной власти. Арх. Евлогий своим отказом занять председательское место подчеркивал нецерковный характер совещания, подчеркивал "светскую" его природу.

Я начал собрание довольно большим вступительным словом, начав с указания на то, что "данное совещание с иерархами Церкви вызывается исключительно тем трудностями, которые наблюдаются в церковной жизни и которые необходимо срочно разрешить. Ключ к разрешению этих трудностей заключается в созыве летней сессии Украинского Собора; этот созыв лишь в том случае будет благоприятным, если он будет канонически правилен. Допустить в церковной области явочный порядок значит признать уже разрушенным нормальный строй Церкви, — поэтому все вопросы, которые должны быть обсуждены в данном совещании упираются в одну точку — о возможности согласия иерархов на созыв летней сессии. Со своей стороны я признаю положение острым и тяжелым и вижу эту остроту и тяжесть, прежде всего, в том, что русские и украинские группы, вместо того чтобы в Церкви иметь основу своего сближения и объединения, как раз именно в церковной сфере становятся в особенно враждебные отношения. Не отрицая того, что каждая группа имеет за собой известные

оправдания в своей настроенности против другой, я все же считаю своим долгом содействовать устранению этой враждебности и установлению мирного сотрудничества в сфере Церкви. Со стороны украинского духовенства и церковных кругов я добился того, что они отказались от идеи явочного созыва украинского собора, вообще отказались от "революционизма" в церковной жизни, — теперь надо ждать соответственной уступки со стороны иерархии. На пути к созыву летней сессии украинского собора я вижу два препятствия — формальное и препятствие по самому существу дела. Формальные затруднения, о которых я слышал от еп. Никодима, заключаются в трудности летней сессии вообще и вытекающей из этого необходимости отложить собор на осень, а также в том, что нет никаких особых причин торопиться с созывом собора. С другой стороны я ясно ощущаю и другое препятствие — тайное опасение собора как такового, нежелание вообще видеть его созванным, боязнь проявления автокефалических тенденций, церковного сепаратизма. Я прямо говорю об этом, потому что договориться до чего-либо положительного мы можем только в том случае, если не будем ничего скрывать и определенно и прямо скажем о том, что у всех есть на душе. В такой ответственный час, когда решаются судьбы и Церкви, и родины, мы обязаны смело и прямо выявлять то, чем встревожены наши души.

Что касается возражений первого рода, то я их назвал формальными — и думаю, что я прав. Каковы бы ни были трудности в созыве летней сессии собора, они должны быть преодолены, если только мы хотим исполнить свой долг перед Церковью; ссылаться на трудности не значит ли умыть руки? Между тем разрыв сношений с Москвой, политическая судьба Украины, новые перспективы для восстановления нормальной жизни, — все это требует установления церковного управления на Украине. Я прямо заявляю, что дело идет только об церковной автономии — правительство не ищет никакой автокефалии, но оно не может также примириться с тем беспорядком, какой царит в сфере Церкви благодаря отсутствию автономии. Как Министр Исповеданий я уже за несколько дней почувствовал этот беспорядок в чрезвычайной степени. Отсутствие церковной автономии превращает меня, представителя власти, в безответственного управителя церковными школами, церковным хозяйством. Неужели можно ждать со всем этим до осени? А что сказать об ином беспорядке — о начавшей подымать голову работе униатов, о которой может рассказать нам прибывший из Подолии священник?

Разрозненные епархии, не имеющие между собой связи, не могут помочь друг другу в общих трудностях, в общих опасностях. И дело не идет вовсе о создании какого-то нового учреждения — ведь украинский собор уже действовал — и притом с благословения Патриарха! Если бы не были тяжкие обстоятельства — захват Киева большевиками — собор разработал бы и ввел бы в действие начала церковной автономии, не естественно ли именно теперь, когда мы снова свободны от большевистского насилия, чтобы собор возобновил свои работы? Я не могу понять, в чем трудности действительные для созыва собора? В тайном опасении автокефалии? Но именно собор представляет лучший способ ослабления автокефальных тенденций — и наоборот, всякий тормоз в созыве собора льет воду на мельницу автокефалистов. Я обращаюсь к Вам, Владыки, с горячей просьбой взвесить всю тяжесть положения, помочь в том деле замирения и успокоения церковных распрей, в котором, полагаю, Вы заинтересованы не менее, чем Правительство“.

Еп. Никодим коротко и определенно ответил признанием невозможности (без объяснения, в чем истинная причина этой “невозможности”) созыва собора. По-видимому, у него самого была мысль о созыве архиерейского собора, который мог бы выразить потребности и нужды Церкви, но в настоящем церковном соборе он не видел даже необходимости. Беседа в этот первый день была больше посвящена информации. Мы собрались на другой день — и епископы все вместе (очевидно, посовещавшись друг с другом) вновь заявили, что не считают ни нужным, ни возможным созыв собора до осени.

Меня до глубины души огорчил и даже возмутил этот холодный отказ архипастырей, как бы толкавших другую церковную группу на революционный путь. Я ясно чувствовал, что епископы просто не хотят украинского собора, что переложение его на осень есть простая оттяжка. Чем я мог бы успокоить теперь нетерпеливых и горячих украинцев после второй моей неудачи наладить мирные отношения между русской и украинской группой? Я чувствовал, что у меня уходит почва под ногами, что епископы всячески мешают мне выполнить мою задачу, которая стала мне казаться уже почти неосуществимой. В заключительной речи, закрывая совещание, я высказал откровенно эти горькие мысли о том, что непостижимое сопротивление епископов в законченном и жизненно необходимом деле созыва летней сессии собора оставляет самый тяжкий осадок в душе. Уже второй раз, сказал я, мои предложения, все-

цело определяющиеся стремлением послужить Церкви, встречают неопреодолимые препятствия для осуществления. Я не брошу, сказал я, дела созыва украинского собора, в крайней и действительной необходимости которого я глубоко убежден, до тех пор, пока не будут исчерпаны все законные средства для установления церковного мира на Украине... Я кончил выражением благодарности присутствовавшим владыкам, что они не отказались принять участие в настоящем совещании...

Совещание закончилось вничью — но мне уже тогда стало ясно, что епископы “проиграли” свою партию, ибо моральная победа в совещании явно была на моей стороне. Ничего, кроме упрямства, в чисто политическом замысле еп. Никодима, который фактически был, очевидно, главным среди епископов, не чувствовалось — как не чувствовалось и тревоги за Церковь, не чувствовалось живого и ответственного отношения к церковной жизни...

Мне пришло в голову испытать еще одно средство воздействия на епископов — через Гетмана. Я знал, что митр. Антоний после возникновения гетманщины приветствовал очень пышной телеграммой Скоропадского, ожидая восстановления монархического начала на Украине. Мне пришло в голову, что если епископы не хотят уступать мне, что они уступят Гетману лично... Я сговорился с Гетманом, который в один из ближайших дней устроил у себя званый завтрак, на котором присутствовали оставшиеся в Киеве владыки (во главе с архиеп. Евлогием), а из состава Правительства я и М. П. Чубинский, заменявший выехавшего на несколько дней Лизогуба. После завтрака, на котором, как обычно, присутствовала многочисленная “свита” Гетмана, его, так сказать, “двор”, Гетман попросил владык в отдельную гостиную, где был сервировано кофе; мы с М. П. Чубинским тоже, конечно, отправились туда. Не помню точно, кто из владык присутствовал; мне кажется, что их было не больше 5. Гетман, знавший с моих слов достаточно подробно всю историю, довольно удачно и бойко изложил сущность дела и сказал, что в трудном деле, которое он затеял, ему чрезвычайно важно, чтобы в Церкви царил мир, что для этого абсолютно необходимо созвать Украинский собор, что он рассчитывает на полное содействие епископов. К моему удивлению, арх. Евлогий без дальнейших промедлений заявил, что хотя и очень трудно, но все же желая показать, что Церковь стремится поддержать новый строй, епископы готовы пойти навстречу Гетману. Чубинский, который тоже приготовил большую речь, чтобы воздействовать на епископов, сказал все-таки свое слово,



хотя и кратко. Но это уже было ненужно: епископы уступили. Очевидно, после совещания в Министерстве у них были существенные беседы и победила партия уступок, которую возглавлял уже архиеп. Евлогий — линия же еп. Никодима тем самым отменялась.

Я искренно радовался этой “перемене фронта” у епископов; что они не хотели сделать для меня — то они сделали для “высочайшей особы” Гетмана... В этом много было горечи и даже трагизма, — но факт был налицо: главное препятствие на пути созыва украинского собора было устранено и для моей работы открывалась новая перспектива, делавшая возможными дальнейшие шаги.

Мне следовало бы тут же рассказать о том, что происходило в описанные две недели в общей жизни Киева и Украины, но я думаю, что для цельности картины будет лучше, если я закончу описание церковных дел вплоть до созыва Украинского Собора в первых числах июля.

## Глава IV.

### *Перед Собором. Открытие Собора.*

#### *Вопрос о митр. Антонии.*

Вопрос о созыве летней сессии Украинского Собора был сдвинут с мертвой точки — и это было первой доброй удачей моей, как Министра Исповеданий. Но, конечно, этим только открывалась для меня возможность плодотворной и мирной работы — трудностей стояло впереди еще много.

В дни решения об открытии летней сессии Украинского Собора Лизогуб (не я!) получил от Патриарха бумагу, в которой было сказано, что Патриарх, получив бумаги от Украинского Правительства об неутверждении выборов Киевского Митрополита, обсудив в Высшем Церковном Совете вопрос, не находит возможным, в виду законности произведенных на нем выборов, не утвердить выборов, но надеется, что настоящим решением не будут затруднены благожелательные отношения Правительства к Православной Церкви на Украине...

Из предыдущего изложения ясно, что иного ответа ждать не приходилось, но в то же время не было оснований у меня менять принятую тактику. Я твердо стоял на той точке зрения, что Киевский митрополит как первосвященитель Украинской автономной Церкви также не может быть избран губернским епархиальным собранием, как патриарх Московский, являющийся в то же время митрополитом Московским, не может быть избран московским епархиальным собранием. Конечно, патриарх всея России занимает большее положение в Церкви, чем первосвященитель автономной, а не автокефальной Церкви, но все же он является главой поместной Церкви, с которым прежде всего входит в отношения власть на Украине.

То, что патриарх Тихон и его Высший Церковный Совет не захотели посчитаться с представлением Украинского Правительства можно объяснять тем, что он был формально стеснен своим собственным указом, которым и руководился еп. Никодим — и это формальное затруднение, конечно, очень значительно и при нормальной исторической обстановке оно должно было бы быть даже решающим. Но исторический момент, о котором идет речь, был так исключителен и ответственен, что сила формально-юридической последовательности должна была бы уступить началу "церковной экономии", говоря церковным языком, т. е. началу целесообразности. Но в том-то и дело, что Москва не видела целесообразности в том, чтобы содействовать церковному миру на Украине, как его понимали мы. Почему?

Потому ли, что весь новый режим на Украине казался недолговечным и нечего было жертвовать для временного замирения дорогим для морального достоинства началом верности своим собственным предписаниям? Едва ли *это* соображение определяло новации Патриарха и Высш. Церк. Совета — наоборот, на основе всех доступных мне источников я склонен думать, что в Москве было чрезвычайно распространена как раз в это время надежда на то, что именно украинское национальное чувство может явиться и в интеллигенции, и в народе на Украине прочной основой для подлинной реакции против большевизма. Быть может, в Москве хотели, чтобы в Киеве митрополитом был именно Антоний, высокое мнение о котором было доминирующим в высших церковных кругах? Я думаю, что это соображение играло немалую роль в Москве. Но и оно не могло быть решающим в этом серьезном и чреватом разнообразными осложнениями конфликте между правительством Украины и Церковью. Я думаю, что большую роль играло прежде всего *непонимание* обстановки на Украине. Я отчетливо помню рассказ проф. П. П. Кудрявцева, бывшего членом Всероссийского Церковного Собора от Киева, как трудно было ему и другим, знавшим положение на Украине, убедить в необходимости благословить поместный Украинский Собор. *Тогда* удалось нескольким лицам убедить в том, что надо идти навстречу мирным украинским церковным группам, чтобы предупредить взрыв революционных сил. Но после этого была поездка еп. Никодима в Москву, приведшая к фатальному указу о выборе митрополита на епархиальном съезде. Этот указ стоял в несомненном противоречии с решением в Декабре м<есяце> (о благословении поместного Собора), — и однако в Москве не только дали указ, но под влиянием еп. Никодима специально изменили § §, касавшиеся выбора епископа (митрополита) так, чтобы обеспечить заранее максимальную возможность выбора кандидата еп. Никодима... В связи с соглашением с архиеп. Евлогием нам не удалось никого послать от себя в Москву, а от группы еп. Никодима кто-то поехал и соответственно окрасил позиции Украинского Правительства...

Все это показывает, что решающим мотивом в утверждении митр. Антония митрополитом Киевским, кроме ставки на его “мудрость”, кроме формально-юридической трудности отменить свой собственный указ, было несомненное желание противиться, насколько возможно, развитию особой украинской *церковной* жизни, — т. е. не церковный и не церковно-политический, а чисто *политический* момент. Может быть, найдется немало политически

мыслящих людей, которые разделят общую позицию церковной Москвы, — я же не могу разделить ее, ибо не могу сейчас забыть о том, что украинское движение *никогда не сможет быть сведено к нулю*, что здоровое и плодотворное развитие Украины в пределах России (что означает мое сопротивление сепаратизму и политическому, и культурному, и церковному) предполагает наличие условий, при которых творческие силы Украины могут свободно проявлять себя.

Все это сводится не только к “автономии” (что отмечает организационную сторону), но и к признанию *особого пути Украины* (в пределах России), — конечно, не понимая этого в “абсолютном” смысле. Именно этого признания Украины и не было в Москве — и в этом был последний источник того противления всякой самостоятельности Украины, который определил собой акт Патриарха и его Высшего Церковного Совета.

Когда в Совете Министров я сообщил об утверждении митр. Антония митрополитом Киевским, что означало поражение наше в последней церковной инстанции, раздались негодующие голоса против церковной Москвы, не пожелавшей считаться с пожеланиями Правительства. Среди различных планов, выдвинутых на Совете, был предложен план недопущения митр. Антония в Киев; через несколько дней одним из министров (не помню кем) мне было передано формальное предложение немцев устроить так, чтобы вагон, в котором будет ехать митр. Антоний в Киев, был бы на одной из узловых станций направлен обратно... Все это было дико для меня и, конечно, совершенно неприемлемо — никакого *насилия* над митр. Антонием я не мог принять и категорически высказался за то, чтобы, твердо держась на прежней позиции непризнания выборов Епарх. Собраний с *государственной* точки зрения, в то же время совершенно не вмешиваться в церковные отношения. Иначе говоря — пусть в Церкви считают митр. Антония митрополитом Киевским, пусть он приезжает в Киев, живет в Лавре и т. д., но для нас он остается митрополитом Харьковским — и как таковой он должен иметь полную свободу и всю полноту того почета, какой ему полагается. Лизогуб сразу стал на мою сторону, а затем и Совет Министров предоставил мне самому находить выход из создавшегося положения.

Через 2 или 3 дня по телефону ко мне обратился еп. Никодим, уведомляя меня о приезде на следующий день утром митр. Антония в Киев и прося вместе с тем оказать содействие в том, чтобы были [приняты] меры против ка-

ких-либо возможных эксцессов со стороны украинцев. По телефону же я очень холодно сказал еп. Никодиму, что я удивлен, что он обращается ко мне за содействием — после того, как он не захотел ничего сделать, чтобы пойти навстречу Правительству. Когда мне он высказал свои опасения насчет возможных со стороны украинцев эксцессов (а эти опасения тем более были естественны, что еп. Никодим и его окружение хотели поднять, можно сказать, весь Киев для торжественной встречи митр. Антония, т. е. хотели устроить демонстрацию, что естественно могло бы вызвать контрдемонстрацию со стороны украинских кругов), тогда я ему сказал, что для предотвращения возможных неприятностей ему необходимо обратиться к полиции, т. е. к градоначальнику Киева, которым был тогда, если мне не изменяет память, полк <овник> Ханыков — очень порядочный человек. Я добавил к этому, что точка зрения Правительства не изменилась после утверждения митр. Антония патриархом и что он остается для нас Харьковским митрополитом. На этом наш телефонный разговор оборвался.

На следующий день я приехал в Министерство около 10 ч. утра — и застал у себя карточку митр. Антония. Я вызвал свой автомобиль и через полчаса поехал к митр. Антонию с ответным визитом. Он оказался дома (в Лавре), немедленно, с некоторой даже поспешной суетливостью (бросив кого-то, кто сидел у него) вышел ко мне в приемный зал и тут между нами произошел любопытный разговор.

Я не видел митр. Антония до того, представлял себе его гораздо более сильным, более импонирующим человеком, а увидел очень любезного, приятного и, по всей видимости, доброго старичка. Митр. Антоний начал с того, что он с крайним для себя огорчением, приехав в Киев, узнал, что его здесь не желают, что если бы он это знал, он ни за что бы не приехал, а оставался в Харькове, где к нему относились с любовью. Я сейчас же ответил митр. Антонию, что во всем отношении Правительства к митр. Антонию нет абсолютно ничего личного, что он для нас остался досточтимым Харьковским митрополитом, но что признать его Киевским митрополитом мы не можем, охраняя попранные епископами права Украинского Собора, что теперь вопрос о созыве Украинского Собора на летнюю сессию уже, как ему наверно известно, решен и что если Украинский Собор признает его Киевским митрополитом, со стороны Правительства не будет решительно никаких возражений. Мои слова, видимо, несколько успокоили митр. Антония, но все

же он сказал, что ему крайне тяжело быть в такой обстановке и что он сожалеет, что пошел на перевод его в Киев. Я снова ему сказал, что прошу его верить, что ничего лично против него Правительство не имеет (хотя, по правде сказать, я мог сказать это только о самом себе, ибо соблюдал точные границы в своей оценке, будучи в Правительстве лицом, призванным охранять свободу Церкви и заботиться о ней; огромное же большинство в Правительстве относилось резко отрицательно лично к митр. Антонию за его "черносотенство" и известную всем бестактность). На этом я кончил свой визит и снова ему сказал, что во всем буду рад пойти ему навстречу, как Харьковскому митрополиту, а Киевскую кафедру до решения Украинского Собора мы будем считать вакантной.

Дня через два или три после этого митр. Антоний сделал официальный визит Гетману, чем поставил его в затруднительное положение. В виду непризнания митр. Антония Киевским митрополитом, в виду острого отношения к этому вопросу украинских кругов, он хотел бы избежать ответного визита, но непосредственный такт и уважение к сану требовали иного. Гетман просил меня в тот же день приехать к нему — ему хотелось выяснить со мной, как лучше поступить. Я удивился, что он встретил затруднения в таком простом вопросе и сказал ему, что ведь митр. Антоний остается для нас высоким иерархом Украины как Харьковский митрополит, следовательно, было бы совершенно непонятно, почему Гетман не мог бы через 1-2 дня заехать к нему в Лавру. Мой ответ очень был по душе Гетману, который как бы почувствовал некоторую опору для того непосредственного чувства, которое было у него в душе. Встреча Гетмана с митрополитом Антонием — сужу по рассказу Гетмана — была очень сердечной и трогательной, вопроса о своем "признании" митр. Антоний не подымал, а говорил больше на тему о том, что Церковь всецело сочувствует и всячески хотела бы поддержать тот новый порядок, который начал утверждаться на Украине.

Церковная жизнь до созыва Украинского Собора текла в различных епархиях совершенно раздельно. Только что ушли большевики, оставив после себя массу разрушений — как внешних, так и внутренних. Много храмов пострадало от бомбардировки, и среди них гордость Киева — Владимирский собор, в который попало несколько снарядов. В первые же недели моего управления Министерством Исповеданий с разных сторон посыпались ходатайства о помощи в восстановлении и исправлении храмов. Я спешно составил законопроект, предоставлявший мне право

распоряжаться кредитом (если память мне не изменяет, около 1.000.000 рублей) для исправления повреждений, причиненных храмам большевиками. Законопроект этот не без возражений (в отношении к финансовой стороне его) [был] утвержден и одним из первых назначений по открытому мне кредиту было ассигнование 50.000 руб. Владимирскому собору — еще до возбуждения им ходатайства. Живо помню сцену, когда ко мне пришел настоятель Владимирского собора престарелый о. Иоанн Корольков (которого я лично хорошо знал как его прихожанин) с просьбой дать денег на исправление повреждений в Владимирском соборе — и его радостное удивление, что деньги уже ассигнованы. Много было замечательных по драматичности и жутких в своей простоте просьб из деревень, в которых иногда были совершенно разрушены храмы. Хотя перед лицом тех разрушений храмов, которые ныне производят большевики уже не в пылу гражданской войны, а во имя большого плана антирелигиозной борьбы — эти разрушения бледнеют, а все же я жалею, что не имею сейчас под руками ни одного такого деревенского ходатайства.

Государство приходило на помощь Церкви, материально помогая ей — и это было естественно для обеих сторон. Будучи тогда сторонником теории отделения Церкви от государства, я все же считал принципиально правильным для государственной власти приходить на помощь Церкви, особенно в виду тех исключительных событий, которые совершались, в виду переходного характера эпохи — от полной зависимости Церкви от государства к свободному самоуправлению. Но если вопрос о материальной помощи Церквям был совершенно ясен и прост, то совсем в другом положении были другие два вопроса, которые с первых же дней в обилии предстали передо мной. Вся провинция церковная словно дождалась своего “начальства” — и при появлении особого Министерства Исповедания меня, особенно в первые два месяца, можно сказать, засыпали жалобами и ходатайствами. Личные посещения начинались от священников и преподавателей духовных школ — и восходили до епископов. В своем кабинете я принимал почти каждый день по этим делам. Первая категория дел касалась разных сторон жизни духовных школ, вторая — внутрицерковных отношений. За невозможностью получать из Москвы те или иные распоряжения, при действии той чрезвычайной централизации, которая действовала у нас при Святейшем Синоде, — создавалось отсутствие последней формально необходимой для разных назначений, увольнений, решений инстанции, и сила вещей превращала меня в обер-прокурора,

в такую высшую формальную инстанцию. Я хорошо сознавал всю принципиальную недопустимость создававшегося положения и все же не мог уклониться от того, чтобы “изображать” из себя такую высшую формальную инстанцию. Ведь без “утверждения” нельзя было выдавать жалования учителям семинарий, переведенным из одного места в другое... И поскольку все денежные дела по “духовному ведомству” шли по кредитам Министерства Исповеданий (за отсутствием какого бы то ни было органа чисто церковного), постольку я неизбежно должен был явиться “распорядителем” в целом ряде тех новых перемещений, которые произошли за полгода гражданской войны в разных епархиях. Но из этой функции моей, вытекавшей, так сказать, бухгалтерски из того, что в финансовом отношении мое Министерство заменило Святейший Синод, имевший, как известно, свою собственную смету, имевший не только поступления от государственного Казначейства, но и от огромных церковных имуществ и предприятий (свечные заводы, издательства и т. д.), — из этой финансовой функции логически вытекала неизбежность моего вхождения в различные тяжбы между правящим епископом и пресвитерами, вообще клиром. Жалобы на епископов, ходатайства о защите, о следствии, пересмотре решений в большом количестве поступали ко мне, — и мне некуда было их направлять, ибо никакой *церковной* инстанции, могущей разбирать все эти дела, не было. Я вступал в переписку с правящими архиереями, словно имел для этого полномочия... — но *force majeure* всей обстановки требовала не раз моего вмешательства. Сюда присоединилось еще одно обстоятельство. Министерство Исповеданий не имело еще своего “статута” — и моими губернскими органами (на местах) неожиданно оказались секретари консисторий, которые перешли ко мне как бы тоже по наследству от обер-прокурора. Живо помню напр<имер> сношения по некоторым финансовым делам и по некоторым вопросам духовной семинарии с еп. Полтавским Феофаном (ныне архиепископ, известный иерарх, б<ывший> ректор Петербургской Духовной Академии, духовник Государя, введший к ним Распутина в свое время...). Еп. Феофан приехал в Киев по этим делам и явился ко мне с секретарем консистории, отчасти по своей беспомощности в делах, а отчасти потому, что секретарь консистории сам считал необходимым явиться “по начальству”. Несколько позднее, когда в Министерстве по моему поручению был разработан статут Министерства, в него был введен проект учреждения особых чиновников Мин. Исповедания, замещающих секретарей консистории в



их зависимости от “обер-прокурора“. Но я расскажу об этом позже в связи с поучительнейшим моим спором с митр. Антонием по вопросу о гражданских функциях, выполняемых консисториями. Во всяком случае секретари консистории через месяц уже вошли в регулярные отношения к Министерству Исповеданий и стали в подчинение мне в ряде тех функций, которые они совершали. Все это наследство старого режима нельзя было просто ликвидировать — нужно было создать новые отношения между Церковью и государством. Не только политические условия изменились, устранив режим самодержавия — но и в церковной жизни возникли совершенно новые отношения после Всерос. Церковн. Собора.

Но в первый месяц меня больше всего заботил вопрос о духовной школе — и средней, и высшей. Расскажу в этой главе лишь о том, что удалось сделать для высшей школы, так как вопрос о средней школе решался уже после открытия Украинского Собора.

Судьба высшей духовной школы в России была очень печальна, хотя она была всегда чрезвычайно богата исключительными талантами. Несколько крупных имен, прошедших без особых терний свою научную карьеру, прославили русскую богословскую науку во всем мире (Болотов, Тураев, Ключевский, Глубоковский), но и эти выдающиеся ученые претерпели немало в своей научной деятельности от высшей церковной власти. А сколько больших творческих людей были исковерканы, задавлены, выброшены за борт — этот страшный мартиролог высшей духовной школы в России еще мало известен. Если бы была когда-нибудь написана правдивая и полная картина жизни высших духовных школ у нас, она раскрыла бы такое угнетение свободного исследования, такое господство трафарета и покровительство бездарности, столько трагедий, что можно было бы только содрогнуться. Я многое знал из печальной жизни Духовных Академий, хотя сам никогда не имел к ним никакого отношения, будучи чисто университетским выучеником, — знал от своих друзей по Религ. Филос. Обществу в Киеве, возникшем еще в 1906 г. Вместе с моими друзьями из Академии я жаждал для них свободы — зная подлинность и глубину их веры. Конечно, Церковь всегда вправе квалифицировать работы ученых-богословов, которые могут и уклоняться от чистоты Православия и в таком случае не могут быть признаны Церковью пригодными для воспитания будущих пастырей — в этом смысле высшая церковная власть никогда не сможет отказаться от контроля над ученой и литературной

деятельностью профессоров Дух. Академий (или богословских факультетов). Согласование свободы, столько глубоко необходимой для научной работы, с правом Церкви отмечать уклонения от чистоты Православия не может быть названо легкой задачей, но все же невозможно было продолжать тот порядок, который установился раньше в наших Академиях. Зло заключалось не в самом праве высшей церковной власти, часто находившейся в узких тисках старой богословской схоластики или застарелого церковного консерватизма, — не было церковного “общественного мнения”, не было свободы в самой церковной жизни. Тесная зависимость от государства приводила к тому, что в составе высшей церковной власти редко находились даровитые и образованные богословски иерархи, — чаще, наоборот, встречался тип практиков-администраторов или лично благочестивых и достойных лишь в этом отношении иерархов. Зависимость высшей церковной власти от обер-прокурора — а история обер-прокуратуры в XVIII и XIX веке достаточно хорошо известна — вводила в работу Свят. Синода вульгарный, сервилитический консерватизм, который душил все живое...

Уже в предсоборном совещании 1906-7 года вопрос о реформе высшей духовной школы был поставлен достаточно настойчиво, но фактически Духовные Академии наслаждались “свободой” — сводившейся к праву иметь выборного ректора, не непременно епископа (конечно, утверждаемого Св. Синодом) — наслаждались недолго. Общая реакция, связанная с деятельностью Госуд. Думы, тяжело отразилась на жизни высшей духовной школы. В частности, Киевская Духовная Академия подверглась специальной ревизии, которую производил арх. (ныне митр.) Антоний (Храповицкий) — эта ревизия, позорная и неприличная с академической точки зрения, вызвала появление в печати брошюры, составленной профессорами Дух. Ак. во главе с (смененным) ректором еп. Феодосием — “Правда о Киевской Дух. Академии”. Через год или два проф. В. И. Экземплярский был изгнан из Академии за то, что он в книге, посвященной Л. Н. Толстому (сборник, изданный группой “Пути”, в котором и я принимал участие), посмел сравнить Толстого за чистоту и радикальность его этических взглядов с св. Иоанном Златоустом. Статья Экземплярского была так корректна, так безупречна в богословском смысле, что только нарочитым желанием найти предлог для удаления Экземплярского (конечно, уж не за статью о Толстом, а за борьбу его с известным прот. Буткевичем, оправдывавшим с христианской точки зрения (!) смерт-

ную кззнь...) можно объяснить эту нелепую придирку.

Когда открылся Всероссийский Церковный Собор, в нем была организована специальная комиссия по реформе высшей духовной школы в составе комиссии был и проф. П. П. Кудрявцев, который был моим главным помощником в деле реформы устава Дух. Академии (как председатель Ученого Комитета, организованного мной в Министерстве. См. ниже об этом). Устав, выработанный этой комиссией, был одобрен в Священ. Синоде и должен был поступить на обсуждение пленума Собора, но дело несколько затормозилось в виду недовольства выработанным уставом со стороны того же митр. Антония. Если бы дело дошло до пленума Собора, устав, выработанный комиссией и одобренный уже в Священном Синоде (при патриархе) огромным большинством голосов, был бы утвержден, так как позиция митр. Антония, стремившегося вернуть Академию к старому порядку полной зависимости от церковной власти, не могла встретить сочувствия в Соборе — хоть настроенном в общем достаточно консервативно, но все же понимавшего назревшие нужды Церкви. Но Собор не успел закончить этого дела (как и многих других).

В первые же дни моего управления Министерством я обсуждал с П. П. Кудрявцевым, — в котором ценил основательность его научно-богословских взглядов, его действительную и глубокую преданность Церкви и вместе с тем его свободный ум, его смелые замыслы, дышащие пафосом настоящего, а не казенного традиционализма, — вопрос о реформе высшей духовной школы в Киеве. Вопрос этот был поставлен мной в первые же дни моего пребывания [у] власти, т. е. в мае м<есяце>, до утверждения митр. Антония патриархом в звании Киевского митрополита. Я поручил П. П. Кудрявцеву составить специальную комиссию из профессоров Дух. Академии (по выбору самой коллегии профессоров) для обсуждения устава Дух. Академии и выяснения ее нужд. В те же дни был организован мной Ученый Комитет при Министре Исповеданий, но его задачи были иные — и я скажу о нем дальше.

Комиссия по реформе высшей духовной школы положила в основу работ проект, выработанный комиссией при Соборе, и через 10-12 дней я получил уже обработанный проект с приложением также новых штатов, которые нужно было срочно ввести в виду того, что жизнь непомерно вздороджала. Когда комиссия закончила свою работу, было уже известно, что патриарх не посчитался с представлением украинского правительства и утвердил митр. Антония Киев-

ским митрополитом. Для судеб Киевской Духовной Академии, о которой лет 10 назад дал такой недобрый отзыв митр. Антоний, это было зловещим фактом — и профессора не раз обращались ко мне с просьбой поскорее провести устав. Будь у нас хоть самая куцая церковная автономия, это “утверждение” светской властью устава высшего церковного учебного заведения могло бы означать одно — согласие правительства на устав, представляемый высшей церковной властью. Это совершенно элементарно и, конечно, я хорошо понимал это. Но у нас не было никакой еще автономии; летняя сессия Собора должна была заняться выработкой положения о церковной автономии (фактически украинский собор разошелся в Июле м <есяце>, не закончив этой своей работы). Но даже при отсутствии автономии введение в жизнь нового устава предполагало — при той системе отношений Церкви и государства, которые создавали строй, в общем напомилавший старые русские церковно-государственные отношения — заключение хотя бы первоиерарха Украины — т. е. митр. Антония. Всем было ясно право Правительства, финансирующего духовные школы, принимать или не принимать тот или иной строй школы, — но инициатива реформы, конечно, должна была бы исходить не от Министерства Исповеданий, а от церковной власти — хотя бы от митр. Киевского. Но как было уже указано выше — в виду всех тех трений, которые связаны были с выбором Киевского митрополита, у нас, с правительственной точки зрения, не было в Киеве митрополита. До Украинского Собора кафедру Киевского Митрополита мы считали вакантной, а митр. Антония считали Харьковским митрополитом. Это не были слова — я действовал фактически следуя этому порядку, созданному сопротивлением еп. Никодима (в первую очередь). К кому же было обращаться как представителю церковной власти, могущему дать авторитетное суждение относительно реформы высшей духовной школы? За отсутствием такого лица — можно было стремиться ввести в действие новые штаты, а самый устав передать на заключение Украинского Собора. Но такое разделение двух частей устава (который устанавливает количество кафедр и т. д.) неестественно; с другой стороны, Украинский Собор созывался на летнюю сессию лишь для выработки положений о церковной автономии и вопрос о реформе высшей духовной школы должен был бы ждать осени или даже зимы. При таких условиях мне оставалось — или блюсти формально прерогативы будущей церковной власти и тормозить дело устройства и обеспечения Дух. Академии — либо взять на себя риск проведения

устава, минуя церковные инстанции. Это было бы дерзко и нарушало прерогативы церковной власти? Да, но не следует забывать, что никаких радикальных реформ проект, который был мне предложен комиссией из профессоров Дух. Академии, в себе не заключал: автономия профессуры в выборе профессоров, ректора, все равно предполагала утверждение их высшей церковной властью, она лишь ослабляла мелочную зависимость школы от власти — притом в тех именно тонах, в каких все это было продумано в специальной комиссии Всероссийского Собора. Это было, конечно, достаточной гарантией того, что никакие интересы Церкви не были нарушены в уставе. Вся “дерзость” моя заключалась в том, что я перескочил формальные перегородки, разделявшей сферу моей компетенции, как носителя государственной власти, от компетенции местной (при том отсутствовавшей) церковной власти. Я без колебаний решился на эту дерзость, зная, что по существу обижу лишь одного митр. Антония, но что для пользы дела необходимо поскорее ввести в жизнь новый устав.

Я внес на рассмотрение Совета Министров устав и в вступительной речи при докладе объяснил, почему и как я вношу данный устав. Я ничего не скрыл от правительства, не скрыл и того, что шаг мой и предстоящее одностороннее утверждение Правительством устава заключает в себе формальное прегрешение, но указывал на то, что мы все время стоим на базе реальной помощи Церкви — и в тех исключительных обстоятельствах, в которых мы живем, при той недоброй церковной атмосфере, которая исходила от еп. Никодима и которую был призван углубить и укрепить митр. Антоний, — мы должны спокойно и твердо решиться на предлагаемый мной шаг. В Совете Министров мое предложение вызвало немалое смущение благодаря привкусу “революционности”, который им почувствовался в моем предложении, но самые влиятельные члены Совета (Лизогуб, Василенко) быстро поняли, что по существу я был прав, стали на мою сторону, а затем и весь Совет Министров, у которого не было особой охоты углубляться в вопросы церковной жизни и который чувствовал, что и еп. Никодим и митр. Антоний ведут недобрую игру с нами, — присоединился к ним и постановил утвердить новый устав Духовной Академии и немедленно ввести его в действие.

Гетман присутствовал на этом заседании, внимательно слушал наши дебаты и не возражал против решения Совета Министров. Дальнейшая судьба принятого решения состояла в том, что после юридической корректуры со стороны статс-секретаря (которым тогда состоял еще И. А. Кистя-

ковский) Гетман должен был подписать начисто изготовленный принятый Правительством законопроект, который с этого момента получал силу закона. Но тут неожиданно обнаружили трения; я доподлинно не знал, в чем было дело, знал только, что митр. Антоний и сам приезжал к Гетману протестовать против способа введения в действие закона — и через близких ему лиц, имевших вход к Гетману стремился подействовать на Гетмана, в котором во всяком случае зародились какие-то сомнения в правомерности шага, предпринятого мной. Раза два, когда я у него был с докладами, Гетман заговаривал со мной и признавался, что на него насадет русская церковная партия и считает невозможным утверждение устава Академии. Гетман все откладывал дело, но я настаивал на том, что иного выхода не было у нас, как принять устав. Время шло — уже открылись заседания Украинского Собора, уже состоялось “примирение” с митр. Антонием и признание его Киевским митрополитом (см. дальше), — а Гетман все не утверждал законопроект. По существу он не имел возражений ни против содержания законопроекта, ни против его немедленного введения в действие — но на него наседали с русской церковной стороны, и он не знал, что делать. Я не нажимал, но и не хотел брать законопроект назад и перерабатывать его — и только указывал Гетману, что чем дальше он затягивает утверждение законопроекта, тем труднее становится положение. Наконец, в середине Июля Гетман подписал законопроект, и новый устав Духовной Академии вошел в силу. Как это отозвалось на моих отношениях с митр. Антонием, я скажу дальше.

Из новых дел, созданных мной до открытия собора, хотел бы здесь же рассказать об Ученом Комитете. Уже во время переговоров с еп. Никодимом и арх. Евлогием я понял, как несерьезно они относились к церковной проблеме украинства — для них она, собственно, не существовала. Они, безусловно, сочувствовали установлению “буржуазного” порядка на Украине, пожалуй (хотя и по-разному) мирились с подъемом национального движения на Украине в пределах общекультурного творчества — но церковной проблемы украинства для них не существовало. Не знаю происхождения еп. Никодима, но как арх. Евлогий, так, вероятно, и другие правящие архиереи на Украине были из Великороссии. Это была давняя политика русской власти и в церковном, и в культурном, и в административном деле — посылать на Украину людей, свободных от всякой опасности заболеть “украинофильством”. Поэтому архиереям, по-существу, оставались совершенно чужды и непо-

няты церковные искания украинцев, — в частности, был чужд вопрос об украинизации богослужения, о переводе Священного Писания на украинский язык. Правда, при Св. Синоде вышли начатки перевода Нового Завета на украинский язык под редакцией еп. Парфения, но дело это многим казалось ненужным, непозволительным и даже кощунственным и потому недопустимым. По поводу стремлений украинских церковных групп совершать богослужение на украинском языке митр. Антоний (еще в бытность Харьковским митрополитом) со свойственной ему резкостью выразился так, что недопустимо совершать богослужение на “базарном языке“. Это не только раздражало украинцев, но вызывало стремление отделиться от церковной Москвы — тенденции сепаратизма очень сильно развивались именно по контрасту с этим языковым униформизмом, по существу столь чуждым Православию. Если уже по вопросу об автокефалии нельзя было бы привести никакого церковного возражения, кроме того, что мотивом к установлению автокефалии являются чисто политические тенденции, — то в вопросе о языке богослужения не только не могло быть никаких церковных препятствий, а наоборот — должно было бы [быть] самое сочувственное отношение. Языковой униформизм в богослужении совершенно искусственно удерживается в римском католицизме и свидетельствует лишь о нечувствии великой тайны освящения языка через совершения на местном языке богослужения. В Православии — в том числе и в России — никогда не было таких тенденций. Достаточно упомянуть одного св. Стефана Пермского, — чтобы не говорить о других, — который обратил зырян в христианство и одновременно перевел Священное Писание и богослужебные книги на зырянский язык. Почему же могли выставляться соображения против перевода Священного Писания и богослужебных книг на украинский язык? Единственно, чего следовало опасаться — это того, чтобы эти переводы не оказались неудовлетворительными и с филологической, и с художественной, и с религиозной точки зрения. Припомним, однако, ту жестокую борьбу, которую вел покойный проф. Т. Д. Флоринский (мой коллега в Киевском Университете) за то, чтобы признать украинский язык не особым языком, а особым “наречием“, что филологически, конечно, стоит рангом ниже. Надо признать, что с строго научной точки зрения вопрос, является ли “украинска мова“ языком или наречием, может быть решен и в одну и в другую сторону: помимо самой условности терминологии и за одно, и за другое решение есть солидные объективные аргументы. Но из чисто

филологической сферы этот спор — еще до революции — был перенесен в область политики: защитники учения о “наречии” стояли за неотделимость Украины от России не только в политической, но и культурной сфере, отвергали самый термин “Украина”, “украинский” — заменяя его “Малороссия”, “малорусский”. Официальная точка зрения на “малорусский” вопрос опиралась на всю эту аргументацию Флоринского и его сподвижников, проводя, по существу, начала руссификации. Только, если Флоринский и его группа оправдывали всю систему цензурных насилий, которыми пользовалась тогда власть в Юго-Западном крае, то были и такие “антиукраинцы” (напр. П. Б. Струве, проф. Леон. Н. Яснопольский), которые не мирились с этой системой цензурных насилий, как по общим основаниям либерализма, так особенно потому, что эти насилия лишь усиливали, как всегда, украинское движение, облекая его венцом мученичества. Общая позиция заключалась здесь в тайном или прикрытом отвержении самого понятия “украинской культуры”, дозволительными формами считалась лишь песня, художественный узор да еще кулинария.

Совершенно понятно, что у коренных украинских интеллигентов, любивших свое прошлое, свой украинский геній, все это вызывало чрезвычайное негодование и величайшее раздражение и толкало их на самые крайние шаги, развивало крайнее руссофобство, которое было естественным ответом на описанное выше украинофобство.

Не могло бы быть ничего печальнее, если бы Церковь стала ареной борьбы этих двух противоположных тенденций, стремящихся уничтожить одна другую. К сожалению, налицо была не только взаимная раздраженность, но порой и провокация, — и все это делало (и увы! сделало в конце концов) то, что под знаменем, напр<имер>, церковной автокефалии проявлялись тенденции не только к церковному, но и культурному обособлению (к последнему, по существу, больше, чем к первому). То, что совершала революционная “церковная рада” в Октябре-Декабре 1917 г., выявляло одну сторону, то, что под противоестественным покровительством большевиков затеял сделать и сделал еп. Никодим, — являло другую сторону.

Мой взгляд на всю эту “церковно-филологическую” проблему был таков. Под “украинизацией” богослужения нельзя разуметь ни простого введения проповедей на украинском языке (такая украинизация была и раньше в деревнях по той простой причине, что иначе проповедь не была бы понятна крестьянам. Даже в малых городах, если там были крестьяне, не раз произносились проповеди по-укра-



ински. Разрешение говорить проповеди по-украински в городах было уже запоздалым — там, где была украинская интеллигенция и находился священник, говоривший по-украински, так тоже уже — со времени революции — шла проповедь по-украински). В совершении богослужений на украинском языке я не видел никаких принципиальных трудностей, но видел зато чрезвычайные практические трудности: ведь не существовало никакого церковно и филологически приемлемого перевода богослужебных книг, а также Священного Писания. Правда, стали появляться отдельные переводы (вроде тех, которые фабриковал очень шустрый, недалекий, хотя и отважный в филологии, наш Киевский прив.-доц., ставший потом (без ученой степени) профессором Украинского Университета, а впоследствии (при Директории Винниченко и Петлюры) Министром Исполнений — И. И. Огиенко). Но за эти переводы можно только стыдиться, что к ним приложил руку ученый — хотя бы и с недостаточным стажем... На Украине издавна было много особенностей в богослужении, в храмовой жизни, в различных обрядах — в соответствии с особенностями религиозного типа украинского. Я искренне сочувствовал тому, чтобы содействовать развитию и расцвету украинской церковной культуры, но я всемерно хотел препятствовать той “отсебятине”, которая стала заполнять украинский церковный рынок. Подобно тому, как украинские ученые фанатического склада во что бы то ни стало стремились создать не существовавшую научную терминологию, не боясь доходить до нелепостей, — и в церковной области появились такие любители, которые грозили наводнить церковный рынок своей самодельщиной. Нужно было создать орган, который серьезно и существенно помог бы свободной ныне украинской церкви найти возможность выражения себя в слове, в обряде, в богослужении — орган, который возглавил бы и направил все творческие силы церковной культуры. Конечно, эта задача была задачей церковной власти — если бы у нас была такая церковная власть, которая понимала бы свои задачи в отношении к местной жизни и культуры. Но наши иерархи — решительно никто из них! — совсем об этом не думали — одни посуществу своей общерусской ориентации, другие — по испуганности своей перед всей той новой жизнью, которая явилась после революции, третьи — по отсутствию подходящих талантов. Совершенно было ясно, что та задача, о которой я только что говорил, не могла бы быть не только решена, но даже поставлена ни существующей церковной властью, ни даже той, какая могла бы устано-

виться в случае осуществления церковной автономии. Между тем для внутреннего мира в украинской церкви было крайне необходимо, чтобы те, кто жили идеей своей собственной церковной культуры, кто искал церковного выражения украинского гения, — чтобы они не питали революционных церковных течений, но образовали умеренную группу, могущую ослабить и смягчить крайности разбушевавшейся стихии, часто одержимой ожесточением, как реакцией после предыдущего режима. Для него было бы необходимо дать серьезное и реальное удовлетворение запросам такой группы, которую еще нужно было создать.

Выход я видел один: снова и здесь выйти за пределы своей компетенции, как Министра Исповеданий, и взять на себя инициативу по созданию указанного органа. Я хорошо понимал, что переходил за пределы моей компетенции, выступал уже как церковный деятель, а не как представитель власти. Но я сознавал и то, что моя первая задача, как Министра Исповеданий, заключалась во внесении мира в церковную жизнь, — путем удовлетворения действительных нужд всех церковных групп. Мне кажется, что ничто не создало такого доверия ко мне со стороны украинских кругов, как смелый — с точки зрения церковно-государственных отношений — шаг по созданию Ученого Комитета при Министерстве. Украинские круги убедились не только в том, что я действительно и реально хочу послужить интересам украинской церковной жизни, а не только формально отделаться исполнением разных лежавших на мне обязанностей. Но гораздо больше, чем окрепшее доверие ко мне, на них действовало сознание, что учреждением Ученого Комитета при Министерстве Исповеданий положена была серьезная основа для того, что было самым заветным и дорогим для многочисленной украинской интеллигенции (вообще говоря — гораздо более религиозной и церковной, чем общерусская интеллигенция) — для развития и выявления в церковной жизни всего то[го] своеобразия, какое имел в [себе] украинский гений.

Ученый Комитет был задуман и осуществлен в начале Июня — Совет Министров без возражений дал мне средства на это. Во главе Ученого Комитета я поставил проф. П. П. Кудрявцева — хотя и великоросса по рождению, но любившего и понимавшего Украину, а главное — понимавшего и светлое и темное в украинской церковности и знавшего границы национальной стихии в церковной жизни. Туда вошли членами несколько профессоров Духовной Академии (Рыбинский, Мухин, Мищенко, Экземплярский), проф. Университета по кафедре славяноведения А. М.

Лукьяненко, а также бывший проф. Богословия в Киевском Университете — о. П. Светлов. Ученый Комитет получил задание содействовать выявлению и выражению всех тех церковно ценных сторон в украинской церковной жизни, какие заслуживали закрепления, он должен был заняться подготовкой, а по мере готовности — осуществлением переводов на украинский язык Священного Писания и богослужебных книг, собирая все издания этого рода, быть экспертом по всем вопросам украинской церковной жизни. Ученый Комитет не имел специальной задачи заниматься “украинизацией” Церкви, но он был серьезным фактором ее, имеющим целью столько же охранить церковную жизнь от всякой отсебятины и самодельщины, сколько и от превращения огромной и творческой задачи, поставленной на очередь перед украинской церковью, в чисто формальное задание.

Я считаю своей заслугой создание такого органа и думаю, что когда придет снова пора творческого и свободного построения украинской церковной культуры — такой компетентный и серьезный орган снова должен быть призван к жизни.

Но вот пришла пора сказать и об открытии Украинского Собора. Вся подготовительная работа по созыву бывших членов Собора и по избрании их там, где раньше они не были избраны, лежала на особой комиссии, которая работала в контакте с сп. Никодимом. Митр. Антоний, как было указано выше, находился тоже в Киеве.

“Русская партия” решила принять деятельное участие в Соборе — таковым вообще стало настроение русских за два месяца существования гетманского режима. Все больше у русских укреплялась надежда на то, что гетманская Украина станет исходным пунктом общерусского освобождения — и это смягчало отношение к национальному украинскому движению. С другой стороны, крайние украинские течения ни в чем себя не проявляли — большинство из деятелей служили в второстепенных или внеполитических должностях в том же гетманском режиме — поэтому для русской церковной группы во главе с еп. Никодимом не было уже оснований или мотивов бойкотировать Собор. Митр. Антоний, все еще не признанный Правительством как Киевский митрополит, склонялся к мирной политике и, конечно, влиял в этом смысле на еп. Никодима и его группу. А вместе с тем вопрос об утверждении митр. Антония Киевским митрополитом был поставлен — как я добивался этого — силой вещей на решение Украинского Собора, тем более было у русской группы мотивов идти на Собор.

Я уже упоминал, что деньги были даны Правительством в достаточном размере, чтобы оплатить и проезд и суточные для членов Собора — при тогдашних обстоятельствах это представляло немаловажную статью. Уже накануне открытия Собора собрались все члены, настал наконец и день открытия Собора. Комиссия Министерства, обсуждавшая с еп. Никодимом все детали открытия Собора, установила порядок открытия очень торжественный. Утром 2 Июля было архиерейское богослужение в Софийском Соборе, — служили все епископы, во главе с митр. Антонием и митр. Платоном, который прибыл на Собор (он был уже митрополитом Одесским). Несколько министров прибыло в начале литургии, большинство прибыло к самому концу. К концу же прибыл и Гетман со свитой своей. Перед молебном вышел на проповедь митр. Антоний, который в очень витиеватой речи говорил о Малороссии и ее особенной преданности вере Православной, о ее борьбе за веру, — затем он перешел к настоящему времени и очень возвышенно говорил о том, что снова как раз в Киеве начинается восстановление нормальной жизни. В речи митр. Антония не было никаких неприятных политических выпадов — чего от него можно было ожидать — она была лишь слишком напыщенна и приподнята. На молебне было провозглашено многолетие “Гетману всей Украины” и его правительству.

Этот церковный “парад” прошел очень благолепно и красиво, оставив у всех хорошее впечатление. Собор Софиевский был переполнен членами Украинского Собора и молящимися, — в первый раз за 2 месяца “правитель” Украины, Гетман, без охраны, а только со свитой, посетил древнюю святыню Украины и России — Софиевский Собор. В тот же день в 3 ч. дня состоялось в здании Религиозно-Просветительного Общества (на Б. Житомирской ул.) открытие заседаний Собора, — я на нем не присутствовал, как это и было предусмотрено в выработанном раньше порядке: мне предстояло выступать на другой день на утреннем заседании.

К назначенному часу на другой день я присехал в здание Религиозно-Просветительного Общества — меня уже ждали, весь многочисленный Собор (около 400 человек) собрался. Когда я вышел, все неожиданно поднялись — и это, конечно, крайне смутило меня. Я постарался быстро пройти к центральному столу, где заседал президиум во главе с митр. Антонием, принял от него благословение, поклонился всем архиереям и сел в стороне, за президиумом. Через минуту митр. Антоний громко произнес: “предоставляется

слово Министру Исповеданий“. Я вышел на кафедру при всеобщей тишине и каком-то напряжении...

Я начал с того (я говорил по-русски, так как по-украински лишь понимал, но говорить не мог), что от имени Правительства и от себя лично приветствовал Собор, призванный к столь важной и ответственной работе, и пожелал Собору плодотворной работы, — а затем перешел к определению тех задач, разрешения которых Правительство ждет от Собора. Я указал на то, что Православная Церковь после падения прежней общерусской власти попала совсем в новые условия своего существования — она ныне свободна, вернувшись к соборному управлению, но отношения Церкви к государству не могут не оставаться самыми тесными и близкими. Православная Церковь, перестав быть в новых условиях господствующей, как была раньше, остается первенствующей — и, при всем уважении ко всем религиозным общинам, здоровая государственная власть всегда будет особенно близко принимать к сердцу интересы Православной Церкви — особенно в такой переходный период, какой переживает Церковь сейчас. Правительство Украины считает своим долгом всячески содействовать развитию здоровой и свободной жизни Православной Церкви — и в этой своей заботе оно совсем не стремится к разрыву церковной жизни на Украине с властью Патриарха в Москве. Задача настоящего момента не может быть выражена в терминах автокефалии — но тем серьезнее и ответственнее задачи, связанные с установлением церковной автономии. И политическая жизнь Украины с новой властью в ней, стремящейся к обеспечению здорового национального развития, требует организации церковной власти на Украине, — и трудность и невозможность видеть в Москве единственную церковную власть — все это настоятельно требует установления церковной автономии. И единственный, чисто церковный путь к установлению этой автономии заключается в том, чтобы сама Церковь через работу Собора установила принципы автономии, которые затем должны получить санкцию правительства. Я счастлив, сказал я, что Украинский Собор, представляющий свободный голос Церкви в свободной ныне стране, наконец мог собраться — и хотя лето, конечно, не является временем благоприятным для работы и летняя сессия неизбежно будет короткой, — но все же необходимо создать временные формы церковного управления с тем, чтобы позже выработать окончательные формы автономии. Правительство не хочет ничего навязывать Собору, почитая в нем голос Церкви, но я должен прямо и определенно заявить, что для Правительства его

существенной задачей в отношении к Церкви является всемерное содействие к тому, что национальный дух, народный гений Украины, за всю историю отдавший столько любви и силы Православию, вновь нашел возможность проявить себя в церковной жизни. Не защищая церковного национализма, ничего не навязывая Собору, Правительство вместе с тем почитает своим долгом особым вниманием окружить все те течения, которые ставят своей задачей вывить дух народа в церковной жизни. В Церкви нет места революции, но в Церкви есть жизнь, — и, храня свободу для всех течений в церковной жизни, мы должны приветствовать развитие национального гения в церковной жизни. Но при одном условии — церковного мира. Различие национальных и иных группировок не должно переходить границ мира — лишь мирное сотрудничество отвечает достоинству Церкви. С особенной силой хотел бы я подчеркнуть именно эту творческую и созидательную работу Церкви, в которой так нуждается и власть, и народ. Сам Собор одним фактом своего существования знаменует уже начало мира, — и от всей души я должен пожелать Собору укрепления этого состояния мира. Свобода соборной работы не будет ни в чем нарушена Правительством, но Правительство ждет поддержки от Собора, ждет, что Собор окажется активным и творческим фактором в жизни Украины. Если же на Соборе возобладают разногласия, если дело Украины не встретит церковной поддержки со стороны Собора, Правительство, блюдя свободу церковной жизни, не допустит все же угнетения национального течения в Церкви, веря, что именно в Православии национальное начало осваивается и благословляется.

Правительство ждет от Собора в эту короткую летнюю сессию установления временных правил для церковной автономии, рассчитывая, что в осенней сессии у Собора будет достаточно времени для выработки более прочных форм жизни. Оно ждет уяснения главных церковных нужд и разрешения неотложных вопросов церковной жизни.

А теперь, сказал я, я должен обратиться к последнему вопросу, разрешения которого Правительство тоже ждет от настоящей сессии Собора — вопросу о выборе Киевского митрополита. В этой части речи я подробно рассказал Собору все стадии в данном вопросе (они изложены в настоящей книге ранее) и добавил: Правительство не позволило себе входить в оценку личности митр. Антония и не видит с своей стороны никаких препятствий к тому, чтобы митр. Антоний занимал кафедру Киевского митрополита, но оно считало и считает, что выборы Киевского митрополита не

могут быть делом одной Киевской епархии, оно не может допустить умаления законных прав Украинского Собора и потому видит в митр. Антонии донине Харьковского, а не Киевского митрополита. Ныне, когда собрался Украинский Собор, именно та инстанция, права которой охраняло Правительство во всем этом тяжком и ненужном споре, оно передает весь вопрос о Киевском митрополите в руки Собора и ждет его решения, к которому оно, конечно, присоединится. Ничего личного в той позиции, которую заняло Правительство с самого начала в данном вопросе, никогда не было. Поэтому, передавая все дело на решение данной сессии Украинского Собора, Правительство почитает свою роль конченной — его задача заключалась лишь в том, чтобы передать вопрос о Киевском митрополите на разрешение надлежащей инстанции. Теперь Правительство будет ждать Вашего решения в данном вопросе.

На этом я кончил свою речь и сошел с кафедры. Меня сразу окружили со всех сторон, — митр. Антоний объявил перерыв, — и я почувствовал из ряда реплик, обращений ко мне, что мной и Собором установилась связь, что недоразумения рассеялись и моя “политика” не только получила одобрение, но и одержала моральную “победу” над крайними русскими течениями. В сущности, Собор был видом “народного представительства”, — конечно, связанного лишь с одной сферой жизни, а все же это был свободный голос “народа”. Я чувствовал глубокое внутреннее удовлетворение и, попрощавшись с владыками, удалился, а около 5 ч. вечера я получил письмо от митр. Антония, извещавшего меня о том, что голосование Собора почти единогласно признало митр. Антония Киевским митрополитом. Извещая меня об этом, митр. Антоний прибавил, что он надеется, что отныне все недоразумения с Правительством будут кончены и что наши отношения с ним примут другой характер. Я ответил митр. Антонию поздравлением, а вечером доложил в Совете Министров о решении Украинского Собора и подчеркнул, что задача, поставленная мне — охрана прав Украинского Собора в деле выборов первосвященителя Украинской Церкви, решена, что теперь отношения между властью и Церковью, при наличии Собора, будут уже лишены всех тех трудностей, которые до сих пор тормозили нормальное развитие церковной жизни. Министры поздравили меня с успехом — и весь этот эпизод канул в вечность, как мне казалось...

## Глава V.

### Церковные дела до моего отъезда в отпуск (конец Августа 1918 г.).

Я все же хочу и эту главу посвятить изложению разных церковных дел, которые имели место вслед за открытием Собора. Естественной гранью в моем рассказе явится отъезд в отпуск (я уехал в Крым на 3 недели) — который многими считался означающим мою отставку. По возвращении моем из отпуска (20/IX) церковные дела — в связи с подвигавшейся отставкой всего кабинета (19/X) — приняли другой характер. После настоящей главы, заканчивающей характеристику первого периода в моей деятельности как Министра Исповеданий, я обращаюсь к изложению и обрисовке тех общих дел, с которыми мне приходилось соприкасаться как члену Правительства.

После того, как Собор открылся, я уже не посещал его, — кроме того раза, когда Гетман посетил Собор — и это вызывало некоторое недовольство в соборных кругах. Но я делал это совершенно сознательно — моя задача, как Министра Исповеданий, заключалась в том, чтобы сломать сопротивление Собору со стороны антиукраинской церковной группы, дать возможность Собору начать свою работу — и на этом моя ответственность кончалась. Я хорошо знал, что состав Собора (отчасти сложившийся при поспешных выборах, организованных церковной радой в Декабре 1917, отчасти пополнившийся новыми членами, избранными уже в Июне 1918 г.) был довольно бесцветным, я хорошо знал и состав епископата — и особых надежд на “творчество” Собора в данном составе у меня не было. Но я и тогда — как и ныне — был горячим сторонником соборного управления, верил как и ныне верю — что сама по себе соборная форма церковного управления заключает в себе целительные силы, несомненно вызывает наружу церковные творческие силы. Для меня было ясно и другое: и тогда (как и ныне) я не верил в “самостийную” Украинскую державу, но признавал — как признаю и ныне — что Украина должна быть “автономной” областью (я не касался вопроса о том, понимать ли эту автономию в точном смысле этого понятия, как его употребляет государственное право или же расширять его до смысла федеративного соединения со всей Россией — только конечно не конфедеративного, что уже означало бы достаточную “самостийность”). Для церковной жизни на Украине я считал ненужной и даже — чем больше сживался с церковной жизнью на Украине — тем больше считал вредной — автокефалию, но



тем серьезнее и настоятельнее стоял я за церковную автономию, т. е. *поместное церковное управление* (а, конечно, не единоличное управление главой Украинской Церкви, как того хотели епископы и сам митр. Антоний, вообще стоявший твердо за соборное управление — но для всей России, а не отдельных автономных ее областей). Поэтому я считал главным делом своим как Министра Исповеданий, своей главной заслугой *утверждение соборного начала при церковной автономии*. То, что начала революционная церковная рада (зимняя сессия Украинского Собора), что получило, можно сказать, условное благословение Патриарха, вынужденного его дать в интересах смягчения церковных страстей. Летняя сессия не имела (да по существу в нем и не нуждалась) нового благословения Патриарха, но на ней почил дух мира — украинская и русская церковные партии — обе искали в Соборе проявления своих сил, боролись одна с другой на Соборе. То, что при следующем за мной министре Лотоцком насильственно была провозглашена автокефалия украинской Церкви, было чисто революционным актом, шедшим уже сверху, *было подделкой и фальсификацией* соборного действия — русская группа удалась из Собора и не участвовала в нем. Я считаю своей заслугой, что на летней сессии Собора была явлена его свободная, церковно благотворная и умиротворяющая форма. Как я стоял за украинскую церковную группу, когда русская группа во главе с епископами хотела раздавить идею Украинского Собора — так я стал бы против украинской группы, если бы она — как это было при Лотоцком — стала производить насилия над русской группой. Именно здесь вырисовывалась для меня творческая, хотя и смелая, роль Министра Исповеданий: я не мог так чисто формально относиться к факту соборности (как это, на мой взгляд, проявилось в полной пассивности у Карташева, как Всероссийского Министра Исповеданий) и склоняться перед всеми его колебаниями, куда бы они ни заводили, как не мог себе позволить и того насилия над собором, той фальсификации, которую проводил Лотоцкий, следуя директивам воскресшей революционной церковной рады (во главе с о. Липковским, очень скоро избранным в митрополиты автокефальной Украинской Церкви), а также — увы — действиям еп. Никодима. Я не хотел лишать себя инициативы, но не хотел и насиловать Собора — мой путь заключался в том, чтобы содействовать проявлению живых церковных сил и если они не могли вложиться в рамки данной соборности — дать им место вне ее. Прав ли я был *по существу* (формально я, конечно, был не

прав), мне трудно судить — но я глубоко уверен, что всякий честный церковный деятель не мог бы *уклониться* от своей инициативы, как не мог бы и фальсифицировать соборных установлений. В сущности, я шел *путем творческого дуализма*, развивая в Министерстве (рядом с Собором) творческую работу, которая должна была бы входить в жизнь, конечно, не насильственно. Это есть новый путь — и я глубоко убежден, что он нужен будет и в будущей России. Собор 1917-1918 г. в Москве был благословенным творческим собором — в этом была особая милость Божия к русской Церкви, уже вступавшей на путь испытаний и мучений. Но если представить себе ныне Всероссийский Собор — после того, как по провокации злых сил церковная жизнь разбилась на такую массу отдельных, часто несоединимых церковных групп — то ни линия Лотоцкого, насилующего Собор (каков бы ни был состав Собора, его нельзя “душить”), ни линия Карташева, формально отходящего в сторону, раз действует Собор, не кажутся мне правильными. Такого самоупразднения Министра Исповедания не одобряет ни история Церкви (а в новых условиях — т. е. не самодержавия — к Министру Исповеданий во многом перешли функции царя в Церкви), ни здоровый церковный смысл. Для меня все это было ясно тогда, когда я был Министром, как ясно и ныне: я был представителем власти светской в церковной стихии, и должен был действительно “не без ума меч носить”. И что я избрал, что я фактически сделал? *Рядом с Собором* я стремился стимулировать церковное творчество, церковную мысль, окружив себя рядом творческих церковных умов — я служил Церкви, пользуясь всеми возможностями власти, ничего однако ей не навязывая. И если в ряде вопросов я оказался в ближайшее время в жестокой схватке с митр. Антонием, то положение было в действительности таково: я защищал положения Всероссийского Церковного Собора против реакционных устремлений митр. Антония и примыкавшей к нему группы. Вся рискованность моей позиции заключалась в том, что я не стал на формальную точку зрения “свободы Церкви”, что *перед лицом внутри-церковной борьбы* я не только стремился дать возможность легального проявления враждующих церковных течений в обстановке церковного мира и в интересах его (это относится к взаимоотношениям русской и украинской церковной группы), но я в этой борьбе активной становился на сторону той, которая казалась мне выражающей верные, истинно церковные нужды (это относится к уставу Дух <овной> Академии, к дальнейшей борьбе с митр. Анто-

нием, описываемой дальше в этой же главе). В том, что я *выбрал* сам, где было больше правды, проявлялось уже мое личное вмешательство? Конечно да — и в этом вся рискованность моей позиции (которая тем отлична от позиции Лотоцкого, что я не фальсифицировал соборных решений, не изгонял чужой мне группы — утверждение чуждого мне по духу митр. Антония (о моих новых личных отношениях с м. Антонием уже в эмиграции, неожиданно завершивших драматическую борьбу с ним, я упомяну в “эпilogue”) — есть лучший пример моей лояльности — не давил на церковное мнение: я действовал лишь как *отдельный член Церкви*, пользуясь средствами и возможностями власти, но *никогда* не прибегая к насилию, к фальсификации, к подкупам и т. д.). Я глубоко уверен, что в переходные эпохи иначе действовать (т. е. как Карташев) значит просто умыть руки — и если бы Господь меня поставил быть Министром Исповеданий в будущей свободной России — я прежде всего всячески стремился бы вызвать к жизни Собор, обеспечивая, насколько, конечно, это отвечает церковному уставу — каждому течению право участия (что не относится, конечно, к отпавшим от Церкви живоцерковникам, обновленцам и даже митр. Евлогию, — подлежащим, прежде всего, церковному суду), — а в то же время собрал бы и в Министерстве лучшие (с моей точки зрения) церковные силы для активной разработки и пропаганды здоровых идей.

Я потому пишу все это, что мне хочется уяснить ту “шаткую” (а по-моему — творческую, ибо свободную от всякого насилия) позицию, которую как-будто занял я в вопросе об отношении светской власти к Церкви. Я уверен, что всякий, кто умеет *властвовать*, но кто в то же время понимает церковность, не может превратиться ни в слугу одного церковного течения, ни в насильника Церкви, а должен, предоставляя свободу соборному управлению, “не без ума меч носить”, проявлять инициативу и творческое вмешательство в жизнь Церкви. Притом на обе стороны — т. е. не только в отношении к церковной власти, но и к светской. См. дальше о борьбе моей в Совете Министров за церковную шк <олу>. Это не есть ни фашизм, ни цезарепапизм... и если бы на Украине была бы нормальная жизнь не 7 1/2 месяцев, а 7 лет, если бы я оставался Министром Исповеданий это время, я уверен — да простится мне эта самоуверенность — что я был бы оправдан самой жизнью.

Для читателя, надеюсь, ясна теперь моя позиция в отношении к Собору. Я просил Товарища Министра, К. К.

Мировича, постоянно или самому присутствовать на Соборе или заменять себя кем-либо, следил за работами Собора, а сам был лишь один еще раз, когда, по моей инициативе, Гетман посетил Собор. Гетман приготовил специальную речь — конечно, составленную в тонах “незалежной” (независимой) Украинской державы, проникнутую сильным националистическим настроением — этого ему нельзя было избежать — но вместе с тем очень корректную в отношении внутренних церковных отношений и в этой части очень благожелательную к Церкви (накануне этого Гетман обсудил свою речь со мной в общих чертах). Я приехал за 10 минут до приезда Гетмана, зашел в зал заседания, которое все было в каком-то напряженном состоянии и, поздоровавшись с митр. Антонием и другими епископами, вышел в вестибюль встретить Гетмана.

Когда он приехал и вошел в зал — для него было приготовлено слева от президиума кресло на возвышении — не то трон, не то простое кресло (эта “двусмысленность” — гетманщина не то выборная монархия, не то республика — в церковных кругах русских решалась всегда в сторону монархии). Митрополит Платон *по-русски* (он не говорил по-украински) обратился к Гетману от имени Собора с чрезвычайно торжественной речью — в стиле того льстивого и напыщенного красноречия, в каком составляли приветствия в эпоху самодержавия. Митр. Платон говорил о радости, с какой Церковь встретила восстановление нормальной жизни на Украине, о том, что она видит в этом начало воскресения и восстановления и всей России, что для Церкви чрезвычайно дорого (теперь и епископы высказывали это!...) благожелательное отношение к Церкви Гетмана и его правительства. Говорил митр. Платон долго, пускаясь в исторические и библейские справки, говорил о силе и глубине привязанности к Православию на Украине и призывал Божье благословение на Гетмана и его сподвижников. Гетман отвечал *по-украински, читая* составленную заранее речь, в которой приветствовал Собор, высказывал пожелание плодотворной работы, выражал надежду, что Собор не только будет работать в мире и спокойствии, но явится умиротворяющей силой и во всей украинской земле. Говорил о новом периоде в жизни Украины, перед которой ныне открывается дорога самостоятельной жизни — в мире с соседями, но и в развитии прежде всего своих национальных даров. Говорил о необходимости установить управление Церковью, разрешить назревшие нужды церковные и просил помощи и содействия в трудном деле государственного строительства. Затем Гетман, пожелав еще раз собранию

плодотворной работы, простился с митрополитами и уехал. Вместе с ним покинул собрание и я...

Собор работал около 2 1/2 недели — а затем прекратил свою деятельность в виду того, что летнее время не позволяло оставаться приехавшим из деревни в Киеве. Работы Собора остались незаконченными, даже не был принят собором проект церковной автономии, в общих чертах уже подготовленный комиссией — так что я не мог со своей стороны установить отношение свое и всего Правительства к проекту. Был выбран однако временный синод во главе с митр. Антонием и на него возложен был созыв Собора в Ноябре м <есяце> на осеннюю сессию.

Не могу сказать с полной уверенностью, но мне кажется, что в епископате все время двоилось отношение к Собору. С одной стороны, в виду невозможности второй сессии для Всероссийского Церковного Собора, он не мог не ценить небольшого поместного собора, продолжавшего начатую уже линию собирания церковных сил и укрепления начал соборного управления. Хотя и областной, хотя и занятый совсем местными делами, украинский собор все же был каноническим и полномочным (хотя и ограниченным своей областью), а главное — свободным церковным органом. Я определенно ощущал у некоторых епископов действительную радость, что на Украине, параллельно с ее политическим освобождением, знаменовавшим, казалось, грядущее освобождение всей России, сразу же стал действовать и церковный собор. Но в то же время епископов тревожила и самая национальная окраска собора и еще больше тревожило сознание *серьезности и реальности национального начала*. Как вспомогательная сила, единственно могшая собрать народ против большевизма, им была дорога и радостна эта национальная стихия — но дальше переходного периода они вовсе не хотели ее развития — и страх, и даже отвращение, во всяком случае — отталкивание от украинства, *настоящее антиукраинство* жили очень глубоко в их думах...

Эта двойственность отношения епископата к задачам и заботам Собора имела, конечно, решающее значение, так как епископат был руководящей группой и имел достаточно сильную, умелую право-настроенную группу на Соборе. Определив собраться в начале Ноября, собор закончил летнюю сессию. Русская группа была вполне довольна ею, украинская группа заняла выжидательную позицию. Конечно, более радикальные церковные украинские элементы (во главе с о. Липковским) бурлили, чувствовали себя в оппозиции, но, как и политическая левая интеллигенция, не

видели еще впереди какой-либо точки для кристаллизации своих пожеланий; они “накопляли силы” и все больше стремились опереться на линию Министерства Исповеданий. Им импонировала моя “победа” в вопросе о митр. Антонии, хотя они и считали меня слишком склонным к “мирным” путям; то, что Чеховский (впоследствии премьер при Директории Петлюры и Винниченко) был у меня Директором Департамента и оставался у меня — тоже шло на пользу моей репутации в украинских кругах. Уже в Июле мои “украинские фонды” — как это стало ясно из дальнейших событий (особенно при формировании Лизогубом второго Министерства в Октябре 1918 г.) — стояли очень высоко, гораздо выше, чем фонды подлинного украинца Н. П. Василенко. В свою очередь, это имело совсем обратное действие на русские церковные круги — и краткое “перемирие” и даже склонность к союзу со мной уже к концу Июля быстро исчезли и отношения стали вновь ухудшаться вплоть до открытой войны против меня в Августе.

Через несколько дней после начала Собора митр. Антоний был у меня по небольшому делу (а в дни присутствия Собора епископы каждый день посещали меня по делам своей епархии — часто их бывало 2-3 и больше и было очень неприятно заставлять их ждать в приемной в виду того, что приходилось вести с каждым отдельную беседу). Во время беседы, слишком пустяковой, чтобы ради нее приезжать в усадьбу Софиевского Собора, митр. Антоний с той чрезвычайной любезностью, которую он умеет показать, когда нужно, добродушно и мило улыбаясь, сказал мне, что нам нужно стать ближе друг к другу и работать вместе, и просил меня заехать и переговорить с ним. Я обещал на другой же день быть у него после обеда. Уже позднее мне стало ясно, что у митр. Антония была серьезная надежда работать со мной в полном согласии — к началу Собора в русской группе вновь восторжествовало мнение, которое когда-то обо мне высказывалось именно в этой группе (некий Скрынченко, крайний правый, сотрудник “Киевлянина” лет за 7-8 до революции, характеризовал меня в “Киевлянине” как “священника в сюртуке”), — мнение о моей искренней религиозности и преданности Церкви. От обвинений в униатстве эта группа вернулась к признанию моей преданности Церкви — и, так как обо мне, в силу привычки всегда уступать в мелочах, оставаясь твердым в главном и существенном, сложилось мнение, что я мягкий человек, что украинцы овладели мной, что нужно противопоставить их влиянию более сильное русское влияние — то отсюда видимо и возник план и митр. Антония

сблизиться со мной, подчинить меня своему духовному влиянию, оторвать меня от влияния “левой” русской церковной группы (т. е. моих друзей — профессоров Дух<овной> Академии Кудрявцева, Мищенко, Экземплярского и др.) и украинской группы.

Я поехал к митр. Антонию безо всякого предубеждения, искренно готовый искать с ним близости и сотрудничества, хотя особого доверия он мне не внушал. Однако у меня совершенно не было того отталкивания от него, которое я почти всегда встречал у левых или не крайних правых деятелей. Митр. Антоний необычайно ласково принял меня, был весел, шутил, — наконец мы перешли к вопросу, который его волновал — к вопросу о реформе семинарии. Провал его попыток приостановить утверждение устава Духовной Академии побудил его заранее принять меры к тому, чтобы не допустить утверждения того устава Духовных Семинарий, который был выработан на Всероссийском Церковном Соборе. По-существу дело складывалось и здесь так же, как и в вопросе о высшей духовной школе. Как еп. Никодим обошел (увы, с благословения патриарха!) правила Всер<оссийского> Церк<овного> Соб<ора> о выборах епископа — чтобы обеспечить избрание митр. Антония — как в вопросе об уставе Духовной Академии митр. Антоний, вождь церковной реакции и крайнего правого течения, добивался неутверждения устава, повторявшего то, что было выработано Всер. Церк. Собором, так и в вопросе о духовной семинарии (а позднее — о реформе консистории) митр. Антоний был главой церковных реакционеров, незаметно стремившихся парализовать то, что было сделано на Всер. Соборе. Быстро сообразив, куда гнет митр. Антоний, я сказал ему, что еще не составил своего суждения по вопросу о реформе духовных учебных заведений. Я заявил ему прямо и решительно, что я являюсь защитником *церковных народных школ* и буду настаивать на помощи им, а что касается духовных школ и духовных семинарий, то кроме того проекта, который вырабатывается у меня в Министерстве по данным Всер. Церк. Собора, я другого не знаю, но конечно пришло ему на заключение и постараюсь вникнуть в то, что он защищает. Митр. Антоний стал очень ласково говорить со мной, как говорят с заупрямившимся ребенком, стал говорить о том, как трудно теперь Церкви и как нужно быть осторожным. Я обещал ему соблюдать величайшую осторожность, указал на то, что, финансируя школы, правительство не может вслепую принимать любые проекты и снова просил его высказать определеннее, что он защищает. Митр. Антоний в этот раз ничего определенного

мне не сказал, считая меня, видимо, левым и боясь прямо сказать, что я нахожусь под влиянием левых церковных кругов. У меня в Министерстве отделом средних школ (все дело школьное находилось в заведывании Товарища Министра К. К. Мировича) ведал мой большой друг, преподаватель Киевской Духовной Семинарии А. И. Максаков — образованнейший и деликатнейший человек, чуждый всякого радикализма, но хорошо знавший все темные места в семинариях. Он работал в комиссии на Всер. Церк. Соборе, — и я совершенно доверял ему и в подлинной преданности его интересам Церкви и духовной школы, и в его честности.

Из исканий митр. Антония ничего не вышло. Глядел ли он на меня раньше как на дурачка, которого легко обойти, сам ли почувствовал неестественность той затеи, которую как мне кажется, ему навязали — но уже при втором свидании не чувствовалось прежней подкупающей ласковости ни особых надежд на то, чтобы повлиять на меня. Я по-прежнему просил его поспешить с своими заключениями по вопросу о реформе духовной школы, так как надвигалась осень и нужно было не позже середины Августа провести все школьные проекты, чтобы утвердить необходимые кредиты. Митр. Антоний обещал, но что вышло из его обещания — видно будет дальше.

Я не разделял всех мыслей А. И. Максакова и тех тенденций, которые он представлял в вопросе о реформе средней духовной школы. Сущность проекта заключалась в уравниении добогословских классов семинарии с гимназическим курсом. Идея правового уравниения назрела, конечно, давно, но все же считать тип средней школы (как он был примерно выработан в комиссии гр. Игнатьева) нормальным и сходным — было невозможно по той простой причине, что проекты комиссии гр. Игнатьева страдали отсутствием цельности, наличием различных компромиссов. Я сам склонялся к мысли о создании из семинарии *православной средней школы*, дающей солидное и серьезное религиозное образование (а два специальных класса должны были бы служить завершением богословской подготовки, необходимой для пастырства). А. И. Максаков без особых трудностей шел навстречу моим мыслям и могу без преувеличений сказать, что проект, изготовленный в Министерстве, был удачным в своем замысле. Если бы митр. Антоний вдумался в него, он должен был бы признать его положительное значение для Церкви, — но когда я послал ему этот проект для заключения (а митр. Антоний, как было упомянуто выше, после Собора стоял во главе временного Управления Украинской Церковью), он мне ничего не от-



ветил. Я несколько раз ему напоминал в письмах, но сам к нему не ехал, ожидая ответа — митр. Антоний отделялся под разными предлогами, *просто тянул*. Он очевидно решил, что его намерение “сотрудничать” со мной (т. е. чтобы я всецело шел за ними) не удалось и ему осталось теперь или вступить в открытый бой со мной или же следовать тактике затягивания, а в то же время свалить меня с министерского поста. В это же как раз время начался между нами другой спор — по вопросу о консисториях. Митр. Антоний хотел ввести в действие правила Всер. Церк. Собора, *составленные соответственно положению Церкви при большевиках* — т. е. при отсутствии всякой связи Церкви с государством, при полном разрыве Церкви и государства. Фактически имелось в виду у м. Антония удалить секретаря Киевской консистории, который, со времени возникновения Министерства Исповеданий, был подчиненным мне чиновником. Он был довольно равнодушен к украинству, но слегка играл на нем; не знаю почему, но прежние тесные отношения с епархиальным советом у него испортились, он стал — да и не мог иначе, по ходу дела — ориентироваться на меня, а в окружении митр. Антония было решено воспользоваться частью нового епархиального устава, где, конечно, секретарь епархиального управления подчинялся только епископу, а не светской власти — в виду разрыва Церкви и государства при большевиках. Такое частичное использование постановлений Всер. Церк. Собора, а где нужно — их искажение или игнорирование, было типичной для еп. Никодима манерой, а митр. Антоний всецело ему доверял. Настоящие “бои” между мной и митр. разыгрались несколько позже, но тут же должен заметить, что я поехал к митр. Антонию и заявил категорический протест против такого намеренно *явочного* порядка введения устава об епархиальном управлении. Я называю этот порядок явочным потому, что у нас восстановилась связь Церкви и государства и переход к новому порядку епархиального управления не мог быть *односторонним* актом, т. е. не мог быть принимаем церковной властью без согласия с государственной властью (раз отношения уже не были в духе разрыва). Я заявил митр. Антонию, что если он упразднит своей властью консисторию и введет в действие епархиальный устав, выработанный в Москве, то я должен буду признать, *что он разрывает связь с государством*. Я добавил, что искренно стремлюсь к установлению возможно большей свободы для Церкви, но при условии все же, что все церковные акты получали бы государственное значение, причем соблюдение Церковью требований государства бу-

дет находиться в ведении Министерства Исповеданий. Чиновники Министерства Исповеданий не должны были бы быть непременными членами епархиальных управлений, какими были секретари консисторий, но все церковные акты (метрич <еские> записи, брачные и бракоразводные дела), имеющие значение гражданское, должны проходить через чиновников Министерства Исповеданий. Иначе говоря — или государство считает себя тесно связанным с церковью и признает за церковными актами гражданскую силу — и для этого необходима связь Церкви с властью на местах (скажем в губернском центре) — или этой связи нет (из чего исходил Всер. Церк. Собор) и тогда церковные акты не связаны с гражданскими. Поэтому если митр. Антоний хочет, не дожидаясь даже Собора, перейти к положению Церкви, отделенной от государства, — то я должен буду сделать из этого соответственные выводы. Я не отрицал вовсе в этой беседе возможности такого *сговора* (но с *обеих* сторон и притом авторитетно представленных, т. е. имея на стороне Церкви Собор, а не единоличную власть первоиерарха) в любых тонах, но такого частичного и явного перехода *одной* стороны к новому порядку я не мог признать. Я видел, что митр. Антонию крайне не понравилась моя точка зрения... После этого свидания мы уже с ним не видались до неожиданной (см. ниже) встречи у самого митр. Антония перед моим отъездом в Крым.

Вопрос об уставе средней духовной школы начинал становиться острым. Кончился Июль, — и я по опыту знал, как трудно проводить законопроекты в Совете Министров — в виду массы вопросов, обременявших его. Между прочим, крайняя усталость, вызванная напряженной и нервной работой в течение всего лета, настолько давала себя знать, что передо мной встал вопрос об отпуске. Бросить чтение лекций в Университете я ни за что бы не согласился, поэтому нужно было во что бы то ни стало к концу Августа уехать на 3-4 недели в Крым. Я говорил Гетману, что если он хочет, чтобы я работал дальше в качестве министра, он должен согласиться на мой отпуск. По разным причинам — об них буду говорить дальше, когда буду рассказывать об общей работе власти, об общем положении — Гетман не соглашался, но я категорически заявил ему, что, если он не может дать мне отпуска, тогда я должен подать в отставку. Гетман уступил, вопрос о моем отъезде был решен — и мне во что бы то ни стало нужно было добиться до своего отъезда утверждения положения о духовных школах — начиная с церковно-приходских и кон-

чая духовными семинариями — и на основании этого провести новые штаты.

Несмотря на мои напоминания, от митр. Антония не поступало отзыва и тогда я, посоветовавшись с К. К. Мирвичем, горячо принимавшим к сердцу судьбы духовной школы, решил действовать без митр. Антония. Я снова нарушал — как и в вопросе о Дух. Академии — нормальные границы для светской власти — но что было делать с упорством митр. Антония, не желавшего уступать мне и решившегося путем оттяжки выиграть “битву”? После некоторых колебаний я внес в Совет Министров выработанные проекты и штаты. В своей церковной совести я был спокоен, — как не жалею и теперь о том, что я сделал. *Положение не было нормальным — ни в гражданской, ни в церковной сфере:* мы проходили тяжкую пору временного возврата к нормальной жизни и восстановления всех бед, нанесенных большевизмом — и в то же время в пору ломки старых уже отживших форм жизни. Церковь впервые выходила на простор свободного самоустроения — и та группа епископов, которая фактически была на Украине во главе с митр. Антонием — все еще была пронизана старым архиерейским деспотизмом. То, что в их устах называлось “свободой Церкви” означало фактически свободу епископата, который не хотел считаться с иным церковным мнением, чем он сам имел. Как член Церкви, как преданный сын ее, я очень глубоко ощущал это неуважение епископов к церковному народу — и у меня лишь росло сознание, что на своем месте я должен сделать все, чтобы дать церковному телу жить полной жизнью. Я не впадал в грех самодержавия, потому что вовсе не проводил своего личного мнения, самым серьезным образом считался с голосом Церкви — и больше всего с тем, что успел сказать Всероссийский Церковный Собор. Совесть моя, как члена Церкви, не дрогнула, когда я, убедившись в крайней и, бесспорно, вредной для Церкви реакционности украинского епископата, истощив все средства к мирному совместному решению неотложных дел, так же настойчиво стал добиваться их назревшего решения, как раньше твердо и настойчиво добивался возобновления работ украинского Собора и правильной постановки вопроса об киевской митрополичьей кафедре.

Любопытно отметить, как проходил школьный проект в Совете Министров. К наиболее ответственной части — к тому, что приходилось проводить закон по материалам Всерос. Церк. Собора без заключения саботировавшего митр. Антония — Совет Министров отнесся очень просто, без

особых разговоров став на мою сторону, — но зато бой разгорелся по пункту, в котором я был совершенно одинакового мнения с митр. Антонием — по вопросу о церковно-приходских школах. В русских либеральных кругах была традиция ругать это детище Победоносцева и поскольку самый замысел Победоносцева, искажившего замечательные и глубокие идеи Рачинского о церковной школе, имели в виду чисто *политические* задачи, постольку позиция русских либеральных кругов была оправданна и законна. Но русская либеральная интеллигенция, бывшая в огромном своем большинстве западной, шла по той же линии секуляризованной культуры, по какой развивалась вся история Западной Европы. Для всякого религиозно мыслящего православного человека не могло быть колебаний в отвержении этой стороны Запада — и для меня, в частности, проблема оцерковления школы (та самая идея, развитию и осуществлению которой была посвящена вся моя работа за границей как в Христ<ианском> Студ<енческом> Движении, так и в области чистой педагогики) была очень существенной и дорогой задачей. Поэтому я, даже недостаточно еще зная тогда, насколько огульны и несправедливы были нападки на церковную школу вообще, — все еще твердо стоял за то, чтобы сохранить и улучшить систему церковных народных школ. Конечно, на моей стороне в данном вопросе было и все духовенство. Но в Совете Министров не было, кроме меня, да чуть-чуть Лизогуба, — ни одного верующего человека, — неудивительно, что при прохождении школьного проекта начались горячие прения по вопросу о сохранении церковных школ. Обстоятельно, к сожалению, в высшей степени банально напал на идею церковной школы Василенко — и лишь С. М. Гутник (еврей!), естественно молчавший во время прений моих с Н. П. Василенко, уже после окончания заседания сказал мне, что, выслушав нашу дискуссию, он склоняется в мою сторону. Я добился в Совете Министров решения, благоприятного для церковной школы, — но не потому, что мои аргументы убедили министров, а по полнейшему, конечно, *равнодушию* их к вопросу религиозному и нежеланию мешать мне, ответственному в правительстве за судьбы духовной школы, в моей работе. Василенко же, конечно, не мог не заявить о своем принципиальном несогласии со мною.

Я упоминаю об этом эпизоде только для того, чтобы обрисовать, как трудно мне было при проведении основной линии моей по вопросу о реформе духовной школы. Я не мог колебаться — при наличии всех указанных условий — в твердом отстаивании выработанного проекта, ибо

если бы я “уступил” митр. Антонию, то это не только было бы простой слабостью с моей стороны, а не мудростью, но это привело бы неизбежно к тому, что не только весь устав, все положение духовной школы осталось бы прежним, но оно *ухудшилось* бы по той простой причине, что уже не было никакого церковного центра, заведующего духовными школами (какой раньше был при Св. Синоде и был — я уверен — и при Патриархии) и все школы подпадали не под автономное управление церковью на Украине (ибо его еще не было), а под единоличное управление митр. Антония, от капризов и упрямства которого меня умоляли спасти духовную школу... Немаловажным обстоятельством являлась необходимость пересмотреть штаты духовной школы (что и было сделано). Конечно, можно было бы пересмотреть штаты, не касаясь общего вопроса о церковной школе, но что это было не так, это видно хотя бы из того, что рассказано выше о низшей церковно-приходской школе. Правительство, давая деньги на содержание школы, вправе интересоваться строем этой школы — и это было именно моим долгом проявить в этом пункте достаточно внимания к введению назревших перемен в строе духовной школы. Забыть или просто игнорировать хорошо мне известные ужасающие дефекты прежней духовной школы неужели мог я? Забыть и самодержавие наших епископов — не церковное, а по существу гражданское — в “ведомстве православного исповедания” — как мог я, зная хорошо недавние нравы наши? Та очень скромная (по существу) реформа, которая была намечена в уставе, предложенном мною Совету Министров для утверждения, не была изобретена мной, а была взята из работ Всер<оссийского> Церк<овного> Собора — и только происки реакционного окружения митр. Антония привели к тому положению, что устав, намеченный комиссией при Всер<оссийском> Церк<овном> Соборе, пришлось защищать и проводить представителю светской власти против первоиерарха Украинской Церкви! Когда впоследствии меня обвиняли в том, что я проводил устав духовной школы без согласия митр. Антония, то забывали, что позиция митр. Антония была направлена против позиций Всер<оссийского> Церк<овного> Собора! Если я формально преступил границы, в которых должна была протекать моя работа в Церкви и для Церкви, то по совести скажу, что вина в этом лежит не на мне, а на митр. Антонии, который хотел свое частное мнение во что бы то ни стало провести наперекор тому, что было решено и обсуждено на Всер<оссийском> Церк<овном> Соборе.

С утверждением устава и штатов средней и низшей ду-

ховной школы вышел один забавный эпизод, о котором стоит здесь рассказать. Я должен был уехать в Крым в отпуск 13/26 Августа. Это было известно в Министерстве — а следовательно было известно и митрополиту Антонию. И вот он задумал (уж не знаю — сам или ему подсказали это) пригласить к себе в Лавру на обед весь Совет Министров *в мое отсутствие* — как будет ясно из дальнейшего, это было частью того плана, который составился тогда в окружении митр. Антония о том, как удалить меня с поста Министра Исповеданий. Я уверен, что митр. Антоний не стал бы, конечно, во время обеда вести разные филиппики против меня, но ему было важно “приласкать”, просто психологически привлечь к себе Совет Министров. Но обстоятельства повернулись так, что устав о средней школе не был утвержден 12/VIII — как я рассчитывал; мне нельзя было уехать, не добившись его утверждения, и я мог уехать в отпуск только 17/30 Авг<уста>. Между тем официальные приглашения, просившие прибыть в Лавру к обеду 16/29 Авг<уста>, были разосланы всюду, в том числе и ко мне. Меня не ждали, но когда я появился в гостиную у митр. Антония, он был крайне неприятно изумлен — и хотя через минуту овладел собой и постарался со мной быть сугубо любезным, все же я хорошо заметил, что его планы были разрушены моим появлением.

От дел школьных обращусь к другим сторонам моей деятельности до отъезда в отпуск. Я уже упоминал о создании Ученого Комитета, который работал, я должен отметить это, очень интенсивно и плодотворно. Привлечение серьезных научных сил и действительное увлечение их поставленной им задачей сказалось очень благоприятно на работе Ученого Комитета, который подошел вплотную к собиранию материалов по переводам на украинский язык богослужебных книг. Очень много было сделано уже в летние месяцы — и с осени должна была бы развернуться вся эта работа в большем объеме, если бы она не оборвалась благодаря перемене курса у моего преемника...

Еще в первые недели моего вступления в управление Министерством Исповедания мной был выделен особый департамент по инославию. Вскоре в Киеве появился один из прежних высших чиновников Мин<истерства> Внутр<енних> Дел по ведомству инославных исповеданий г. Тарановский. Тогда, т. е. с начала уже гетманщины, на Украину постоянно приезжали из Москвы и Петербурга все те, кому не хотелось оставаться при большевиках. Этот наплыв прежних чиновников, общественных и государственных деятелей, ученых, адвокатов и военных принял огром-

ные размеры уже в Июне м<есяце>. Многих под разными предлогами *выписывали* на Украину, и мне приходилось не раз под видом “казенной надобности” выписывать тех или иных деятелей с Севера (так напр. выписывало мое Министерство известного богослова Н. Н. Глубоковского, который готов был уже двинуться к нам на юг, как новое приглашение из Упсалы побудило его отправиться в Швецию). Но многие двигались на юг “самотеком” — в том числе и помянутый мной Тарановский, которого я назначил Директором Департамента Иносл<авных> Исповеданий. Это был опытный, знающий и очень корректный старый чиновник, легко и быстро приспособившийся к условиям работы на Украине. Вскоре представился случай воспользоваться его услугами. В первых числах Июня через австрийского посла (известного Форгача, который был командирован на Украину из Вены) ко мне попала жалоба униатского митр. Щептицкого о преследованиях, которым подвергались униаты в Харьковской губ. Я был крайне изумлен тем, что в Харьковщине объявились какие-то униаты — раньше никогда не приходилось слышать о них. Я послал Тарановского и своего чиновника особых поручений (В. К. Баиова) в Харьков с заданием выяснить, в чем дело. Через неделю мои чиновники вернулись — после добросовестного исследования они не нашли никаких униатов, кроме одного беглого нашего монаха, к которому по недоразумению пристало одно село (он не склонял их в унию, а лишь под “доброто митрополита” Андрея Щептицкого). Когда крестьяне узнали, однако, что их “перевели” в унию, они беспощадно избили монаха, которому пришлось спастись бегством!... В этом и состояло все дело, которое хотели нам представить как преследование униатов, как нарушение свободы вероисповедания... С инославными у меня по-настоящему не было больших дел — лишь с католиками были кое-какие дела. Тут же отмечу любопытный эпизод с т. наз. “имяславцами” — простыми монахами, изгнанными из Афона за особое почитание имени Божьего. В России, в силу определенного постановления Св. Синода, они были изгоями, находились все время в очень тяжком положении. К существу их “учения” я относился с чрезвычайно высокой оценкой — вместе с о. С. Булгаковым и о. Флоренским я имел в виду принятие участия в особом сборнике, посвященном имяславию. Те несколько монахов, которые оказались на Украине, тоже не могли устроиться нигде... Я им помог — но судьбы их дальнейшей не знаю. Но вот что неожиданно разыгралось вокруг их приезда. У украинских церковных деятелей крайнего толка все время была жажда

проявления “украинского гения“ в церковной жизни — и хотя они понимали и ценили всю серьезность и нужность того, что делал для украинской Церкви Ученый Комитет и все мое Министерство, но все же им хотелось иметь что-либо свое, специфическое, что резко отделяло бы Украину от Москвы. И вот когда появились в Киеве имяславцы, один из неугомонных “писателей“ по церковным вопросам (кажется, по фамилии Мизюкевич) — добродушный, но в то же время фанатически преданный идее украинства, любящий Церковь, но очень мало понимавший и в учении Церкви, и в канонах — явился ко мне с вопросом и просьбой. Вопрос заключался в том, нельзя ли найти связь между украинским типом благочестия, типом религиозной жизни и движением имяславия? Как течение чисто мистическое, имяславие будто — так говорил мне М<изюкевич> — особенно близко и дорого украинской душе. То, что оно было объявлено по решению Св. Синода ересью — было особенно ценным, можно сказать — пикантным обстоятельством в глазах М<изюкевича>. И его просьба заключалась в том, чтобы исследовать в Ученом Комитете тему, поднятую им, и если это исследование подтвердит его домысел, поручить найти формы его практического осуществления.

Такие искания какой угодно ценой утвердить начало церковного национализма всецело вытекали из стремления усилить и углубить отличия украинцев от великороссов и не заключали в себе ни одного грана подлинной жизни веры. Конечно, я не мог придавать никакого значения подобным исканиям, как вообще все явление “филетизма“ — т. е. слишком тесного срастания национального и религиозного начала — не могло и не может вызывать никакого сочувствия, хотя и понятно в своих мотивах.

Последний вопрос, с которым пришлось мне иметь дело в это время, был связан с реформой консистории и с вопросом о введении гражданского брака. Несколько строк я уже посвятил этому — более же подробно я освещу этот вопрос в одной из дальнейших глав. Пока же закончу на этом характеристику своей работы по Министерству Исповедания (до моего отъезда в отпуск) и обращусь к общей характеристике политических и иных условий жизни на Украине. Мне представляется наиболее удобным говорить о различных сторонах жизни в связи с деятельностью отдельных министров — поэтому я буду в этих целях переходить от “ведомства к ведомству“. Такая система изложения искусственна, но зато в рамках воспоминаний более удобна.



## Глава VI.

*Общие замечания о гетманщине. Немцы и их роль.*

*Проблема России в разные периоды гетманщины.*

*Переговоры немцев с П. Н. Милюковым.*

Еще не настала пора для надлежащей оценки гетманского периода во всей полноте того, что было тогда сделано, недостаточно еще видно то место, какое должно быть отведено этому периоду в истории России после войны. Как живой участник большей половины в деятельности гетманского правительства я не могу претендовать поэтому на объективность моих оценок. С другой стороны, я до сих пор не утратил еще чувства того непосредственного “заряда”, каким наполнило нас всех, стоящих у власти, время, обстановка, общий поток событий. Гетманское правительство не шло впереди времени, хотя в общем ходе русской истории оно оказалось все же преждевременным и потому неудачным, — но если волны большевизма оказались сильнее и захлестнули Украину, покрыв сплошным, беспросветным покровом всю территорию России, если вообще для возрождения России не пришло тогда (как еще и ныне) время, то самая тема, исторически зазвучавшая в гетманщине, была определена временем. Ей не повезло, обстановка и люди оказались ниже этой темы и в этом смысле она была преждевременной, *но она не была выдуманна*, она не была авантюрой или капризом отдельных людей, а была подсказана временем. И то, что для *темы* гетманщины и ныне не настало еще время, ее не отменяет, а наоборот делает еще более актуальной и острой.

Гетманщина была прежде всего и больше всего опытом *социально-политической реставрации*, опытом внешнего и *внутреннего* преодоления большевизма и возврата к нормальным условиям политической, экономической, гражданской жизни. Правда, опыты (удачные) такой реставрации мы имеем в ликвидации коммунистической вспышки в Германии и Венгрии, но эти опыты остались мало поучительными, *ибо они ничего не взяли из революции*, ликвидировали ее чисто внешне и остались забыты и бесплодны для буржуазного строя Европы. То же, что делалось в период гетманщины, не могло не учитывать огромного сдвига, происшедшего в России после падения старого режима, — это относится и к политической, и экономической, и национальной стороне революции. Я готов утверждать, что опыт социально-политической реставрации, проделанный во время гетманщины, является единственным и в этом

смысле сохраняет свое значение доныне как *введение* в будущую социально-политическую реставрацию в России — когда кончится для нее период большевистского ига.

Конечно, гетманщина была в своем задании именно реставрацией, *возвратом прежде всего к нормальному порядку* в частной и публичной жизни, в морали и психологии, в самочувствии жителей Украины. Тут не было заслуги, это делалось “само собой”, это будет при всякой реставрации, но об этом нельзя не упомянуть при набрасывании картины того, что такое гетманщина. Большевизм в те годы не был еще той упорядоченной системой террора и насилия, во что он превратился очень скоро, в нем было много хаоса, неналаженности, прорех, в нем оставались еще отдушины для свежего воздуха. Однако психологически он переживался в первые годы тяжелее даже, чем ныне, когда он так укрепился и стал чем-то привычным, неизбежным, непреодолимым. В первые годы контраст между нормальным порядком жизни и неслыханной тиранией, не щадившей решительно ничего ни в публичной, ни в частной жизни, открыто и цинически отвергавшей всякую мораль — был так силен и мучителен, так бил по нервам, по всему духовному типу, что от этого контраста порой сходили с ума! Этот психологический момент необходимо учитывать, чтобы понять психологию русского обывателя в первые годы русской революции — и в следующий ее период (после окончания гражданской войны). Русский обыватель был в первое время так замучен и терроризован, что все прежнее, прежняя нормальная жизнь казалась ему сном, чем-то нереальным — сказкой и выдумкой. В дальнейшие годы обыватель *привык* к советским порядкам, огляделся и приспособился, научился про себя думать свою горькую думу и не быть в плену у кошмарной действительности. А тогда казалось, что рухнул не только политический строй, но провалилась вся система жизни и морали, что заколебалась и потрясена самая почва, на которой строится жизнь.

Появление в Киеве немцев в первых числах марта возвращало к нормальной психологии — и это возвращение к былым формам жизни не просто отодвигало кошмар большевистского режима, но открывало простор для протеста и борьбы, для активного сопротивления ему. Пока держалось “социалистическое” правительство Голубовича, еще не могло быть полного расцвета всей этой психологии, но гетманщина, утверждавшая открыто и смело возврат к “буржуазному” порядку, сама была свидетельством и проявлением того, что жизнь возвращается к старым берегам.

Это психологическое действие гетманщины очень важно учесть, чтобы понять тот внутренний перелом, который происходил всюду и давал себя чувствовать в правительстве. Правительство сознавало себя как проявление и силу этого общенародного устремления к здоровью, как орган этого общего подъема. Тут было, конечно, и много иллюзий, ибо волнение в народе и интеллигенции вовсе не улеглось и всюду было еще много горючего материала, что и обнаружилось при возвращении Петлюры. Но наличие этого революционного хмеля не означает, что им было одержимо все население — для “буржуазной реакции” готова была тоже значительная часть населения — особенно в городах.

Но кроме психологического перелома было и объективное содержание в социально-политической реставрации. Восстанавливался нормальный гражданский порядок, нормальные экономические отношения, стала воскресать промышленность, пошли в ход сахарные заводы (чему всячески содействовали, между прочим, немцы), появилась иностранная (конечно, лишь немецкая) валюта. Школы стали работать нормально, а с ними стала воскресать и вся культурная жизнь, художественная, идейная. Была уже достаточная атмосфера свободы, не стеснявшей даже оппозицию режиму. Стали появляться иностранные газеты, книги, стали возможны поездки в Австрию и Германию... Все это вливалось в тот психологический перелом, о котором шла речь выше.

Особо надо сказать о земельной реставрации. За год революции, вернее с осени 1917 г., много помещиков должны были покинуть свои усадьбы, которые большею частью были разграблены (живой и мертвый инвентарь был захвачен крестьянами). По мере продвижения немцев вперед помещики стали возвращаться в свои имения и стали хозяйствовать, в чем чрезвычайно были заинтересованы немцы, для которых особенно было важно получить возможно больше хлеба. У крестьян, у мелких хозяев скупать хлеб было трудно — и восстановление крупных помещичьих хозяйств входило в планы оккупантов. Все это делалось *в военном порядке* — независимо от правительства, на долю которого оставалась задача возможно более быстрого *упорядочения* земельных отношений. Несколько подробнее я скажу об этом позже, здесь же необходимо подчеркнуть, что задача эта была *неизбежной и роковой* в одно и то же время. Оставить деревню, как она была, конечно, было невозможно, нужно было как-нибудь “узаконить” новые отношения: что предпринималось для этого, я расскажу по-

же. Было много разумного в планах правительства, но самая задача была роковой: помещики еще не утратили живой и непосредственной связи с своими имениями и не могли легко помириться с новыми "порядками". С другой стороны, крестьяне уже почувствовали достаточно вкуса к занятой ими земле. Борьба с земельным хаосом была навязана немцами во имя рациональной постановки сельского хозяйства и возможного повышения добычи хлеба — а условия, в которых они застали сельское хозяйство, направляли их *на поддержку помещиков*. Часто при строгой оценке гетманского режима клеймят его за реставрацию земельных дореволюционных отношений и за жестокости в расправе с крестьянами, забывая, что оккупирующие Украину немецкие войска вели эту политику сами, не спрашивая даже правительства, которому приходилось иметь дело с *fait accompli*. Для немцев необходимо было иметь крупных поставщиков и рациональную постановку севооборота, которую они предполагали лишь у помещиков. Отдельные немецкие отряды производили самостоятельно "реставрацию" помещиков и некоторые лейтенанты и поручики проявляли при этом такую жестокость и беспардонность, что могли возбудить только ненависть у крестьян, и без того тяжело переносивших отнятие захваченной ими земли. Именно это обстоятельство было одной из главных причин непрочности гетманского режима... В Совете Министров В. Г. Колокольцов (мин. земледелия) не раз докладывал о безобразиях, творимых немецкими отрядами. Иногда бывали виновны в этом и сами помещики, выколачивавшие у крестьян, разграбивших живой и мертвый инвентарь, свое имущество, *но большей частью они были здесь не при чем*. Это необходимо подчеркнуть во имя исторической справедливости. Губерниальные старосты (т. е. губернаторы) были бессильны в отношении к немецким отрядам, но бессилён был и Совет Министров. Я дальше расскажу как он был вообще беспомощен в своей борьбе с немецким хищничеством, — но в вопросе о "земельной политике" (*sit venia verbo*) немецких офицеров его беспомощность была особенно мучительной и тяжкой.

Не буду сейчас говорить о том, как правительство глядело на задачи своей земельной политики — оставлю это на даль <ней> шее — а сейчас подчеркну, что земельная реставрация имела, конечно, и свои положительные стороны. Из целого ряда мест мы знали от совершенно достоверных свидетелей о том, что возвращение помещика на землю сопровождалось не только упорядоченностью сельского хозяйства, но и вообще подъемом торгово-промыш-

ленной жизни. Особенно благоприятно складывалась ситуация там, где действовали сахарные заводы, которые требовали большой и упорядоченной помощи со стороны сельского хозяйства. Любопытно отметить, что гетманский период (Апрель — Декабрь) провел целиком всю сахарную кампанию.

Экономическая база жизни получила — без особых к тому усилий правительства, а просто в силу восстановления нормальных условий существования — такое вновь здоровое направление и развитие, что если бы гетманщина просуществовала не 8 месяцев, а скажем два года, это экономическое оздоровление явилось бы, я глубоко уверен, надежной и прочной основой и политического освобождения всей России. Ведь Украина — золотое место, истинная житница России — здесь и хлеб, и сахар, и уголь. За месяцы, которые я описываю, уже начинала слагаться та инерция здоровой и сытой жизни, которая накапливает силу для всех иных форм жизни и творчества. Потому и получает особый интерес с политической точки зрения история гетманщины, что она явила некий образец, некий тип воскресшей жизни.

Но содержание гетманщины, конечно, *не исчерпывается социально-политической реставрацией*. Не меньшее (если не большее) значение имела она, как организация и выявление новой социальной силы, выступившей на сцену истории. Конечно, национальное украинское движение получило сильный толчок с первых дней революции, но пока еще происходила ломка старых форм и шли первые, начальные процессы революционного периода, в национальном украинском движении действовала тоже сила революционного брожения, беспорядочность и хаотичность всюду оставляли свою печать. Период же гетманщины был отмечен не одной выдержкой и организованностью в развитии национальной украинской культуры, но он уже был по существу *свободен от излишеств*. Правда, именно эта его сторона и вызвала падение первого кабинета Лизогуба и создание (во главе с тем же Лизогубом) т. наз. национального кабинета. Это является однако свидетельством лишь крайнего неразумия, нереализма вождей украинского общественного мнения. В сущности, ведь это мнение уже к осени разбилось на два течения — революционное (Петлюра, Винниченко, уже затеявшие тогда восстание в союзе с большевиками) и “эволюционное”, искавшее осуществления своих чаяний через вхождение во власть. Возможно, что для среднего течения соц.-федералистов неизбежна была утрировка национальных

требований в виду появления крайнего левого крыла, подготовлявшего восстание. Но это психологическое "извинение" ни в малейшей степени не смягчает трагизма положения, созданного близорукостью и нетерпеливой страстностью националистического течения. По существу — как будет указано ниже подробнее — гетманский период нес украинской культуре такие исключительные благоприятные условия, которые потом уже не повторялись. Скажу больше: все положительное и серьезное, что было сделано вообще для развития украинской культуры после революции, было сделано или задумано и начато в месяцы гетманщины. Украинские националисты в своей нетерпеливой страстности не понимали, что они делали, губя гетманский режим.

Справедливость требует однако одной существенной оговорки: положительное содействие украинскому культурному движению было, — в период первого министерства Лизогуба — *совершенно свободно от всякого руссофобства*. В этой точке перед нами раскрывается одно из важнейших исторических узлов, связывающих поток событий: дело русской революции, как было уже указано во вступительных главах, было существенно связано с разрешением национального вопроса, но задача заключалась в том — возможно ли разрешение национального вопроса *в пределах прежней России* или требует отделения от нее (примеры чего показали Финляндия, Эстония, Латвия, даже Грузия в то время). Украинские национальные деятели, за небольшим исключением, стали на точку зрения сепаратизма. Это было и остается роковым для судеб и России и Украины. Отделение Латвии, Эстонии, Финляндии Россия пережила (пока) без особых трудностей, *но растаться с Украиной она не может* — единство России есть некая историческая сила (накопленная не одной лишь инерцией от прошлого, но питаемая донныне глубокими разнообразными связями с У<краиной>), которая вовсе не сдана [в] архив революции. С другой стороны, неудовлетворенность национальных стремлений была, как уже указывалось выше, одной из движущих сил русской революции. Из этого исторического "противоречия" выход мог бы быть найден лишь в том, чтобы разрешить проблему украинской национальной культуры *в пределах России* — но на этот путь не стала украинская интеллигенция. Здесь лежит ключ к второй существенной причине неустойчивости гетманского режима. Если припомнить, что и донныне (писано в 1931 г., т. е. через 13 лет после описываемых событий) украинская интеллигенция не приобрела трезвости, не

стала реалистичной в основном политическом вопросе Украины (в отношении ее к России), то ясно, что неудача всего политического “дела” гетманщины имела достаточно глубокие корни...

Все же, несмотря на неудачу, гетманщина в зигзагах ее колебаний в вопросе об отношении Украины и России оставила в наследство чрезвычайно богатый и существенный материал, который необходимо расшифровать и осмыслить. Уже один факт трех министерств за краткий период гетманщины заключает в себе очень существенную идею. Первое министерство (с начала Мая по 19 Октября) было попыткой синтеза украинского и русского начала; второе министерство (существовавшее около месяца) была резко выраженной реакцией украинского национализма, а третье было противоположной крайностью. Гербель (премьер-министр третьего министерства) начал с манифеста Гетмана, торжественно объявлявшего федерацию с Россией... Уже эти колебания хорошо показывают в своей диалектике всю нерасторжимость русско-украинского единства, — и подтверждают правильность того курса в национальном вопросе, который был принят в первом министерстве Лизогуба...

Политическая острота и значительность вопроса об отношении России и Украины хорошо сознавалась немцами, которые в этом вопросе однако не были едины. Дипломатическая группа во главе с бар. фон Муммом, состоявшим дипломатическим советником при военном командовании, разделяла “план Рорбаха”, построенный на включении Украины в систему немецкого владычества (план “срединной Европы”, непрерывно идущей к Азии — от Германии через Австрию, славянские государства и включающей Польшу, Украину и Румынию). Наоборот, военная группа (во главе с Гренером, тогда не стоявшим за самостоятельность Украины во что бы то ни стало) стремилась к союзу Германии и России (в ее целостности). Поэтому военная группа стояла за то, чтобы, сделав Украину *ried a tegge*, сбросить большевиков в Москве и, снискав таким образом симпатии русского общества, вернуться к завету Бисмарка о необходимости неизбежной немецко-русской дружбы. Наличие борьбы этих двух течений в высших немецких кругах была достаточно известна нам — и она с полной ясностью вскрывала то основное значение, какое принадлежало вопросу об отношении к России в политической перспективе, открывавшейся перед Украиной. Гетманщина вся стояла на перепутье по нерешенности этого основного вопроса, и если кто понимал положение и приближался к правильному решению во-

проса, то это были русские группы — и, думаю, только группа к-д. Более левые группировки лишь подходили впервые к труднейшей в политике проблеме национального вопроса в многоплеменном государстве, а правые группы усиленно играли на украинстве, не скрывая того, что это их временная позиция, которую они при первом удобном случае бросят. В украинских же группах трезвое и здоровое отношение к русско-украинской проблеме встречалось лишь в той интеллигенции, которая раньше политически себя связывала с русскими партиями (самым ярким представителем такого украинского течения был Н. П. Василенко. Что касается известного ученого — Богдана Кистяковского, то о его, более близкой к крайнему национализму позиции, я буду иметь случай рассказать значительно позже). Хотел бы для справедливости указать, однако, на одно наблюдение, которое уже в те годы сформировалось у меня: перед лицом русско-украинской проблемы более неподготовленными и упрямо неподвижными оказывались (и, по-моему, доньше оказываются) не украинцы, а русские. Нетрудно понять, в чем дело. Для украинцев важно отстоять свое национальное бытие, но они все в глубине души понимают, что без России им не обойтись — именно это сознание определяет их гнев на Россию, их даже ненависть. Невозможность обойтись без России столь ясна им, уязвленность самолюбия, из этого проистекающая, так велика, что они не могут спокойно отнестись к России, обнажая в своем беспокойстве признание нерасторжимости связи с Россией. Наоборот, для огромного числа русских, даже привыкших политически мыслить, большею частью не существует украинской проблемы — в лучшем случае, они считают ее очень маленькой, провинциальной, не придают серьезного значения. “Централизм” сливается незаметно с незамечанием или презрительным равнодушием и в такой политической психологии русских украинцы, хорошо это чувствующие, видят яркое выражение того, что Россия их задавит, даже если внешне она предоставит Украине свободу культурного самоопределения...

Гетманщина была, в свете этого, первым — знаменательным и очень существенным историческим введением в постановку русско-украинской проблемы, значение которого совершенно невозможно преувеличить. Это была не постановка вопроса (ибо гетманщина существовала слишком короткий срок, чтобы быть уже постановкой этого вопроса), а именно введением в постановку. Я считаю также чрезвычайно знаменательным и то, что здесь приплеклись немцы. Их участие, их заинтересованность в судьбах Укра-



ины не закончились с гетманщиной, — этот “роман” длится в наши дни, и недаром одним из основателей и серьезных покровителей недавно основанного в Берлине “Украинского Научного Института” является тот самый ген. Гренер (ныне бессменный министр рейхсвера), который был начальником штаба в немецком оккупационном отряде на Украине. Русско-украинская проблема, будучи очень сложной и трудной внутрирусской проблемой, имеет вообще свой международный аспект (на чем, между прочим, основана игра различных украинских деятелей — из которых одни ориентируются на Польшу и Францию, другие на Германию, а иные даже на Англию; есть также особая ориентация на папу...). Это [надо] иметь в виду при обсуждении русско-украинской проблемы... Но, конечно, особо близкое отношение к русско-украинскому вопросу имели давно (имеют и ныне) немцы — и наличие двух течений у них (первое за “единую Россию”, второе за самостоятельную Украину) всегда служило причиной более четкой кристаллизации соответственных течений в русских и украинских кругах...

Украинские деятели антигетманского уклада также “забегали” к немцам, также рассчитывали на них, как и Гетман со своим правительством. *Полной честности не было ни у кого*, все стояли на позиции условных соглашений, у всех был элемент дипломатической игры и коварства. Особую роль среди немцев играл близкий к имп. Вильгельму II гр. Альвенслебен (его иерархического положения в немецком командном составе не помню), который вел какую-то свою (мне неизвестную) линию. Его близость к высшим немецким кругам облекала все его беседы особой значительностью, — а та смелая и широкая постановка вопросов, которая имела место у него, импонировала всем чрезвычайно. Гр. Альвенслебен принадлежал к военной партии, хотел восстановления союза Германии с Россией (единой и целой) и на самостоятельность Украины глядел как на эпизод войны — полезный и необходимый, но преходящий. Говорю это не на основании своих личных бесед, которых у меня с ним не было, а лишь на основании того, что доходило до меня из вторых и третьих рук. Особенно важны были беседы гр. А<львенслебена> с П. Н. Милюковым, который летом 1918 г. жил в Киеве. В это лето я очень сблизился с П. Н. на наших заседаниях кадет-министров и не раз заезжал к нему советоваться насчет разных вопросов вне этих заседаний. Но П. Н. и недостаточно меня знал, и, вероятно, недостаточно доверял — потому что он никогда ни одним словом не обмол-

вился со мной об этих беседах с гр. Альвенслебеном. Знаю, однако, из вторых рук, что беседы касались вопроса о восстановлении немцами России, т. е. о военной ликвидации большевиков — и разговоры вращались вокруг вопроса о границах России, о судьбе создававшихся в это время при участии немцев *Randstaaten* (Польша, Латвия, Литва, Эстония). Хотя, по-видимому, Альвенслебен не имел прямых полномочий, но, судя по всему, его беседы с Милюковым не были пустой болтовней, не были даже политической игрой, а были настоящей работой по подготовке русско-немецкого сближения на основе ликвидации большевизма. Какое отражение имели все эти беседы в Правительстве Украины, ставившем тоже вопрос об освобождении России от большевиков путем создания корпуса “особого назначения”, концентрировавшегося в Черниговской губ., — я расскажу позже. Но “германофильство” того времени у Милюкова тоже не было игрой; как реальный политик, он искал всех путей освобождения России и выяснял военно-политические условия этого на основе союза с немцами. Дальнейшие годы показали, что наши прежние союзники серьезно не ставили себе задачи военной ликвидации большевизма, превратившие в несерьезную игру свою помощь добровольческим армиям. И кто знает — если бы планы об освобождении России от большевизма с помощью немецких солдат были бы осуществлены — кто знает, от каких потрясений была бы освобождена не только Россия, но и вся Европа, весь мир?

Не знаю мотивов, руководивших Милюковым в его переговорах в гр. Альвенслебен <ом> — была ли то просто дипломатическая игра “на всякий случай”, было ли здесь уже налицо разочарование в союзниках, был ли просто реальный подход к вопросу о борьбе с большевиками, — но несомненно, что сам Милюков в то время серьезно увлекался своими переговорами с гр. А <львенслебеном>. Они кончились вничью — из-за расхождений по вопросу о границах будущей России (немцы отстаивали существование созданных ими *Randstaaten*) — но даже если бы предварительное соглашение и состоялось, осуществление плана встретило бы самые серьезные трения в самой же немецкой среде. Немцы не были едины в этом вопросе — и как не раз впоследствии, они сразу играли в несколько игр, ни одной до конца не выигрывая.

Оценить значение немцев в диалектике периода, о котором идет речь, нелегко как раз в силу многосложности “немецкого фронта”. В другом плане, намечавшемся тогда с ведома немцев, — в плане создания “корпуса особого на-

значения“, имевшего в виду двинуться на Москву и концентрировавшегося постепенно в Черниговской губ., двойственность немецкой политики сказалась тоже с полной силой. С одной стороны, военные немецкие круги сочувствовали созданию ударного корпуса, сочувствовали самому плану освобождения Москвы Украиной, что политически ставило бы Украину в отношении к будущей России в очень выгодное положение, а с другой стороны, они превращали в простую игру все заботы и начинания военного министра (ген. Рагозы). Ген. Рагоза ставил своей первой целью собрать возможно в большем числе кадровое офицерство, поддержать его материально и тем обеспечить самую трудную и ответственную часть в лелеемом им плане. Офицерство стекалось со всех сторон, заносилось в списки, получало жалование, военные запасы — насколько могли они уцелеть от грабежа сначала большевиков, а потом немцев — скоплялись в главных пунктах, но живой силы армии не было — немцы не соглашались на то, чтобы объявить мобилизацию одного или нескольких призывных возрастов. Переговоры об этом возобновлялись несколько раз — и не приводили ни к чему; решающим (!) аргументом была боязнь внутренней большевизации солдатского состава. В виду необходимости иметь воинские части, были переправлены из Австрии т. наз. “синежупанники“ — украинско-галицийские части, достаточно вымуштрованные, но чужие краю и очень скоро, при перевороте, слившиеся с “сичевыми стрельцами“ Коновальца, наступавшего на Гетмана в Дек <абре> м <есяце>. Понятно поэтому, что, когда вспыхнула революция в Германии и немецкие войска стали уходить из Украины — гетманский режим оказался без всякой опоры. Вся двойственность и предательская политика немцев обнаружилась в этом эпизоде с полной силой. По-существу они пришли с одной лишь совершенно ясной и определенной целью — для эксплуатации Украины. Ориентация на великую Россию (военная партия) или на отделение Украины (дипломатическая партия) была дополнительным и во многом безответственным, несерьезным моментом. Никто среди немцев не думал серьезно о том, чтобы помочь Украине стать на свои ноги...

Я лично имел с немцами мало контакта. Для них мое министерство было слишком незначительным, мое влияние в украинских общественных кругах было очень ограничено — и им нечего было искать у меня. Запомнились мне лишь несколько бесед и встреч, о которых здесь скажу лишь ради полноты. Больше всех оставил во мне впечатление ген. Гренер, бывший начальником штаба всего оккупа-

ционного корпуса. Это был еще молодой и свежий генерал, сразу оставивший самое приятное впечатление своим спокойным и умным лицом, особой рассудительной манерой — и вместе с тем за его спокойствием чувствовалась настоящая сила, подлинная твердость. Наши разговоры были слишком неинтересны, чтобы их передать, но всякий раз при встрече я ощущал любезную приветливость Гренера. С Эйхгорном, управлявшим оккупационным корпусом, я не успел познакомиться. Уже был назначен по взаимному соглашению вечер, когда я должен был ужинать у Эйхгорна, но за дня два до назначенного срока его убили. Это убийство, наделавшее тогда очень много шума, было несомненно делом левых с-р. Помню торжественные похороны Эйхгорна, на которых присутствовали все министры: тело Эйхгорна было отвезено в Германию. Приблизительно в те же дни — вернее, дней за 5-8 до этого — были другие торжественные похороны — хоронили маленькую дочку Гетмана. Почему-то было жутко и на одних, и на других похоронах — и злая воля человека, и темные злые силы природы заключали союз разрушения. Пожалуй, все тогда было жутко и страшно, но смерть маленькой чудной девочки, общей любимицы, и старца, спокойного и немного даже дряхлого — как-то особенно жутко выступали на общем фоне... Новый начальник оккупационного корпуса ген. фон Кирхбах знакомился с нами очень просто — он звал нас поочередно на ужины. Воспоминания о том июльском вечере, когда я вместе с Гербелем был среди немцев, принадлежит к числу наименее приятных. Но у меня тут был интересный разговор с моим соседом — советником посольства, довольно заметным дипломатом, имя которого я, к несчастью, вспомнить не могу. Под конец вечера, когда мой сосед несомненно охмелел, он стал разговаривать со мной довольно откровенно относительно России и большевиков. Моя определенная точка зрения на то, что подавление большевизма является самой существенной задачей момента, ему не нравилась, он всячески хотел показать, что в большевизме надо видеть и творческую силу, а не только разрушительную... Немец не договаривал, но уже тогда было ясно, как твердо в сознании немецких дипломатов утвердилась точка зрения, что большевизм “выгоден” для немецкой политики...

Раз я заговорил о дипломатах, скажу несколько слов об известном (до войны) австрийском дипломате гр. Форгаче, которого я видел два раза. Австрийцы все время — по крайней мере, в Киеве — находились на втором месте, не имели почти никакого влияния на основные переговоры,

которые велись с Гетманом и Лизогубом. Зоной их влияния был юг, пограничная полоса (русско-австр<ийская>) и Холмщина. Как раз по поводу Холмщины и пришлось мне видеться с Форгачем. Одно время имя его было известно широко, но к войне политическая звезда закатилась и он попал на весьма второстепенный пост — будучи “посланником” при Гетмане. Держался он надменно и величественно, оставляя впечатление большого аристократа и важного деятеля. Умен он был очень, и беседы, которые я имел с ним специально о Холмщине (австрийцы сильно притесняли там православных), хотя и касались чисто деловых вопросов, оставляли во мне очень хорошее впечатление — именно тем, что сразу чувствовалось, что имеешь дело с умным человеком. Несравнимо глупее, самодовольнее и ограниченнее был нем<ецкий> посланник — толстый, хитрый и грубый немец. Беседа с ним не оставляла никакого доброго впечатления; это был тип грубого немца, знающего хорошо свою задачу и ничего не щадящего на пути к ее осуществлению. Кроме того молодого дипломата, о котором я упоминал выше, в составе посольства Германии не было ни одного значительного лица — и, конечно, гр. Альвенслебен головой был выше их всех...

## Глава VII.

### “Политика“ в Совете Министров (вопросы внешней и внутренней политики).

После общей характеристики гетманщины мне прежде всего хочется рассказать о том, как ставилась и решалась *политическая* проблема в правительстве. По-существу это был самый важный и основной вопрос для правительства: родившись по милости немецкого оружия, вызванная к жизни немецкими планами о расчленении России, гетманская Украина должна ли была идти по этой *чужой* указке или перед ней открывался собственный путь развития? По-существу план “незалежной Украины“ имел некоторые корни и в украинском политическом сознании — и для тех “сепаратистов“, которые в таком изобилии выступили на сцену, когда обозначилась явная неспособность Временного Правительства владеть положением, — этот развал России создавал, конечно, благоприятнейшие условия для осуществления самых пылких надежд. России не было налицо; большевистское засилье вело к такому понижению национального сознания в России, что скорее можно было рассчитывать на сочувствие русских в борьбе с большевизмом. Идея “независимости“ от России силою вещей превращалась в идею независимости от большевиков — чему сочувствовали сами русские, бывшие на Украине. Правда, при этом ясно имелось в виду, что дело идет о *временной* независимости, т. е. до уничтожения большевизма. Но то, что однажды могло бы возникнуть, могло бы остаться и дальше... Можно поэтому без преувеличения сказать, что никогда в истории Украины — после, конечно, Богдана Хмельницкого — история не была так благоприятна для украинских мечтателей, для развития идеи об Украине как самостоятельном государстве. Этим следует объяснить тот сразу непонятный факт, что ко времени большевизма не осталось *ни одной* украинской политической группировки, которая не ставила бы вопроса о “незалежности“ Украины. Были отдельные лица — и то большей частью связанные лично с русскими кругами, — которые противились этим мечтам, но их голоса все равно не было слышно. В украинских политических кругах идея независимости пустила столь глубокие корни, что и сейчас, несмотря на все тяжкие уроки, какие им преподнесла история, они живут все той же идеей независимой или, в крайнем случае, полузависимой Украины.

То, что Германия и Австрия, державшиеся — до конца войны — очень сильно, официально стали на точку зрения

“независимости“, было в первое время тоже очень благоприятным для идеи “независимости“ обстоятельством. Конечно, когда к осени обозначилось с полной ясностью то, что победа склоняется на сторону антинемецкой группы держав, близость к Германии и Австрии оказывалась компрометирующим обстоятельством и ставила вопрос о новой политической ориентации. Тут обнаружилась в диалектике политической мысли у украинцев необыкновенно любопытная, исторически роковая черта, свидетельствующая об отсутствии настоящего политического мышления в украинских кругах. Надвигавшийся провал немцев, необходимость искать новой ориентации с самого начала и до конца — говорю не только о гетманском периоде, но и о дальнейших годах — приводили к двум положениям: 1) во что бы то ни стало, всякими средствами вести антирусскую политику, 2) искать для этого любого покровительства — какое окажется более реализуемым, более выгодным. Нечего удивляться, что с того времени появились многообразные ориентации — начиная с поляков и кончая Францией и Англией (не исключая и Германии). Была ориентация, как я упоминал, даже на римского папу и католические группы в любых странах. В поисках покровительства вопрос, естественно, ставился о том, — не только кому? но что? “продать“. Огромные естественные богатства Украины давали достаточно данных для того, чтобы выдвигать один или другой проект. Быть может, самое удивительное в такой “политике“ было не то, что украинские деятели всячески искали, кому выгоднее “продать“ Украину, а то, что различные правительства вели и до сих пор ведут разговоры и переговоры с украинскими деятелями. Польша, Чехия, одно время Румыния, Германия, Франция и даже (одно время) Англия субсидируют донныне украинские организации, кое-где до сих пор признают украинские паспорта, время от времени обсуждают те или иные оккупационные проекты. Конечно, позиция правительств может быть понята как и стремление найти хоть где-нибудь точку опоры для реальной борьбы с большевизмом *внутри самой России*. Но некоторые государства (Германия в первую очередь, по-видимому Чехия, несомненно Польша) серьезно держатся за то, чтобы при восстановлении России Украина была бы, если не совсем независимой, то возможно более самостоятельной. Для украинских политических деятелей эта позиция разных держав являлась и является бесценным кладом, которым они цинично пользуются до сих пор, но, разумеется, вся эта ядовитая и двусмысленная система политического патронажа разлагала и разлагает серьезную политическую

работу, изнутри делает почти невозможной ту глубокую и серьезную консолидацию политической мысли, без которой немислима никакая длительная политическая борьба. Развращающее влияние самого искания политического патронажа, убивая серьезную мысль и какое-либо серьезное дело, создает однако благоприятные условия для пышного развития политического возбуждения, зачастую принимающего формы истерии. Так течет донныне в политической украинской эмиграции этот процесс; здорового исторического смысла, реализма так мало прибавилось за все эти годы (о некоторых исключениях, имеющих для нас интерес в настоящем изложении, я упомяну еще), что это убедительно говорит об отсутствии каких-либо серьезных политических сил в украинском обществе. Я вовсе не хочу этим *снять* проблему политики в общей проблеме Украины, хорошо сознаю всю сложность “украинского вопроса” и в заключительной главе своих мемуаров выскажу несколько своих соображений об этом; мои замечания имеют в виду лишь обрисовать ту общую перспективу, в какой ставилась и ставится политическая проблема на Украине... Обрисовав ее, мы можем обратиться к тому, как ставилась фактически политическая проблема на Украине.

Министром иностранных дел в мое время был Д. И. Дорошенко. Я уже говорил о нем несколько слов; сейчас дам портрет более детальный. Будучи филологом по своему образованию, Дорошенко всегда обнаруживал большую склонность к научным занятиям в области истории. Прекрасная осведомленность в различных исторических вопросах (однако лишь насколько это касается Украины), очень большая начитанность, хорошая память, дар ясного и легкого изложения делают Дорошенко одним из достойнейших представителей современной украинской науки. Будучи горячим украинским патриотом, Дорошенко всегда склонялся легко к тем или иным компромиссам, если они настоятельно требовались жизнью (см. выше об образовании Лизогубом, вернее, Н. П. Василенко министерства). У Дорошенко есть редкий среди украинской интеллигенции реализм, умение видеть факты, умение честно и правдиво считаться с ними. Но Дорошенко всегда не хватало одного — серьезного политического образования, хотя бы слабой подготовки к дипломатической работе. Его политическое чутье — несмотря на природный реализм — всегда оставалось очень слабым, умение политически мыслить было прямо ничтожно. Он был — да и остается — политически не интеллигентным, без каких-либо данных для большой дипломатической карьеры. Его политическая тактика



всецело определялась реальными силами, с которыми ему приходилось считаться, овладеть политической ситуацией, видеть немного вперед он никогда не умел. Когда он стал министром, он взглянул на свою задачу очень упрощенно и схематично, взял себе в консультанты моего бывшего коллегу проф. О. О. Эйхельмана, бессменно вообще консультировавшего при разных украинских правительствах. Эйхельман был хорошим профессором международного права, но никогда дипломатом фактически не был, — и если чем мог помочь Дорошенко, то разве всякого рода справками насчет тех или иных “прецедентов”. Будучи услужливым по природе, а здесь вдобавок еще особенно услужливым вследствие запуганности, Эйхельман естественно стремился всячески преувеличивать значение “державности” Украины. Судьба сделала Эйхельмана человеком “чего изволите” — и на все претенциозные мечты украинцев он естественно отвечал так, что был *plus royaliste que le roi*. При таком помощнике о торжестве политического реализма в планах и действиях Дорошенко не могло быть и речи. Главная забота Дорошенко уходила в раздувание внешних сторон своего ведомства, — он стремился во что бы то ни стало поскорее завести “послов” украинской державы при иностранных “дворах”. Первым “иностранным двором” оказалась Москва — с которой все время шла война; по настоянию немцев в Киеве была создана русско-украинская комиссия для выработки мирного договора — и “чрезвычайным послом” от Москвы был сам Раковский — умный, хитрый и умелый деятель, вошедший скоро в связь со всеми большевистскими элементами в Киеве; со стороны Украины “чрезвычайным послом” был Шелухин, совершенно поглупевший со времени создания украинской державы. Это была прямо комическая фигура, нестерпимо шаржировавшая (но *bona fide*) свою роль “чрезвычайного посла”. Другие выборы Дорошенко были более удачны. В Германию послом был назначен всеми уважаемый, достойнейший и тактичный человек — бар <он> Ф. Р. Штейнгель, в Вену — один из умнейших людей в украинской интеллигенции — Липинский. Не помню сейчас, кто был назначен в Болгарию, помню только интересную фигуру болгарского посла при украинской державе — проф. Шишманова, женатого на дочери Драгоманова. Шишманов был очень умный и интересный человек, — но должность его по-существу была пустой и бессодержательной... Вот и все те “внешние сношения”, на организацию которых Дорошенко тратил свои силы. За развитием дипломатической жизни в Европе он совершенно не

следил — даже тогда, когда уже стал совершенно ясно обозначаться поворот военного счастья на сторону Антанты. Единственно, что он мог думать при этом — это был все тот же вопрос о “делегации” во Францию и Англию — но пока немцы сидели на Украине этого все равно нельзя было делать. Была еще одна “держава”, с которой тоже завязались “дипломатические сношения” — это “всевеликое войско Донское”, с которым Украина вошла в некоторый союз. Со стороны Донского атамана (кажется, им был тогда Каледин) было, конечно, умно войти в правильные сношения с гетманским правительством, потому что продвижение немцев к Дону, имевшее целью как бы установить новые границы Украины, нависало очень тяжелой грозой над Донской областью. Со стороны Донского войска к нам приезжал ген. Черячукин, которого очень парадно принимал Гетман; не помню, кто был послан с нашей стороны на Дон.

Юмористическая нотка неизбежно входит в мое изложение деятельности Д. И. Дорошенко. У него, конечно, не было политического дарования или даже умения политически мыслить. Я не уверен, мог ли бы кто-нибудь другой сделать что-либо положительное на его месте, но я совершенно уверен, что более подходящий к его посту человек мог бы во всяком случае лучше разбираться во всей обстановке. Единственным пунктом, в котором Дорошенко ясно разбирался, был увы — вопрос о русско-украинских отношениях. Его отношение здесь было ясно совершенно, вопрос ставился им совершенно трезво и ясно, — и тем более, для меня напр<имер>, все это было трагично. Для Дорошенко Россия (или Московия) была просто чужим государством, с которым недобрая судьба приказала пребывать в соседстве; вся русско-украинская проблема заключалась для Дорошенко (по крайней мере тогда) в том как отгородиться от России. Большевизм тогда любили на Украине отождествлять с Россией, горделиво указывая, что на Украине большевизм невозможен и может быть введен лишь насильственно “москалями”. Дорошенко стремился максимально блюсти “вежливость” к ненавистному соседу, весь его пафос заключался в игнорировании факта глубокой исторической связности России и Украины, в утверждении особых путей Украины. О том, что с ненавистным соседом Украине — если ее независимость устоит — придется вечно жить вместе, что совпадение церковных, культурных, экономических интересов ставит очень остро и настойчиво вопрос о взаимоотношении Украины с Россией, — об этом наш украинский Бисмарк, конечно, не помышлял. Уже в более поздний период, в дни наших встреч в Праге, у До-

рошенко наметился некоторый поворот — думаю, под влиянием Липинского, развивавшего идею глубокого единства — *на почве Православия* (а сам Липинский был католик!) — Великой, Малой и Белой Руси. Липинский защищал идею трех русских монархий и единого Московского патриархата, признавая этим, что Москва должна остаться центром общерусского объединения, но лишь на почве церковной, а не политической... Мне кажется, что под влиянием Липинского Дорошенко изменил (в Пражский период) свои взгляды на отношения к России, — но когда он был министром, он психологически был совершенно далек от самого вопроса о русско-украинских отношениях. Если бы у него была какая угодно — хитрая, злая, — но продуманная система, как строить русско-украинские отношения, — его можно было бы осуждать, оспаривать, но нельзя было бы не уважать как политически мыслящего человека. Но легкомысленно пребывать вне серьезнейшей и *основной политической* проблемы Украины, сводить русско-украинскую проблему к “установлению границ”, глядеть всеми глазами на Запад (и притом только ближний — т. е. австро-немецкий), а не на Восток — это значило проявлять тот опасный нереализм, то “мечтательное” направление ума, при котором нечего и говорить о серьезном строительстве “независимой” Украины.

А между тем в составе украинского правительства — главным образом я имею в виду ген. Рагозу — все время развивалось течение, которое по-существу было направлено к России. Я уже упоминал о плане концентрации войск в Черниговской губ. для создания “корпуса особого назначения”. Идея этого корпуса, как было уже упомянуто, была связана с планом борьбы с большевиками — *не для установления новых границ Украины*, а для освобождения России от большевиков. Для тех, кто задумывался над политической проблемой Украины, было ясно, что единственная серьезная политическая база для возможно более *выгодного объединения* с Россией (ибо это объединение, конечно, политически абсолютно неустранимо) заключалось бы в том, что Украина, стала центром освободительного движения в России и тем самым добилась бы глубокого и исторически действенного перелома в русской психологии. Если бы освобождение России от большевизма пошло бы из Украины, и Киев, а не Москва, стал бы на некоторое время центром собирания России. Именно в этих тонах рисовались взаимоотношения между Украиной и Россией даже в московских кругах, во всяком случае, в части русской политической интеллигенции. Какая огромная перемена в русской поли-

тической психологии произошла бы — если бы Украина действительно поставила перед собой не свою сепаратную украинскую, а *общерусскую задачу!* Часть правительства с большей или меньшей глубиной жила этой идеей — во всяком случае, это относится к нашей небольшой группе министров к. д.. Перед Украиной жизнь раскрывала действительно новую политическую перспективу, но при условии включения себя в общерусскую перспективу, в общую русскую проблему... Мы увидим дальше, как в последний период гетманщины была на это поставлена ставка — увы, совершенно неудачно, — не только потому, что уже было в разных отношениях поздно, но и потому, что была она поставлена неправильно... Необходимо было понять, что ставка на единение с Россией, провозглашенная Гетманом в третий период его “царствования”, все время зрела в сознании правительства, все время жила в разных кругах. Она была бессильной идеей, но она впервые давала правильную перспективу для понимания политической проблемы Украины — и то, что Дорошенко, призванный к тому, чтобы осмыслить эту политическую проблему Украины, был так далек по-существу не только от постановки, но даже от понимания ее — лучше всего освещает всю трагичность положения...

Мне пришлось все время следить за европейской жизнью — как только появление немцев дало нам возможность иметь немецкие газеты. Читая только две, но зато важнейшие немецкие газеты — *Berliner Tageblatt* и *Vossische Zeitung* — я скоро стал определенно интересоваться политическими вопросами. Сквозь немецкую цензуру невольно просвечивала картина европейской жизни вообще — и особенно ценны для понимания последней были швейцарские газеты, тоже у нас появившиеся. Политические вопросы стали привлекать меня все больше и больше — и я не раз пробовал говорить о них с Дорошенко, как в отдельных беседах, так и при общем обсуждении политических вопросов в заседаниях Правительства. Иногда это казалось — как мне прямо говорили — нападками лично на Дорошенко, в действительности же дело шло совсем не о нем: я сам для себя впервые отчетливо и ответственно сознавал политическую проблему Украины, сознавал, что центральной точкой в этой проблеме является русско-украинский вопрос, а вместе с тем все больше начинал чувствовать всю международную обстановку, начинал разбираться в ней. Конечно, я наверное был при этом наивен, ошупью находя то, что при известной подготовке открывалось бы мне “само собой”, но у меня все время было чувство, что никто в Правительстве

не думает о том, что меня волновало, что все заняты разными специальными или частными задачами, а о самом главном и основном никто и не помышляет. Отсюда моя постоянная настороженность к вопросам внешней политики, сердившая Дорошенко, — ибо, естественно, с ним у меня как раз и происходили стычки. Его легкомыслие, беззаботность, его непонимание положения чрезвычайно сердили меня, и это, конечно, сказывалось в моих речах...

От вопросов внешней политики естественнее всего перейти мне к внутренней политике в нашем Министерстве. Обычно под "внутренней политикой" разумеют нечто совсем чуждое политике как таковой, имея в виду те меры по охране порядка, по борьбе с разными неурядицами жизни, которые возлагаются на Министерство Внутренних Дел. Но у нас, в Правительстве Гетмана, к этим обычным делам Мин. Внутр. Дел присоединялись дела настоящей политики — связанные с проблемой большевизма и крайних националистических течений *внутри* Украины. Обе эти силы и погубили впоследствии гетманский режим, разрушили все то положительное, что создавалось за месяцы буржуазной власти... Естественно, что эти два вопроса стали кардинальными вопросами внутренней политики, что вокруг них и разгорелась настоящая борьба.

Сначала Министром Внутренних Дел был сам Лизогуб. При нем был создан аппарат провинциальной власти (т. наз. губерниальные старосты, местная полиция), стал налаживаться некоторый порядок. Труднее всего обстояло дело в деревнях — и тут немцы не раз пересаливали в преследовании крестьян за захват помещичьего имущества. Однако яд большевизма настолько отравил сельское население, что делало невозможным возврат к прежним социальным отношениям. Там, где помещики, возвращаясь в свои усадьбы, вели себя спокойно и разумно, жизнь вновь закипала, дисциплинируя обе стороны. Но эксцессы постоянно имели место на обеих сторонах; наводя порядки, немецкие офицеры нередко прибегали к телесным наказаниям, вызывая крайнее озлобление у крестьян и создавая благоприятнейшую почву для большевистской агитации. Здесь было положительно неблагополучно, обозначилась явно опасная "зона", нейтрализовать и обезопасить которую, конечно, нельзя было бы без перемены общей атмосферы. Лизогуб и его губерниальные старосты делали, что могли; мне кажется, что они были достаточно осторожны и благоразумны, понимая, что революционное брожение невозможно победить чисто внешними мерами. Не следует забывать, что кроме большевиков, оставшихся на местах,

когда появились немцы — революционное настроение поддерживали обе крайние левые партии украинцев — с-д и с-р, особенно последние. Очаг революционной заразы нельзя было потушить без привлечения этих партий к мирному сотрудничеству, — а так как они от него категорически отказывались (как и более умеренная группа социалистов-федералистов), то, разумеется, внутреннее положение оставалось очень грозным. И вот в такой обстановке выступает зловещая фигура Игоря Кистяковского — умного и даровитого, проницательного и делового человека, но увы очень циничного. Будучи государственным секретарем, оформлявшим юридически постановления Правительства и подносящим все акты Гетману для подписи, он имел случай часто беседовать с Гетманом, перед которым и развивал свою программу. Он нападал на слабое место у Лизогуба — на бездеятельность власти в отношении к разрушительным силам большевизма и революционного национализма и выдвигал программу более сурового и настойчивого преследования этих элементов. Вместе с тем Кистяковский выдвигал и положительную задачу усиления умеренно националистического течения, чтобы с помощью его изнутри побеждать ядовитые течения. Смелые речи, решительность Кистяковского импонировали Гетману, и он начинал серьезно склоняться к той мысли, чтобы передать Кистяковскому Министерство Внутренних Дел. Наша кадетская группа была настроена враждебно к программе Кистяковского, вернее, не столько к его программе, в которой было немало справедливого и отвечающего реальным условиям — сколько лично к Кистяковскому, в котором мы чувствовали беспринципного человека. В отдельных беседах, которые мы все вели между собой, а отчасти и с Гетманом, наше отрицательное отношение к Кистяковскому сложилось с полной определенностью — вплоть до того, что мы говорили между собой, что не останемся в Совете Министров, если туда войдет Кистяковский в качестве Мин. Внутр. Дел. На мою долю выпало вести все эти переговоры с Гетманом, который был крайне раздосадован нашим сопротивлением. Расставаться с нами он не хотел. Лизогуба сохранять на посту М. Внутр. Дел. тоже не хотел. Мы всецело присоединялись к критике Лизогуба, — но тогда Гетман потребовал от нас, чтобы мы выдвинули новую (приемлемую для нас) кандидатуру в М. Внутр. Дел., раз мы отвергаем Кистяковского. На этом он нас и поймал: сознавая всю исключительную ответственность управления М<инистерст>вом Внутр. Дел., в руках которого находился ключ к замирению Украины, к упрочению нового порядка, мы хорошо понимали, что Лизогуб со-

вершено не годился для этой роли, но не могли никого выдвинуть на его место. Мы были против Кистяковского, а своего кандидата не имели... Переговоры, которые я вел с Гетманом, впервые оформили в составе Правительства факт группы к-д — и к нам неожиданно захотели присоединиться другие министры, почувствовав, что мы, как объединенная группа, представляем собой силу. Со мной вел об этом беседу Ю. Н. Вагнер, выразивший свое огорчение, что “блок” левых министров (какими оказались мы, к-д) обошел его, об этом же говорил и министр юстиции М. П. Чубинский, напоминая мне, что он когда-то состоял в Ц<ентральном> Комит<ете> партии к-д. Я неожиданно оказался в самом центре борьбы... Но борьба окончилась для нас бесславно: мы принуждены были сдать — по очень простой причине: по отсутствию хороших кандидатов в М. Внутр. Дел. За Кистяковским стояло то, что это был умный, волевой человек, могущий овладеть — так казалось всем — положением, против него было его крайне реакционное настроение, склонность к крутым мерам, опасный “правительственный активизм”. После тяжелой недели, в течение которой все усилия найти толкового и сильного человека оказались бесплодными, мы дали Гетману согласие на то, чтобы Кистяковский вступил в управление Министерством Внутр. Дел.

Энергичным и решительным Кистяковский действительно показал себя — но такта и ума он не обнаружил. Он производил многочисленные аресты — и в оправдание их приводил нам в Совете сведения и заговорах и т. д. — казавшиеся нам фантастическими. Позднее выяснилось, что Кистяковского водили за нос, провоцировали и дурачили. Мы и сами это чувствовали, но ни у кого не было в руках бесспорных фактов, чтобы, опираясь на них, бороться с Кистяковским. Тем не менее в Августе м<есяце>, — т. е. когда еще не было никаких данных думать об скором уходе немцев — было ясно мне — да, думаю, и другим — что процесс внутреннего революционирования Украины шел гигантскими шагами, что успокоения населения нет, что мы держимся только помощью немцев. Кистяковский, все время игравший на струнах национализма и заигрывавший на этом с украинскими кругами, окончательно оттолкнул левые круги от сотрудничества с Правительством, и в этом смысле он больше всего ответственен за национальную революцию (Петлюра, Винниченко), свалившую гетманский режим и окончательно погубившую возможность сохранить Украину от большевизма. Я не хочу всецело возлагать ответственность за это на одного Кистяковского: внутреннее

революционизирование населения, отход крайних национальных групп от сотрудничества с Правительством намечался помимо Кистяковского и, вероятно, едва ли был устраним, но все же никто иной как Кистяковский усерднейше подбрасывал дров в костер, сжигавший последние возможности мирной жизни...

Что касается развития большевизма, то надо отдать справедливость Кистяковскому, что он все время настойчиво повторял, что, по его точным сведениям, главным очагом большевистской заразы являлась большевистская "мирная делегация" во главе с Раковским. Кистяковский настаивал на разрыве с большевиками, на аресте Раковского, на принятии самых решительных мер по борьбе с большевиками. Большинство сочувствовало плану Кистяковского, но они встречали самую резкую оппозицию со стороны немцев, которые не могли решиться на разрыв с большевиками на Украине — раз они вели дружеские отношения с теми же большевиками в Москве. Положение создавалось исключительно глупое и безвыходное: большевики, учитывая положение, становились все более наглыми и дерзкими, мы сознавали всю пагубность их действий, разлагавших остатки мирного настроения, но должны были оставаться по-существу безучастными свидетелями роста большевизма в стране. Я убежден, что если бы немцы не мешали нам, непосредственная угроза большевизма *внутри* Украины была бы значительно парализована. Конечно, источником революционизирования Украины были не одни большевики, но устранение одного из очагов заразы уже было бы шагом вперед, — тем более, что при известных условиях можно было бы сговориться с частью украинцев. На это последнее упирал и сам Кистяковский — и при его участии и возник так наз. второй кабинет Лизогуба, в который вошли яркие представители социалистов-федералистов (Лотоцкий и др.). Но этот шаг был предпринят слишком поздно, когда вопрос о восстании против гетманской власти был уже поставлен формально.

Кстати сказать, в деле укрепления и развития национальной украинской культуры никем не было сделано так много, как именно первым правительством Лизогуба. Особенно потрудился здесь ценнейший член Правительства — Н. П. Василенко. О его деятельности я буду говорить отдельно, здесь же только упомяну, что благодаря его активному участию была открыта Украинская Академия Наук (первым президентом которой был назначен известный геолог, член Российской Академии Наук Влад. Иван. Вернадский), при том же Н. П. Василенко Народный Укра-



инский Университет был преобразован в Государственный Украинский Университет (при сохранении русского Университета св. Владимира), при нем же, наконец, была открыта Украинская Национальная Библиотека. Все эти монументальные учреждения, сохранившиеся (кроме Укр<аинского> Университета, который, разделив общую участь с Унив<верситетом> св. Владимира, был расформирован на ряд специальных Институтов) до сих пор, явились ярким и плодотворным вкладом в строительство Украины. Национальные круги не могли не приветствовать этих учреждений. Хорошо помню, как на открытии Украинского Государственного Университета — под который были отведены новые здания, предположенные до революции для Константиновского Военного Училища (на Соломене) — одно из приветствий было произнесено самим Винниченко, состоявшим тогда председателем Украинского Национального Совета (что-то эквивалентное бывшей Центральной Раде, но без всякого влияния и без всяких средств). На открытии присутствовала, можно сказать, вся украинская интеллигенция, неизбежно являвшая здесь свою солидарность с гетманским правительством, *поскольку* оно шло навстречу национальным задачам... Если к перечисленному добавить учреждение Украинского Сената, проведенное трудами М. П. Чубинского, то должно признать, что гетманским правительством закладывались серьезные основы для украинской “державности”... Тем досаднее выходил разрыв между гетманским правительством и национальными кругами — тем фатальнее выступало бессилие “внутренней политики” И. Кистяковского. Ему не удалась основная его задача — борьба с большевизмом: он не был виноват в том, что эта борьба не удалась, но он был виноват в том, что зная эти реальные условия (сопротивление немцев серьезной борьбе с большевизмом), он действовал запальчиво и страстно, думая устроить своими арестами подполье и парализовать его действия. Наладить аппарат политической полиции Кистяковскому так и не удалось: несколько раз в заседаниях Совета Министров всплывали дела, по которым должен был давать отчет Кистяковский — и из его объяснений становилось очевидно, что никакой “разведки” в точном смысле слова у него [не] было, что агентура его слаба и едва ли не служила на оба фронта. Особенно остро проходили конфликты между Кистяковским и Ю. Н. Вагнером, который как Министр Труда получал свою информацию из рабочих кругов и не раз рисовал картины такой полицейской беспардонности и произвола, что вся система Кистяковского обнажала все

свое бессилие. Не страшны никакие крутые меры, если они вызываются необходимостью, если применение их достигает своей цели. Но те меры, к которым прибегал Кистяковский, воображавший сначала, что крутыми приемами ему удастся задушить большевистскую гидру, приводили ни к чему, ибо сплошь и рядом обрушивались на не причастных большевизму людей. Несколько раз Кистяковский сам признавался в заседаниях Совета Министров, что чувствует, что не может справиться с “врагом”... Задача, конечно, была трудна; не только русские рабочие круги, но и украинизированный пролетариат шел против гетманщины — и одними мерами насилия нельзя было изменить положения... Одно, во всяком случае, было ясно для всех, а именно что Кистяковский больше раздражал население, чем оздоравливал общественную обстановку, что он не стал выше Лизогуба на ответственном посту Мин. Внутр. Дел. Нет ничего удивительного, что сознав свое бессилие в прямой борьбе с большевизмом, Кистяковский обратился к более положительной задаче — к привлечению национальной оппозиции к власти. Так возник осенью план реформирования министерства Лизогуба; действующим лицом во всей этой “перемене декораций” был Кистяковский. Он ставил теперь ставку на умеренную группу национальной оппозиции (социалистов-федералистов), — но увы и здесь его не ждала удача. Весьма возможно, что абстрактно этот план был верен, что будь он раньше приведен в действие (второе министерство возникло лишь во второй половине Октября, когда уже явно обозначилось падение Германии и приблизилась революция в Германии — что совершенно меняло всю политическую обстановку и почти предreshало падение гетманщины, как и вообще всякого “отдельного” украинского государства), он, может быть, мог бы еще иметь свои добрые последствия. Но фактически он выступил на сцену слишком поздно, чтобы принести желанные результаты. Не знаю точно, когда в левой национальной группе было решено поднять настоящее восстание против гетманщины — однако бесспорно, что уже осенью, т. е. еще до образования второго министерства Лизогуба, эти левые украинские круги решили выступить активно. Им *развязало руки* новое министерство, а вовсе не связало — и этим весь план Кистяковского сводился к нулю, ибо у партии социалистов-федералистов не было почти никаких организационных связей с деревней, с рабочими кругами. Обе эти группы (говорю об украинских рабочих и крестьянах) находились в “заведывании” украинских с-д и с-р. Правда, отдельные члены партии продолжали еще видимость

службы новому гетманскому правительству, но это было лишь простым прикрытием. Гетманский режим перед лицом наступавшей опасности (ухода немцев, создавших гетманщину) оказывался без опоры в народе и интеллигенции, без вооруженной силы — и вся та огромная положительная работа, которую в разных направлениях провело гетманское правительство, стояла перед крахом, обращалась в нуль. Не было обеспечено самое существование украинской государственности — и то, что в решительный исторический момент, когда Украина оставалась предоставленной самой себе, перед лицом организованной большевистской силы, что в этот момент левые украинские круги просто не заметили опасности для самого существования Украины как государства, что они во имя чисто партийных и совершенно абстрактных соображений подняли восстание против украинской власти и вошли в союз с врагами Украины — какими были большевики, — это все показывает такую историческую близорукость, такое отсутствие государственного инстинкта и трезвого политического реализма, что было и тогда ясно — что Украине *как государству не быть*, что Украина пропускала ту единственную историческую конъюнктуру, при которой еще мог бы быть поставлен вопрос об украинской государственности...

Второе министерство потеряло всякий свой смысл с того момента, как левые круги перестали быть лойяльной оппозицией и перешли в восстание. Помимо того, что соц. федералисты *не умели бороться*, они и *не хотели борьбы*: для них солидарность с национальными группами была дороже самого бытия Украины как государства... Они не понимали, чем играли! Более трагикомического эпизода в истории Украины, чем это безволие украинских политиков, трудно себе и представить...

Гетман сделал последний шаг, какой ему еще оставался — он открыто перешел к ориентации на Россию (конечно, Россию свободную, не большевистскую). Немцев, которые раньше мешали этому плану, спрашивать уже было нечего, — они доживали последние дни, думали только о том, как им благополучно выбраться на родину. Украинские круги либо были втянуты в восстание, либо бессильно разводили руками перед надвигающейся опасностью. Спасая себя, Гетман, в сущности, спасал остатки украинской государственности. Но и этот жест оказался запоздавшим. Он привлек на сторону Гетмана русские круги, дал в его распоряжение 5.000 русских офицеров, командование которыми принял на себя гр. Келлер; с далеким добровольческим движением, поднятым около этого времени

ген. Алексеевым и Корниловым, связь тоже была невозможна. Неожиданно для украинцев Гетман, разуверившийся окончательно в возможности получить от них помощь, сделал крутой поворот в сторону России. Он распустил министерство Лизогуба, поручив образование нового министерства Гербелю, издал особый манифест, говоривший о необходимости борьбы с большевиками для спасения России, четко и определенно выдвинул идею *федеративной связи*, отрекаясь таким образом от идеи самостоятельности Украинского Государства. Этот манифест, вызвавший ярость и непримиримую ненависть со стороны украинцев, вызвал самое живое сочувствие у русских людей, поднял их настроение. Одушевление среди русских было очень велико, но увы, возможности овладеть положением были ничтожны. С севера надвигались большевики, с запада и юга — Петлюра. В Киеве же военных запасов было немного; они собирались, как было указано выше, в разных местах — преимущественно в Черниговской губ.. Когда был издан Гетманом его манифест, ему изменили все начальники на местах, отдавшие оружие, военные снаряды, амуницию эмиссарам Петлюры. Небольшое сопротивление, кое-где оказанное последнему, было быстро сломлено, ибо план восстания, как тогда сразу стало ясно, был давно разработан, всюду на местах были “свои” люди, которые по сигналу овладели запасами. Тех, кто противился, убивали... Этим предательством украинцы купили для себя возможность успеха в восстании, но они скоро сами погибли — ибо овладевая для себя оружием, амуницией, они фактически действовали вместе с большевиками, которые через короткий промежуток времени сделались господами положения.

Киев фактически в несколько дней оказался не только отрезанным от других частей Украины, но и вообще единственной точкой, где восстание не удалось. Был ли Келлер недостаточно удачный стратег или трудности положения были столь велики, что их вообще нельзя было преодолеть, — судить не берусь, но склонен думать, что вопрос о падении Киева был вообще только вопросом времени. Киев не имел тыла, легко мог быть лишен подвоза провианта (что очень скоро и случилось); с помощью русских офицеров, уже тогда достаточно (после войны и первого года революции) ослабленных и даже сломленных, нельзя было бы, думается мне, продержаться в такой тюрьме. К тому ж с первых чисел Декабря настали жестокие морозы, которые чрезвычайно затруднили оборону Киева... 14 Декабря 1918 г. Киев пал, петлюровцы вошли в город — и гетманский

режим кончился... Сам Гетман, как известно, спасся благодаря немцам, которые его вывезли...

Конец гетманского режима был, по-существу, концом "свободной Украины". Украинские патриоты, думавшие с помощью большевиков построить новую Украину нанесли фактически смертельный удар своему собственному делу, не поняв того, что в большевиках они имеют дело с смертельным врагом, перед лицом которого они должны были всячески поддерживать гетманскую власть как единственный (и то не очень надежный) оплот украинской свободы. Кто хотел независимой Украины, тот должен был понимать, что большевики несли с собой не только стихию социально-политического разрушения, *но и идею России*, что в вопросе об единении с Украиной, о включении Украины в состав России с большевиками была вся Россия, все живые и глубокие связи ее с Украиной, вся инерция прошлого. Нетрезвость украинских политиков, поистине не ведавших, что они творят, зловещим светом озаряет исторические судьбы Украины; история, осудив украинских политиков, сурово осудила и самый замысел украинской независимости...

## Глава VIII.

*Школьные и академические дела. Система культурного параллелизма. Собрание русских сил. "Спасение Украины для России".*

Эту главу я хочу посвятить рассказу о том, что делалось в других областях управления в месяцы моего пребывания в составе Правительства. Я не буду останавливаться на деятельности в сфере экономической и финансовой, так как сравнительно мало интересовался тогда этим. Скажу лишь, что и А. К. Ржепецкий (министр финансов) и С. М. Гутник (министр торговли и промышленности) довольно быстро смогли наладить жизнь финансовую и экономическую. Да это и естественно — ведь процессы разрушения за последние несколько месяцев большевистского владычества не смогли сразу оказаться очень глубокими. Заводы и фабрики снова заработали (особенно надо это сказать о сахарных заводах, в восстановлении деятельности которых были заинтересованы и немцы), торговля — хотя и ограниченная — восстановила связь с границей. Это быстрое, почти самопроизвольное возрождение экономической и финансовой жизни, равно как и известное восстановление сельского хозяйства, было поразительным. В нем не было ничьей заслуги — это просто действовала сила жизни, искусственно загнанной хаосом в подполье и ныне получившей свободу. Если бы Украина, как свободное целое, продержалась несколько лет, она, несомненно, политически окрепла и консолидировалась бы, как это мы видим на примере Латвии и других лимитрофов. Но первая стадия, создающая самые силы таких новых государств, должна обеспечивать самое политическое бытие — и лишь потом само это политическое бытие оказывается зависящим от экономических сил...

Общий, не сказанный никем, но диктовавшийся самой жизнью лозунг заключался в самосохранении, в отстаивании своего бытия. Но увы — если было достаточно проявлено таланта и инициативы во всех других сферах жизни, то все же не нашлось только ни одного талантливого политика. Но гибель Украины как свободного политического целого не должна закрывать глаза на то положительное, что было сделано за месяцы свободы. На первом месте я должен поставить всю работу Н. П. Василенко, о котором и скажу здесь в первую очередь.

Н. П. Василенко в самом себе носил живое и мудрое, творческое и действенное решение русско-украинской про-

блемы. Искренний украинский патриот, защитник — убежденный и стойкий — широкого развития украинской культуры, культурного творчества Украины, он горячо любил и Россию, носил в себе живой интерес к общерусским проблемам. Будучи давно защитником федералистической системы в вопросе об отношении Украины и России, Н. П. не был доктринером, обладал большим политическим чутьем, навыками к политическому мышлению, приобретенными им в работе по партии к. д., в Ц. К-те, [в] котором он состоял с самого начала. В сущности, это был единственный серьезный и мыслящий политик среди украинских деятелей... Минусом Н. П. была вялость темперамента, отсутствие влечения к широкой политической работе. Он должен был сам стать во главе Совета Министров, а не передавать главенства провинциальному работнику, каким был Лизогуб. Вместо этого Н. П. предпочел взять на себя управление Министерством Народного Просвещения... Недаром педагог и ученый в нем были выражены ярче, чем политик...

Ставши Министром Нар. Просв., Василенко хорошо понимал *всю сложность культурной проблемы*, перед ним стоявшей. Говорю уверенно о взглядах Н. П., так как имел с ним много встреч, много бесед и во время нашей совместной работы в составе Правительства — и после нее. Первым и основным, безусловно мудрым (с разных точек зрения) принципом, которому следовал Н. П. в своей "политике" в школьном деле, было то, чтобы украинская школа (от низшей до высшей) *не развивалась бы за счет русской*, т. е. чтобы ни одна русская школа не была насильственно закрыта. Всяческое поощрение украинского культурного дела не должно было вести за собой уменьшения или ослабления русского культурного дела. Так и выросла замечательная, на мой взгляд, *система культурного параллелизма*. Ее можно толковать "иезуитски" как предоставление свободы конкурировать обеим культурам, — и так как поддержка украинской культуры, естественно слабой на первых порах после долгих лет ее притеснения, должна была особенно привлечь к себе внимание Правительства — то не является ли система культурного параллелизма лишь прикрытой, носящей приличные внешние формы, *борьбой с русской культурой?*

То сохранение русской школы, — от низшей до высшей — которое проводил Василенко, поставленное рядом с сугубым покровительством украинской школе, не означает ли просто отсутствие варварской тактики, которой шеголяли украинцы впоследствии (при Петлюре и отчасти даже при большевиках)? Не есть ли план Василенко именно по-

тому более “опасный” для русского культурного дела на Украине, что он имел такие корректные и мягкие формы, так сказать, усыплял и успокаивал русское сознание?

Не стану отрицать “принципиальной” возможности такого истолкования политики Василенко, но фактически ему такой “иезуитский” способ мышления был совершенно чужд. Василенко можно было заподозрить ведь и в противоположном, — и крайние украинские группы открыто и высказывали свои подозрения — что на самом деле главное внимание Василенко было отдано не развитию украинской школы, а *охранению русской школы*. Пожалуй, в этом была доля правды — перед лицом агрессивного украинского национализма, как он себя успел проявить с начала русской революции, задача охранения русской школы в том объеме, как она существовала, была очень трудной и серьезной. Василенко не раз категорически и настойчиво говорил, что он ни за что не согласится закрыть ни одной русской школы — на что посягательства со стороны украинцев были постоянно. Защита русской школы от украинцев была совершенно реальной и трудной задачей... Но, конечно, Василенко искренно и подлинно стремился всячески содействовать созданию украинской сети школ.

Больше всего ему удалось дело высшей школы, — может быть, оттого, что он сумел привлечь к этому делу такого выдающегося человека, как Влад. Ив. Вернадский, который фактически был как бы товарищем министра по делам высшей школы. Товарищ министра по делам средней и низшей школы П. И. Холодный был человек неглупый и даровитый, но достаточно ленивый, вялый и без инициативы. Казалось бы с первого взгляда, что развить систему украинской низшей и средней школы гораздо легче, чем высшей, для которой не было достаточного числа квалифицированных работников. На самом деле вышло иначе... Не знаю, каков тип средней и низшей украинской школы сейчас, но в годы, когда я еще был в Киеве, педагогическая бедность и шаблонность отличала украинских педагогов.

Совершенно иначе — широко, разумно — была поставлена проблема высшей школы в комиссии В. И. Вернадского. Как-то уже после падения гетманской власти (при добровольцах, когда можно было свободно собираться...) группа лиц — об этом я еще расскажу позже — собиралась издать серию книг на тему “Россия и Украина”. В этой серии книг главное место, по нашему плану, должны были занять очерки сделанного (и задуманного) при гетманском режиме. Наиболее интересной — по первоначальному пла-



ну — должна была выйти книга как раз В. И. Вернадского, содержание которой всецело определялось деятельностью руководимой им комиссии.

Возникновение Украинской Академии — первого дела, созданного Василенко при участии В. И. Вернадского, является крупным и незабываемым вкладом в историю украинской культуры. Вернадскому удалось собрать крупных русских ученых — украинцев по происхождению, — которые пошли работать в новую Академию. Проф. Ф. В. Тарановский, акад. Липский (ботаник), акад. Крымский (тюрковед), сам В. И. Вернадский, несколько *dii minores* — вошли в первый состав Академии, обеспечив сразу же научную серьезность и высоту в ней. Насколько можно судить по изданиям Украинской Академии, выходящим и ныне, этот уровень настоящей научной культуры сохранился в общем в ней и донныне — несмотря на то, что позднее в состав Академии вошли и такие “растрепанные” ученые, променявшие науку на мелкую политику, как М. С. Грушевский. Задача Академии была содействовать изучению истории, языка и литературы, природы Украины, содействовать развитию украинской научной культуры. Надо думать, что какие бы судьбы ни постигали Украину в политическом отношении — Украинская Академия сохранится при всяких условиях, оставаясь деятельным центром украинской научной культуры.

Среди ретивых украинцев нередко встречались (и встречаются) люди, которые хотели бы “одним взмахом” создать то, что созируется десятилетиями. В частности, отсутствие украинской научной терминологии казалось таким людям “национальным позором”, от которого необходимо немедленно и решительно освободиться. Не знаю, издает ли теперь Украинская Академия “академический словарь” наподобие словарей, издаваемых другими академиями; знаю только, что те статьи и книги, которые в мое время спешно выработывали “украинизацию” научной терминологии, часто возбуждали одно лишь чувство сожаления.

О создании национальной библиотеки я уже говорил. Дело это тоже было монументальным. В Киеве, кроме превосходной Университетской Библиотеки, существовала весьма недурная (городская) публичная библиотека; созданием же “национальной украинской библиотеки” полагалось начало большому делу концентрации книжного и рукописного материала по истории Украины. Создание этой национальной Библиотеки было особенно уместно для тех годов, когда частные библиотеки расхищались или бессмысленно истреблялись.

Но особые заботы Василенко и Вернадского были направлены на Университет. Создание *государственного Украинского Университета* рядом с *русским Университетом* (св. Владимира) было блестящим разрешением трудного вопроса об организации высшей украинской школы. Среди пылких украинских деятелей циркулировала мысль о *закрытии* Университета св. Владимира как “крупнейшего проводника руссификаторской политики”. Это мнение могло бы и восторжествовать, если бы крайние группы имели достаточно времени для осуществления всех своих замыслов. Существовал план о создании *при* Университете св. Владимира параллельных украинских кафедр. Но в этом плане было много трудностей. Создание украинской высшей школы *в недрах* старой русской школы неизбежно умаляло бы значение украинских кафедр, сводя их к значению некоторых параллельных учреждений — не могла бы создаваться и крепнуть своя украинская научная среда. Студенты-украинцы, естественно, растворялись бы в массе русского студенчества... Создание *отдельной* высшей школы было поэтому совершенно необходимо. Добавлю, что ученых, владеющих украинским языком и могущих читать по-украински, было вообще немного. О себе, в частности, скажу, что я совершенно не мог бы читать лекции по-украински. В таком же положении, как я, был еще ряд профессоров, участвовавших в Народном Украинском Университете. Созданием *особого* государственного Украинского Университета со штатными кафедрами создавалась возможность приглашения на штатные кафедры тех ученых, которые согласились бы в течение известного срока перейти на украинский язык — и это открывало возможность приглашения серьезных ученых.

Много интересного и ценного внесла комиссия В. И. Вернадского в самый строй университетской жизни, но я сейчас уже недостаточно помню детали, чтобы останавливаться на этом.

Принцип “культурного параллелизма” — при особой все же поддержке украинской школы, украинских научных учреждений, что требовалось “юностью” самого украинского культурного движения — намечал правильную линию взаимоотношения двух культур на Украине. Если бы жизнь складывалась дальше нормально, трудно сказать, какие взаимоотношения создались бы между двумя культурами. Но то, что целый ряд выдающихся лиц персонально работали и в русской, и в украинской высшей школе, намечало оригинальное и в то же время творческое и исторически очень ценное *совмещение в отдельных личностях двух*

культурных “подданств”. Это не очень улыбалось, конечно, страстным защитникам украинской “независимости”, но такова была реальная действительность, от которой все равно никуда не уйти... Украина вообще жила в это время *за счет русских сил*, стремившихся укрыться здесь от большевистского ига. Если в свое время — начиная с середины XVIII в. — Петербург и Москва поглощали массу украинских сил (самым ярким примером, конечно, является Н. В. Гоголь — сын украинского писателя, ставший самым крупнейшим деятелем русской литературы), — то сейчас исторические условия складывались так, что Россия охотно и легко отдавала Украине своих сынов для того, чтобы она использовала их в нормальных условиях. Какие перспективы открывались этим для Украины! Продолжись период “свободной Украины” хотя бы десять лет, сотни и тысячи русских интеллигентов столько вложили бы своих сил на созидание украинской жизни, — конечно, имея в виду, что служа Украине они служат России. Быть может, с наибольшей яркостью это сказывалось на двух ведомствах, которым тяжело приходилось при большевиках в России — на судебных деятелях и на русском офицерстве. М. П. Чубинский очень умно и тактично организовал украинский сенат, вводя туда с чистыми украинцами (типа Шелухина) и русских судебных деятелей, нашедших себе приют на Украине. Но особенно много русских офицеров (включая генералов) собиралось на Украине, где их охотно включали в списки офицерского состава, платили жалование, вообще бережно хранили. Для чего? Официальный мотив был тот, чтобы, пользуясь кадровым составом, готовить для будущей украинской армии надлежащих офицеров. Но неофициально — если только я правильно понимал тогда замечательного нашего военного министра ген. Рагозу — честного, порядочного и умного человека — неофициально это была система сберегания сил офицерства *для будущей России*. У самого Гетмана, еще в период первого министерства, мелькали иногда эти мотивы, которые он, разумеется, не подчеркивал.

Незабываемое впечатление оставило во мне то заседание Совета Министров, когда какой-то капитан бывшего российского флота — командир одного из кораблей, остававшихся в черноморских портах — делал доклад о положении флота (Черноморского). Подробно, без излишнего пафоса, без нарочитого подчеркивания трагических событий, излагал этот моряк (фамилии его не помню — он явился в Киев делегатом от морских офицеров Черноморского флота) все испытания, через которые прошел флот в на-

чале революции. Приход немцев в Крым, изгнание большевиков из Крыма дали свободу флоту, но оставили его без хозяина. И этот основной мотив в рассказе моряка, стремившегося, по поручению своих сослуживцев, помочь Черноморскому флоту найти хозяина в лице Украинской державы (чтобы не попасть в руки немцев!), звучал все время с такой силой у него, что в сознании с особой ясностью вставала мысль, что, *строя украинское государство, мы строим Россию*, что единственный способ — в данной исторической обстановке — сохранить для России все те богатства, которые находились в пределах Украины, заключался в том, чтобы строить пока крепкую и свободную украинскую государственность.

Но тут естественно возникает вопрос, о котором мне хочется сказать тут же несколько слов. Если оценивать всю ту деятельность, которую развивало украинское правительство (в первом министерстве Лизогуба), как сохранение для России всех ценностей, бывших на территории Украины, то не является ли это прямым и откровенным признанием в сознательном лицемерии и обмане? Ведь говорили мы все время об Украине — а, оказывается, берегли все ценности для России; строили “самостоятельную” украинскую державу с Гетманом во главе, а думали, оказывается, что строили Россию. Не правы ли те украинские журналисты, которые, как бы чуя это, упрекали нас в том, что мы не думаем об интересах Украины, — и те, которые шли дальше и прямо называли нас изменниками (“зрадниками”)? Можно, конечно, пожать плечами в ответ на это и, пользуясь тем, что время освободило нас от принудительного украинского эвфемизма, признать, что дело стояло именно так. Но за себя — и, думаю, несколько других моих коллег — я должен на эти обвинения ответить иначе. Служение Украине и служение России не были для нас двумя задачами, а были — по существу, а не только на словах, одной задачей. Мы искренно служили свободной Украине, но мы слили ее в такой нерушимой связи с Россией, что, служа Украине, служили и России. Важнее еще было то, что мы своим честным и добросовестным служением Украине *стремились спасти Украину для России*. В этой формуле дан ключ ко всей той политической системе, которая создавалась нами. Мы исходили из глубокого сознания, что для Украины пришел ее исторический час, час ее творческого и свободного действия. Связь Украины с Россией необходима для России — но необходимо было, чтобы это сознала и Украина для себя, чтобы Украина нашла в союзе с Россией все те условия свободного и творческого своего

развития, в которых она нуждалась. Та система культурного параллелизма, которую насаждал у себя Василенко, та система автономии (не автокефалии), которую честно и серьезно проводил я в своем министерстве, давая полный и творческий простор украинской культуре, вызывала к жизни и выдвигала на первый план все ценное и плодотворное, что могло быть в душе народной. Система государственного покровительства, не превращая украинскую культуру в "господствующую" (при таком порядке — раз есть "господствующие", есть и "господствуемые"), была необходима и была справедлива — ведь самостоятельные ростки украинского культурного движения столько лет подавлялись. Как хилый больной, когда он выходит из больницы, нуждается первое время в помощи со стороны окружающих — прежде чем он достаточно окрепнет для того, чтобы двигаться вполне самостоятельно, — так и украинская культурная жизнь, естественно слабая и недостаточная в первые годы свободы, нуждалась в покровительстве и особом за ней уходе, чтобы окрепнуть и стать сильной и творческой. Такая система, какую мы оба проводили в своей деятельности, была проникнута истинной любовью к Украине, подлинным желанием создать условия ее культурного расцвета — чем, по- существу, разрешалась основная национальная проблема Украины — проблема свободного и плодотворного ее развития. Но система культурного параллелизма, давая простор украинской культуре, оставляла для русской культуры тоже полный простор, сохраняя все то, что было сделано до революции. Украинцы должны были стать достаточно сильными, чтобы не бояться влияния русской культуры, должны были приучиться к свободному сосуществованию двух культур. Конечно, часто слышались голоса в защиту того, чтобы просто уничтожить все русское на Украине — но этот безумный план не мог бы быть осуществлен в настоящем (слишком глубоко проникла русская культура во всю украинскую жизнь), не мог бы быть серьезно проводим и в будущем (никакие барьеры не могли бы уничтожить реальность влияния соседней культуры). Система культурного параллелизма намечала путь для тех отношений, какие должны были сохраняться всегда между Украиной и Россией, определяла те формы, в которые должны были выливаться многообразные связи двух культур. *Только таким образом Украина могла бы быть внутренне спасена для России, не внешне удержана в системе российской государственности, но могла бы внутренне свободно стоять на почве нерушимой связи Украины и России. Необходимо отдать себе отчет в том, что в глубине украинского созна-*

ния — насколько оно связывает себя с прошлым и живет им — всегда есть глубокая жажда *своего* пути, *своей* культурной дороги. Эта жажда, свидетельствующая не о романтизме “украинофилов”, а о подлинных и действенных императивах души, идущих из глубины, есть реальная, а не надуманная, творческая, а не мечтательная *сила*. Но путь самостоятельности — причем культурная самостоятельность, конечно, никогда не может быть обеспечена без политической, — историей просто *закрыт* для Украины. Это есть непреложный исторический факт. Серьезных географических, экономических, церковных, культурных границ между Россией и Украиной нет, — и после того, как центр общерусской жизни из Киева переместился в Москву, для Украины осталась только доля меньшего брата (“*Малой*” России), остался, как неизбежный и неотвратимый путь семейного объединения со всей Россией. Из этого сознания и растет трагический узел в украинской душе — она сознает, что ей не дано, что ей историей отказано в полной свободе. Удивляться ли тому психологическому обороту, при котором сердитое бессилие — естественное вполне — переходит иногда в ненависть к России? Чувство это бесплодное и вредное — но оно находит свое питание в том глубоком конфликте, который, как неразвязанный узел, остается в глубине души. Украина слишком богата духовно, чтобы не иметь *своего* пути, она не может совершенно потонуть в русской культуре. Но она слишком, с другой стороны, слаба, чтобы при наличных исторических условиях пробираться на путь действительной, а не номинальной самостоятельности. И Россия должна найти в себе достаточно великодушия, чтобы будучи старшей и более сильной, блюдя и оберегая, во имя различных своих интересов, связь с Украиной, не давить (не только внешне, но и внутренне — не давить!) на украинское сознание, не уничтожать его. Система культурного параллелизма должна быть принята и русскими, *не как уступка*, не как жест великодушия, а просто как справедливое и разумное решение вопроса о русско-украинских отношениях. Из системы культурного параллелизма вытекает неизбежно и *государственное двуязычие* на Украине. Единство с Россией требует прав для русского языка, украинская культурная жизнь требует прав для украинского языка. *Иного решения данного вопроса быть не может*, иначе будет подавлена свобода для одной или другой стороны, а следовательно будет неправда, которая рано или поздно приведет к дурным последствиям. Будет ли Украина федеративно связана с Россией, будет ли она иметь права автономии, этот порядок

культурного параллелизма и государственного двуязычия все равно должен остаться...

На этом я закончу свою общую характеристику жизни гетманской Украины. Те отдельные незаписанные здесь страницы жизни, с которыми меня сближала работа в Правительстве, недостаточно интересны, чтобы о них говорить. Я вернусь теперь к прерванному рассказу о своей деятельности как Министра Исповеданий.

## Глава IX.

*Мой отпуск. Политические переговоры в Крыму. Церковные дела в мое отсутствие. "Пропавшие грамоты" м. Антония и его жалобы на меня. Основные разногласия с ним. Коренные вопросы церковно-государственных отношений в эту эпоху.*

В конце Августа я уехал в месячный отпуск (фактически пробыв в отпуску лишь три недели). Я уже упоминал, что крайняя переутомленность ставила меня перед необходимостью набраться сил — так как меня ждала двойная работа: я не хотел бросать профессуры. Гетман признал справедливость моего желания и не противился моему отпуску. Я решил поехать в Крым — в частности в Алушту, которую знал раньше и очень любил. Лизогуб перед моим отъездом возложил на меня неожиданное поручение — начать переговоры с к. д., проживавшими в Крыму (там находились В. Д. Набоков, М. М. Винавер, В. А. Оболенский, Н. Н. Богданов, С. С. Крым). Задача переговоров была чисто политическая — подготовить почву среди русских к. д. к тому, чтобы они взяли в свои руки власть (при помощи немцев, конечно). Странное это было поручение! Глава украинского правительства просил меня, которого в последнее время считали представителем группы к. д. в Совете Министров, вести переговоры о политическом блоке с русскими к. д. в Крыму... Это была измена украинскому режиму, проба нащупать почву для общероссийского политического объединения? Лизогуб не захотел раскрывать мне своих карт, очевидно не вполне доверяя мне, хотя его поручение имело совершенно доверительный, строго конфиденциальный характер. Я думал, что уже тогда речи Иг. Кистяковского, настаивавшего на чисто националистическом курсе, вообще игравшего на нотах крайнего украинства, заставляли Лизогуба насторожиться и подготавливать почву для чисто русского и даже общероссийского блока. Вероятно, Лизогуб что-нибудь знал о переговорах гр. Альвенслебена с Милюковым, возможно, что немцы сами ставили перед ним вопрос о возможности общерусского блока. Во всяком случае, всегда горячо отстаивая интересы украинской державности, Лизогуб не менее горячо стоял и за ту акцию, о которой я уже упоминал в связи с выделением "корпуса особого назначения", имевшего в виду движение на Москву для освобождения ее от большевиков. Тогдашнее Крымское правительство, во главе которого стоял татарин-генерал — по фамилии, кажется, Сулейман Сулькевич не имело никакого веса. А вопрос о Крыме приобретал в чисто украин-



ских перспективах очень серьезный и острый характер. Особенно после доклада русского морского офицера о состоянии русского флота, оставшегося “без хозяина” этот вопрос встал во всем объеме. С одной стороны для украинских “державников” (типа Дорошенко) было очень заманчиво включить в состав Украины Крым, т. е. не иметь в Крыму никакого “правительства”, а просто включить Крым, как особую губернию в состав Украины. Да если бы Украина уцелела как самостоятельное государство она, конечно, неизбежно, в силу географических условий, просто поглотила бы в себя Крым. Поэтому с точки зрения сугубо украинской появление у власти в Крыму видных членов Ц. К. партии к. д. не только не было бы желательно, а наоборот — было бы двусмысленно и опасно. Вот отчего в поручении Лизогуба я чувствовал какую-то недоговоренность, — и толковал ее так, что Лизогуб, ища политического блока с крымскими к. д., помышлял не об интересах украинской государственности, а ориентировался на Россию. И то, что это поручение он возлагал на меня, кто всегда открыто и прямо высказывался в Совете Министров за ориентацию на Россию, получало тоже симптоматический характер. Правда, было что-то случайное в самом поручении — ведь Лизогуб просто хотел воспользоваться моим путешествием в Крым для политической разведки, а не посылал меня специально туда. Да, это верно, а в то же время это было слишком ответственное поручение: я ведь должен был подготовить почву для того, чтобы с помощью немцев в Крыму положением овладели общероссийские к. д.. Любопытно отметить, что те к. д., с которыми я вел переговоры, позднее действительно стали у власти — но только не при помощи немцев, а при помощи французов, когда те пришли в Крым... Во всяком случае я взялся за поручение Лизогуба. Тут же расскажу, как я его выполнил.

Я уже упоминал, что до своего вступления в состав украинского правительства я не был членом партии к. д., а из членов Ц. К., кроме наших киевлян, знал лишь П. И. Новгородцева (и то по общности философских и религиозно-философских интересов). Но уже в Киеве в течение летних месяцев (когда я уже был министром) я узнал немало членов Ц. К.-та, между прочим и В. Д. Набокова, который, направляясь в Крым, прожил недели две в Киеве у Григорович-Барского и принимая участие в тех совещаниях министров-кадетов у него, о которых я уже упоминал. Поэтому естественнее всего было для меня по приезду в Алушту предупредить Набокова, что я навещу его по важному делу. Первое свидание мое состоялось у Набокова, которому я

откровенно и подробно рассказал о поручении Лизогуба; я говорил с Набоковым как член партии — ставя все точки над “і”. После беседы мы пришли к соглашению, что Набоков соберет наиболее видных членов партии к. д., перед которыми я изложу то, что говорил ему, затем они обсудят положение и дадут мне тот или иной ответ. Через несколько дней я получил приглашение приехать в имение — кажется В. А. Оболенского (а может быть Н. Н. Богданова — точно сейчас не помню). Я застал человек 3; некоторых (напр. М. М. Винавера) я видел впервые — и, естественно, был сдержан. Я передал, как совершенно конфиденциальное, поручение, данное мне Лизогубом, и просил высказаться по существу. Для меня уже тогда было ясно (после беседы с Набоковым), что трудность заключалась в ориентации на немцев: Ц. К. партии к. д. дольше Ц. К. других партий, как известно, держался ориентации на “союзников”, т. е. на французов и англичан. После моего небольшого слова начались прения. По-существу, за союзническую ориентацию, за невозможность идти с немцами говорил один Винавер. Набоков, наоборот, очень решительно склонялся за ориентацию на немцев. С моих слов (а может быть, не только с моих слов) присутствовавшие знали о переговорах, которые в Киеве вел с немцами Милюков. Сдержанно, но решительно против этого говорил один лишь Винавер — опять он же — и так же решительно становился на сторону Милюкова Набоков. Другие члены совещания высказывались менее определенно. Прения затягивались и становились бесплодными, так как ясно становилось, что не все голоса были одинаковой силы. В частности, сопротивление Винавера было слишком сильно и ответственно, чтобы его игнорировать. Я почувствовал, что мне надо уйти, чтобы дать сговориться членам Ц. К-та без меня; удаляясь, я просил дать мне какой-либо ответ. Фактически мне не было дано никакого категорического ответа; видимо, борьба между Набоковым и Винавером, при небольшом числе членов Ц. К., не могла авторитетно кончиться ни в одну сторону. После этого я виделся еще раз с Набоковым, из рассказа которого я и понял, что вопрос остался нерешенным благодаря существенному разногласию между ним и Винавером. Был у меня и Винавер — правда, по частному делу: он думал, что у меня есть свой специальный вагон — и хотел проехать вместе со мной в Киев. Но узнав, что вагона особого у меня нет, а есть лишь купе, в котором я охотно предоставлял ему место, Винавер отказался. Мы с ним говорили довольно долго — и эта беседа оставила во мне большое впечатление. Все, знавшие М. М.,

всегда отмечали его большой ум — и беседа с ним на политические темы была чрезвычайно интересна. Впрочем, он мне, как я чувствовал, не вполне доверял.

Мое политическое поручение кончилось вничью. Но для меня лично оно было не только интересно, но и полезно, дав мне возможность более четко формулировать свои взгляды на политические вопросы, стоявшие тогда на очереди. У меня уже тогда сложилось недоверие к “союзникам”, т. е. к французам и англичанам. К немцам, еще недавним врагам, у меня, конечно, тоже не было никакого доверия — и это все вместе обнажало решительную и полную политическую оставленность России, ее политическую изоляцию. У Винавера — как и у некоторых других политических деятелей — еще не исчезла романтика политической дружбы, столь окрепшая за годы войны. Но эта “весна” уже безнадежно прошла, у нас уже не было друзей и не было фактически никаких моральных обязательств. *Нас все покинули* — это ощущал я уже тогда с полной силой; *нас все только хотят эксплуатировать* — и это ощущал вполне. Вопрос о политической ориентации (на немцев или на французов) должен был поэтому решительно снят с позиции обязательств или старых “дружб”, а перенесен исключительно в плоскость русских “интересов”. Я никогда не был защитником политики, основанной исключительно на “интересах”, но в данном случае, при полной политической оставленности России — другого критерия для выбора ориентации не было. К сожалению, все мои эти мысли оказались верны и отвечали действительности. Когда, после заключения перемирия на Западном фронте, в Черном море появились французы, когда затем — несколько позднее — начались (кажется, в Яссах) переговоры между французами и русскими политическими деятелями, то у меня не было никакого доверия к французам, я оставался решительным скептиком...

Крымский мой отпуск длился всего три недели. Я просил своего личного секретаря (Глеба С. Жекулина) приехать ко мне через две недели, чтобы поставить меня в курс того, что делалось в Киеве. В мое отсутствие Министерством управлял Товарищ Министра К. К. Мирович, человек совершенно надежный и разумный. Главное, что мне хотелось сделать (провести по осени новые штаты для духовно-учебных заведений), было сделано, я мог быть спокойным. Но уже от Г. С. Жекулина я узнал, что митр. Антоний подал на меня большую жалобу Гетману, в которой, изложив все обиды (проведение Устава Духовной Академии помимо него, создание Ученого Комитета), утверждал, что никогда

еще в истории русской Церкви не было такого гонения на Церковь, как “при министре Зеньковском“. Это, конечно, было бы смешно, если бы не было грустно... Для меня было ясно, что против меня ведется интрига — но я вовсе не дорожил своим положением Министра, чтобы слишком огорчаться. Я был уверен в том, что мои действия правильны, что иначе я, насколько понимаю интересы Церкви, действовать не мог и не могу... Пусть Гетман решает, как хочет...

Но Гетману в это время было не до церковных дел. Как раз в это время подготавлилась (и осуществилась) его поездка в Германию — неудачнейший и бестактнейший шаг. За месяц-полтора до разгрома немецкой армии (а тревожные признаки о ее положении накоплялись уже с лета) визит к Вильгельму II был крайним и ненужным вызовом союзникам, с которыми обрывалась всякая возможность сговора в будущем. Еще до своего приезда в Крым я не раз развивал в Совете Министров ту мысль, что нам надо очень бояться односторонней ориентации на Германию, что как бы ни сложились политические отношения в Европе после окончания войны, что нам, в интересах Украины, совершенно невозможно ориентироваться только на немцев. Не знаю, кому принадлежала эта гениальная идея визита Гетмана в Германию — самим ли немцам или какому-нибудь досужему политику ранга Дорошенко или Эйхельмана, только непоправимое совершилось: Гетман поехал в Германию. Когда я об этом узнал, на меня это подействовало как удар по голове. Я чувствовал не только огромное раздражение, но и глубокое разочарование, сознавая бесплодность и безидейность всей общей политической работы при таких условиях, — чувствовал, что долго не смогу разделять ответственности, лежавшей на всем Правительстве. В дни своего отпуска я не раз размышлял на темы всего того, что пришлось мне лично делать в качестве Министра Исповеданий — и ни одно сомнение не отравляло и не смущало меня. Но ведь я был не только Министром Исповеданий, но был и ответственным членом Правительства.

По приезде в Киев меня ждал целый ряд сюрпризов. Я знал раньше только о том, что митр Антоний подал на меня жалобу Гетману, но о реакции Гетмана ничего не знал. Помню отчетливо, что я приехал в Киев в субботу утром. Умывшись и закусив дома, я к 10 ч. был уже в Министерстве — где имел большой разговор с К. К. Мировичем. Он мне рассказал подробно о заседаниях Совета Министров, в которых он участвовал, заменяя меня, рассказал о мелких делах, накопившихся за три недели моего отсут-

ствия и под конец показал мне две бумаги митр. Антония, направленные в Министерство. Обе бумаги (особенно одна) были составлены в крайне вызывающем тоне, содержали в себе грубые и недопустимые выражения. Мирович не знал без меня, как поступить — оставить без всякой реакции эти грубости митр. Антония было совершенно невозможно... Выслушав Мировича, я сказал ему, что обдумаю к понедельнику, как нам реагировать, что конечно я не смогу оставить без ответа эти грубости и поставлю перед митр. Антонием категорическое требование взять назад свои бумаги и принести извинения... Для меня было ясно, что митрополит Антоний вступил в открытую борьбу со мной, что ни о каком мирном соглашении после всего происшедшего (жалобы Гетману, дерзких и вызывающих бумаг в Министерство) не могло быть и речи. От борьбы я не уклонялся и хотел только действовать возможно спокойнее и осторожнее...

Мирович предупредил меня, что заседание Совета Министров назначено на 5 ч. веч<ера>, — и я, немного отдохнув, поехал к назначенному часу, чтобы повидаться со всеми, поговорить с Лизогубом. Гетман к этому времени еще не вернулся из Германии, дел было мало, — и я скоро после заседания вернулся домой, чтобы рано лечь спать и отдохнуть после долгой и утомительной дороги. В понедельник утром, достаточно обдумав положение и приняв решение “поднять перчатку”, я приехал в Министерство и сейчас же позвал к себе К. К. Мировича, чтобы обменяться с ним своими мыслями и более тщательно изучить бумаги м. Антония. Мирович, войдя в кабинет, первым делом спросил меня: “В. В., Вы взяли с собой в субботу бумаги от м. Антония?” — “Нет, я их не брал с собой; помните, я отдал их Вам и условился, что в понедельник мы их изучим вместе“. — “Да, я это помню, но представьте себе, сегодня утром, когда я пришел, в папке бумаг, куда я положил и письма м. Антония, я их, к величайшему своему удивлению, не нашел. Я тщательно обыскал весь свой стол, все оказалось на месте — кроме двух бумаг от м. Антония. Тогда пришло мне в голову — не взяли ли случайно их Вы с собой“. — “Если бы я их взял, — ответил я ему, — они должны быть в сохранности у меня, так как все свои бумаги я оставляю у себя на столе; стол у меня т. наз. “американский“, который запирается автоматически, когда верхняя крышка его спускается вниз. Но я так отчетливо помню, что никаких бумаг в субботу я не брал, что считаю совершенно исключенной их наличность у меня дома. Во всяком случае, я Вам дам знать — сегодня к 3 ч. я вернусь

домой и выясню. Но неужели они могли бы пропасть? Неужели кто-нибудь мог их выкрасть“. — “Как ни невероятно такое предположение, но приходится допустить, что кто-то украл. Я даже допускаю, — прибавил К. К., — что со стороны митр. Антония был кто-либо подослан, чтобы забрать эти бумаги: уж очень они были неприличны, очень компрометировали его“.

Дома, когда я вернулся из Министерства, я тщательно обыскал у себя все и тоже бумаг не нашел... Приходилось сделать заключение, что кто-то, кому было неудобно, чтобы эти бумаги оставались у нас, постарался их выкрасть. У нас с К. К. Мировичем сложилось убеждение, что виновников кражи надо искать в окружении м. Антония; те, кто безрассудно толкал его на нелепые и дерзкие выходы в мое отсутствие, когда я вернулся — испугались и решили выкрасть бумаги. Но было очевидно, что кто-то в Министерстве, хорошо знающий, где что хранится, находился в тайной связи с окружением м. Антония и мог проинформировать всю эту операцию... Естественно было — раз приверженцы м. Антония сами забрали — хотя бы и путем кражи — свои бумаги, [что] было бы очень трудно подыма-ть дело по поводу “пропавших грамот“. Я решил предать все это дело забвению — только противно мне стало после этого встречаться с м. Антонием — я решил избегать встреч, а в нужных случаях просить вместо себя К. К. Мировича. Но дело все вообще шло к развязке... А la longe я считал бы такой порядок, что Министр Исповеданий не желает встречаться с первосвященником Украинской Церкви — недопустимым. Но я знал — из ряда других обстоятельств — что я долго не останусь на министерском посту — и мной овладело решительное равнодушие к тому, что думает или чего не думает обо мне митр. Антоний. Через несколько дней после моего возвращения из Крыма приехал Гетман из Германии и в первое же свидание мое с ним он мне сказал, что м. Антоний подал возмутительную жалобу против меня, привел мне те несколько фраз о “неслыханных гонениях на Церковь“, о которых я писал выше. На мою просьбу дать мне прочитать этот документ, чтобы ответить на те обвинения, которые в нем содержатся, Гетман сказал, что отвечать на все эти глупые и явно преувеличенные обвинения не нужно, ибо он не мог придать им никакого значения, а документ столь невыносим по тону, что он не хочет давать мне читать его... Тогда я рассказал Гетману о “пропавших грамотах“ — о двух посланиях м. Антония и об их резком и недопустимом содержании, о принятом мной решении не отвечать ничего на эти

документы — в виду того, что кто-то, связанный с окружением митр. Антония, выкрал документы. Гетман (как и Лизогуб, которому я тоже рассказал весь этот эпизод) вполне одобрил мое решение и прибавил, что ему очень трудно понять м. Антония. С одной стороны, он всегда очень льстив, ласков, любезен, с другой стороны — так явно выступают в нем черты интригана, что становится противно... Несколько позже, из комментариев Лизогуба я понял, что имел в виду Гетман в своих последних словах. Дней через 10, когда уже совершенно обозначился план Игоря Кистяковского о переходе к новому “национальному” министерству (с привлечением в состав Правительства членов партии социалистов-федералистов), Лизогуб неожиданно заговорил об этом со мной, осведомил меня о готовящейся перемене и стал просить меня войти в состав нового Правительства. При этом он мне сказал, что он совершенно одобряет всю мою “политику”, мой образ действий в отношении к митр. Антонию и очень хотел бы, чтобы я дальше руководил Министерством Исповеданий. “Есть только одно препятствие, — добавил он, — м. Антоний успел наговорить против Вас немцам, жаловался им в тонах той жалобы, которую он подал на Вас Гетману. Вам необходимо было бы повидаться с ген. Гренером, чтобы рассеять все эти недоразумения, сгладить то неприятное впечатление, которое в них вызвал м. Антоний своими речами против Вас“. Я вспыхнул от возмущения. “Неужели Вы серьезно предлагаете мне это, Федор Андреевич, — сказал я, — разве я нуждаюсь в том, чтобы оставаться Министром? Я вообще хотел бы оставить свой пост, который создает столько трудностей для меня, но я еще понимаю, — если бы Вы просили меня войти в новое Правительство, я мог бы еще пересмотреть этот вопрос. Но идти к немцам и их убеждать в том, что я вовсе не враг Церкви, убеждать их, что я думаю о благе Церкви, а не о разрушении ее — для того, чтобы остаться в Правительстве — это я считаю абсолютно неприемлемым. Говорите сами, если находите нужным, я же ни за что не пойду убеждать немцев в своей церковной благонадежности, чтобы таким образом сохранить пост Министра“. Лизогуб был очень огорчен моим решением, вновь сказал мне, что очень хотел бы меня видеть в составе нового Правительства, что он со своей стороны сделает все, что может, но думает, что без моего визита к немцам на благоприятный “исход” трудно надеяться...

Конечно, для меня не было тайной, что Лизогуб сам не составлял министерства, что он вообще *никакого* влияния

на его состав не имел, что ключ к положению находился у немцев и у *Кистяковского*, который как раз с немцами и задумал всю перемену. Кистяковский не очень дорожил мной — ему было известно сопротивление мое и моих друзей по к. д. вступлению его в управление Мин <истер> ством Внутр <енних> Дел, в заседаниях Совета Министров мы постоянно имели с ним стычки, нередко очень серьезного характера. Но за меня стояли украинцы, которые видели, что я искренно и подлинно хочу помочь наладить церковную жизнь на Украине — и хотя они не были довольны “излишней” и “чрезмерной” моей корректностью в отношении к епископам, но все же дорожили мной. Кистяковский им не возражал, но когда я отказался идти к немцам, чтобы “расположить” их в свою сторону, он, конечно, никакого шага сам не сделал.

Из рассказа Лизогуба для меня ясно было, что митр. Антоний принимал все меры к тому, чтобы удалить меня с поста Министра Исповеданий (фактически он добился того, что меня сменил Лотоцкий, который ввел автокефалию Украинск <ой> Церкви!!). О его мнении обо мне в это время я впоследствии узнал от о. С. Булгакова, с которым меня связала давняя дружба. В начале 1918 г. Булгаков принял сан священника и осенью выехал из Москвы, чтобы провести некоторое время в Крыму, в имении своей свекрови. Он пробыл целый месяц в Киеве, мы с ним виделись почти каждый день — и, естественно, постоянно беседовали на церковные темы (о. С. Булгаков состоял в Высшем Церковном Совете при патриархе Тихоне). Когда Булгаков ознакомился в подробностях с историей моих отношений к м. Антонию, со всеми моими действиями в качестве Министра Исповеданий, он пришел в ужас от тех “недоразумений”, которые выяснились тут для него. Его мысль стала работать в том направлении, чтобы содействовать сближению моему и м. Антония. По-существу это было уже ни к чему, так как приближались последние дни моего пребывания на посту Министра Исповеданий, но я не противился замыслу о. Булгакова. Но первая же попытка его говорить с м. Антонием была настолько неудачна, сопровождалась такими грубостями и даже оскорблениями по адресу самого Булгакова, что ему пришлось не только отказаться от роли “миротворца”, но и самому прекратить свой визит м. Антонию. Из рассказа Булгакова (хотя он не захотел рассказывать мне все, что у него произошло с м. Антонием) я узнал, что м. Антоний глубоко уверен, что я подкуплен униатами, что вся моя деятельность имеет своей целью всячески содействовать разложению и разрушению



Православия. Когда Булгаков стал защищать меня, м. Антоний грубо сказал: “Может быть и Вам заплатили? Сколько?”

В свете этого становится все понятно в отношении ко мне м. Антония с середины Августа м <есяца> ...

Хотя дело шло уже к уходу моему, но в течение месяца своей последней работы в Министерстве Исповеданий я по-прежнему трудился над тем, что было задумано еще летом. К Ноябрьской сессии Украинского Собора (которую я уже не знал, — с ней имел дело мой преемник Лотоцкий — крайний националист, насильственно, *против воли Собора* проведший “автокефалию” Украинской Церкви...) мы деятельно готовились — конечно в тонах той церковной автономии, которую я все время защищал. Самым трудным и основным вопросом оставался вопрос об отношении Церкви и государства. С одной стороны, Церковь нуждалась в свободе, в развитии в ней соборного управления, с другой стороны — для меня было совершенно невозможно стать на точку зрения “отделения Церкви от государства” — столь понятную в границах европейских государств (в их отношении к католицизму). Православное сознание противится и слиянию Церкви с государством, которое превращает Церковь в “ведомство”, — но так же противится и разъединению Церкви и государства. Формула о “свободной Церкви в свободном государстве”, если только она практически не означает *отделения* Церкви от государства, должна быть проведена в конкретных формах, чтобы стать живой и творческой формулой. В следующих пунктах соотношение Церкви и государства получает конкретный характер: 1) финансовая поддержка Церкви и ее учреждений (особенно школ), 2) вопрос об участии Правительства в управлении Церковью (т. е. при выборах епископов, при установлении принципов управления — нужна ли “рецепция” государством или достаточно односторонних актов со стороны Церкви, что превращает Церковь, с государственной точки зрения, в частный институт, не могущий иметь “публичных” прав, 3) вопрос о государственном (гражданском) значении церковных актов (браки, разводы, записи о рождений). Сюда естественно примыкает вопрос о форме связи Церкви с государством — достаточно ли иметь один центральный Орган, поручая местные функции органам Министерства Внутр. Дел (в старой России “Департамент Инославных Исповеданий” входил в состав Минист. Внутр. Дел, чиновники которого и действовали на местах, как местные органы “Департамента Инославных Исповеданий”). Православная Церковь управлялась Синодом, в котором от

Правительства был Обер-Прокурор, местными органами которого являлись Секретари Консисторий).

При том новом положении, которое для всей России было связано с падением царской власти, с уничтожением обер-прокуратуры, с созданием Министерства Исповеданий, с созывом Церковного Собора и, наконец, избранием патриарха, при этом новом положении в России вопрос о конкретном отношении власти светской и Церкви не вставал только потому, что власть находилась в руках большевиков. Они тогда еще не вступили на путь преследований и гонений, но декрет об отделении Церкви от государства, о приравнивании Православной Церкви к частному обществу уже был издан. На Украине во всех областях гетманское правительство "восстанавливало" нормальный порядок, — конечно, не в буквальном смысле "реставрации", которой не могло быть просто потому, что дело шло о небольшой части России, становившейся пока на путь самостоятельной державы. И вопрос об отношении Церкви и государства должен был быть решен на Церковном Соборе, *что не односторонними* актами Собора, конечно, а вместе с государством, ибо дело шло об отношении двух сторон, — и обе стороны должны были найти общее, взаимоприемлемое решение.

Замечу тут кстати, что у церковных писателей и мыслителей, даже в наши дни, часто есть сознательное или бессознательное *упрощение* вопроса об отношении Церкви и государства. Я имею в виду ту постановку вопроса, при которой Церковь берется как *мистический организм*, хотя и имеющий эмпирическое свое выявление, но по-существу, как тело Христово, живущий независимо от эмпирических (исторических) условий. Надо прямо и категорически подчеркнуть, что при обсуждении вопроса об отношении Церкви и государства Церковь имеется в виду *исключительно как историческое учреждение*. Конечно, для понимания жизни, внутренних законов Церкви необходимо непременно считаться с понятием Церкви в ее полноте, т. е. считаться с учением о Церкви как мистическом организме, но государство может иметь реальные и конкретные отношения к Церкви *лишь в ее исторической стороне*; вмешательство в внутреннюю и сокровенную жизнь Церкви недопустимо для государства. Если византийские цари вмешивались в соборы и имели такое громадное влияние в внутренней жизни Церкви, то смысл этого, конечно, "исторического", т. е. преходящего в чисто эмпирическом плане вмешательства в внутреннюю жизнь Церкви может быть правильно истолкован лишь в церковной (византийской) концепции царя как "внешнего епископа", имеющего свой,

так сказать, “чин” церковный. Царь мог и вмешиваться, но государство как юридический институт никоим образом не может вмешиваться в сокровенную жизнь Церкви, не искажая своей природы, не насилуя Церковь.

Но сложности и трудности в вопросе об отношении Церкви и государства, взятом для обеих сторон в чисто эмпирическом плане, все равно остаются велики и правильное (для обеих сторон) их разрешение все равно нелегко. В тот последний месяц своей работы в качестве Министра Исповеданий я и считал необходимым возможно полную подготовку к ноябрьской сессии Украинского Церковного Собора. Конечно, мой уход, решительное изменение моим преемником Лотоцким основной линии, принятой мной, — совершенно запутали положение, свели ни к чему всю проделанную работу. Однако я утверждаю, что основные линии, намечавшиеся тогда в Министерстве Исповеданий — остаются по существу верными донныне, т. е. являются приложимыми к русской жизни при всех условиях, в которых жизнь получит свободное и нормальное развитие. Не тот курс, который наметил А. В. Карташев, усвоивший позицию “пассивного покровительства” Церкви, считаю я правильным, а именно тот, который был намечен мной. Раскрыть в самых общих чертах основные свои мысли я считаю уместным на страницах этих мемуаров.

Конечно, прежде всего бесспорно, что государство должно давать церковной организации необходимую материальную поддержку. Уж если в Бельгии, при отделении Церкви от государства, Церкви (католическая, протестантская) получают (пропорционально количеству населения, примыкающего к одному или другому исповеданию) финансовую поддержку, то уж тем более в стране с преобладающим православным населением должен быть удержан этот порядок, должны ассигноваться необходимые кредиты, поступающие в высшее церковное управление для обслуживания нужд Церкви (жалование духовенства, иногда помощь храмам, содержание духовных учебных заведений — низших, средних, высших). Конечно, государство, ассигнуя средства, не может их давать “вслепую”, т. е. совершенно не зная, куда эти средства идут; оно должно иметь перед собой смету, составленную высшим церковным управлением и проходящую через заключение Министра Исповеданий, — и вполне естественно, что государство захочет сообразоваться с реальными нуждами Церкви. Не буду доказывать положения о необходимости для государства ассигновать средства не в общей цифре, а соответственно реальным нуждам Церкви, выраженным в смете, — это мне кажется

беспорным. Церковь, конечно, может и должна иметь свои собственные источники доходов (от имущества, пожертвований, тех или иных церковных предприятий — свечных заводов, типографий и т. д.) и эти доходы должны быть показаны в смете. Я не мог бы назвать помощь Церкви делом “покровительства” Церкви со стороны государства; ведь средства государства слагаются из поступлений его граждан в виде разных налогов. Религиозная жизнь населения имеет такое же “право” на использование государственных средств, как культурная, здравоохранительная и т. п. Финансовая помощь Церкви есть прямой долг государства, которое собирает средства от населения, чтобы тратить их на его же нужды.

Таким образом, вопрос о финансовой поддержке Церкви со стороны государства не связан совершенно с трудной проблемой отношения Церкви и государства: какую бы форму ни приняли эти отношения, эта финансовая поддержка все равно необходима и справедлива. Подлинная проблематика вопроса об отношении Церкви и государства встает лишь при 2-м) и 3-м) пункте из указанной выше программы. Чтобы не затягивать своего изложения, а вместе с тем высказать те основные мысли, которые я хотел положить в основу переговоров от имени Правительства с Церковным Собором, начну с 3-го пункта, как более простого и легкого.

Я исходил в своих предположениях о гражданском смысле церковных частных актов (церковного брака, записей о рождении) из *сознания назревшей необходимости различать и разделять гражданскую и церковную сторону* в этих актах, чтобы прежде всего 1) освободить Церковь от совершения ряда чисто гражданских функций и 2) открыть перед Церковью возможность возвращения ее верующих к более глубокому отношению к церковным актам. Скажу прежде всего о браке. Для государства должен быть совершенно достаточным *чисто гражданский брак*, сила которого, перед лицом государства, нисколько не должна становиться меньше оттого, что не был совершен церковный брак. С другой стороны, мне казалось совершенно бессмысленным и ненужным “гражданское бракосочетание”, раз уже был совершен церковный брак. Лица, приносящие удостоверение о том, что они вступили в церковный брак, должны быть признаны *состоящими уже в браке*, о чем им должен быть выдан необходимый *гражданский документ*. Иначе говоря, перед лицом суда состояние в браке все же должно удостоверяться документами, выдаваемыми гражданскими властями, т. е. церковные документы *сами по*

себе не должны иметь гражданской силы, но их совершенно однако достаточно, чтобы без гражданского бракосочетания было выдано гражданским учреждением свидетельство о пребывании в браке. К существующему в 3 < западной > Европе порядку вносилась та реформа, что гражданский акт не требовал никакого дублирования "венчания", равным образом не должно было быть обязательным (как напр. это имеет место во Франции) заключения гражданского брака до совершения церковного брака. Для государства важно лишь одно — а именно то, чтобы заключение брака имело место в серьезной и компетентной обстановке. Для тех, кто не хочет вступать в церковный брак, необходимо, конечно, "гражданское бракосочетание" — и оно совершенно достаточно, чтобы обеспечить за вступившими в брак и их детьми все те права, какие им усвоены по существующему законодательству. С другой стороны, те, кто перед Церковью освятили свое вступление в брак церковным венчанием, должны быть и государством признанными состоящими в браке и не должны его дублировать. Полное уважение со стороны государства к церковному браку делает ненужным это второе, "гражданское" бракосочетание. При таком порядке государство относится с полным уважением к церковному браку, и вместе с тем не считает его обязательным для гражданской силы брака (как это было в России до революции).

В моих предположениях, конечно, не было никакой "революции", никакого умаления прав и значения Церкви; наоборот, я считал и считаю, что прежний порядок, при котором признавался законным лишь церковный брак, насилывал совесть населения, насилывал Церковь, которая должна была совершать таинство брака над людьми, заведомо отошедшими от Церкви или даже враждебными ей.

Тот же порядок должен был получить место и для записей о рождении. Для государства совершенно необходимо вести эти записи, имеющие исключительное значение для всех гражданских действий каждого человека. Эти записи должны иметь место, конечно, в чисто гражданских учреждениях (полиции) — и в этих записях могут и должны потом вноситься записи о крещении или вообще включении ребенка в какую-либо религиозную общину — но конечно совершенно мыслимо и для государства не ставит никаких трудностей положение, при котором родители оставляют дитя не крещеным или не записанным в церковную общину. Ничто так не важно в наше время для здоровой церковной жизни, как то, чтобы совершение или несвершение основных церковных актов (крещение, вступление в брак,

участие в таинствах) было бы совершенно предоставлено свободе человека и не было связано с какими-нибудь формальными ограничениями или удобствами. Ничто так не повредило в истории делу Церкви, как то, что участие в ее жизни через совершение тех или иных церковных актов было необходимо для получения всех тех гражданских прав, которые без этого не могли быть реализованы...

Сказанным, как мне кажется, достаточно уже намечается основная перспектива в разрешении дальнейших, конечно, более трудных вопросов о связи Церкви с государством. Церковь должна перестать быть органом государства в регистрации гражданских актов состояния, но государство должно вместе с тем усваивать полную гражданскую силу церковным актам и составлять соответственные гражданские акты без их дублирования в своем "стиле"... Ясно также и то, что вопрос о разводах принимал новый характер. Лица, вступившие в *церковный* брак при условиях, только что описанных, должны были бы получить *церковный же развод* — за исключением случая заявления ими о выходе из церковной общины. Без этого заявления гражданский развод не мог бы расторгнуть брака — иначе получалось бы не просто неуважение к церковным законам, но недопустимое их трактование как пустых и бессодержательных. Ведь государство при таком порядке не обязует всех, записанных в церковные общины, непременно вступать в церковный брак! Но раз они в него вступили, он может быть расторгнут только той инстанцией, которая его заключила. В случае же *выхода* из церковной общины, церковная юрисдикция, конечно, теряла бы свое значение — и тогда мог бы быть достаточным гражданский развод. Конечно, могли бы сказать на это, что кое-кто ради облегчения развода объявил бы себя вышедшим из церковной общины — и это могло бы быть соблазнительным. Но неужели Церковь могла бы серьезно желать, чтобы те, кто ради обеспечения развода готов отречься от Церкви, оставались бы в ней а *tout prix*? Не думаю.

Но тут может быть поставлен совсем другой вопрос. Как бы ни оценивать ту систему, которую я предполагал к введению, но отвечала ли бы она уровню церковного сознания общества, народа, могла бы она встретить поддержку со стороны высшего и низшего духовенства? Что касается церковного сознания общества, то думаю, что, за исключением небольшой группы традиционалистов *quand tème*, предлагаемый мной порядок, проникнутый истинным уважением к Церкви и вместе с тем освобождающий ее от навязанных ей историей чисто гражданских функций (всю тяжесть, всю

неправду которых, при прежней постановке дела испытывали столь многие!) мог бы рассчитывать на полное и искреннее сочувствие. А вот что касается духовенства — и особенно епископата, то я хорошо сознавал, что одобрения мой проект не встретит, что предстояла бы длительная, быть может, борьба. Я готов был идти на компромисс, как переходную ступень к проведению в полноте основного замысла, — настолько мне казалась неизбежной реакция со стороны духовенства. Сломить его сопротивление чисто внешне — значило оказать медвежью услугу тому самому делу, которое я замыслил. Уж очень срослось у многих их церковное сознание с теми формами, которые исторически были связаны с ним.

Перехожу к самому трудному — второму пункту намеченной программы. После революции в нашем духовенстве (особенно епископате), а отчасти и у мирян появилась странная реакция против прежнего подчинения Церкви государству, выражавшаяся в странном “церковном анархизме”, в отрицании за государством всякого права на вмешательство в церковную жизнь. Если раньше Церковь не имела никакой свободы, то теперь хотели такой свободы для Церкви, которая практически является или отрицанием и гнушением государством, или просто недостойной бравадой. Государство имеет *свою* религиозную ответственность, свою религиозную функцию, которая, конечно, не может никогда противопоставлять себя Церкви как *мистическому* организму, но которая неизбежно стоит *выше* Церкви как *исторического* установления — по той простой причине, что государственная власть определяет и регулирует те самые внешние формы жизни, которым неизбежно подчиняется Церковь. Так, если государство терпит политический, экономический или иной крах, этот крах неизбежно затрагивает Церковь как внешнее установление. Церковь в этом своем внешнем бытии включена в исторический поток, регулирующей которого как раз и занята государственная власть.

Нужно ли доказывать, что государству не может не принадлежать право контроля над составом клира? Что государство вправе отводить от занятий епископских или иных *должностей* тех лиц, которых она считает враждебными или опасными для себя? Церковь вправе выбирать своих епископов, но государство вправе отказываться иметь дело с теми епископами, с которыми оно по каким-либо основаниям не хочет иметь дела. Если бы епископы не были “князьями Церкви”, не управляли бы церковным имуществом, не имели бы права церковного суда и т. д., то, конечно, государство гораздо меньше входило бы в то, что

блюдет церковную жизнь. Но епископы всюду и везде были и останутся “князьями Церкви”. Я считал и считаю, что моя политика, напр., в отношении к митр. Антонию — до его “узаконения” в киевской кафедре на церковном соборе — была совершенно правильной. Эту же точку зрения я считал нужным проводить и дальше. Не странно ли, что я, став Министром, стал “ограничительно” толковать тот сам[ый] принцип свободы Церкви, который раньше так горячо защищал? Не было ли здесь естественного “гипноза власти”, известного хмеля, который опьянял мое сознание и искажал передо мной перспективу? Не думаю; мои взгляды сложились в окончательную формулировку, конечно, только тогда, когда я стал у власти, — но мне кажется это совершенно естественным. Я реально и глубоко чувствовал свою церковную и *свою государственную* ответственность — и этим по-новому осветились для меня многие вопросы.

Из всего моего плана естественно вытекало то, что я решительно сочувствовал тому, чтобы епископские советы или епархиальные управления были бы свободны от всякого государственного контроля, т. е. чтобы прежние секретари консисторий, подчинявшиеся непосредственно обер-прокурору и бывшие проводниками его власти на местах, были бы с корнем уничтожены. Да, я сочувствовал этому — но лишь при условии, если будет введена вся набросанная выше система; но сохранить за епархиальными управлениями и духовенством вообще те гражданские функции, какие они выполняли раньше, т. е. не произведя описанной выше реформы в самом законодательстве относительно брака, относительно актов гражданского состояния — как можно было оставить епархиальные советы без чиновника правительства? Система церковной местной “автономии”, т. е. свободы от правительственного контроля правильна, но лишь при условии, что эти епархиальные советы не несут никаких *гражданских* функций. В этом и было упомянутое уже выше мое разногласие с митр. Антонием, который хотел совершенно явочным порядком, т. е. односторонним актом со стороны церковной власти ввести тот порядок конкретных отношений епархиальных учреждений и местной государственной власти, который вполне правильно намечался Всероссийским Церковным Собором при *советском* режиме, т. е. при отделении Церкви от государства. И я стоял за ту реформу, которая была намечена Всероссийским Церковным Собором, но в условиях той дружественной связи между Церковью и государством, которая вытекала из всего



замысла режима, возникшего при “гетманщине“ — нужно было совместно Церкви и государству внести новые начала в жизнь, продумав их до конца.

Конечно, готовясь к Собору и оформляя с помощью сотрудников те планы и предположения, которые только что мной были изложены, я хорошо чувствовал, что вся эта работа была ни к чему — я знал, что приходит конец моему пребыванию у власти. Я еще не знал только, кто меня сместит; если бы я предчувствовал, что моим преемником станет крайний “самостийник“ и “автокефалист“, озлобленный и резкий А. И. Лотоцкий, не знаю, может быть, я пошел бы на какие-нибудь компромиссы, чтобы остаться у власти и предохранить Церковь от тех жестоких и пагубных испытаний, каким она подверглась при Лотоцком. Но я не знал, кто меня сместит — и добросовестно работал, чтобы оставить своему преемнику подготовленные материалы к Собору. Я следил все время за работой Ученого Комитета, которая развивалась очень успешно, радуя меня тем, что я вызвал к жизни это учреждение и отдал его под руководство проф. П. П. Кудрявцева. До прихода большевиков, т. е. еще два месяца после падения гетманской власти Ученый Комитет работал очень напряженно — а затем все было закрыто, разбито, — и от Ученого Комитета ничего на осталось: вся его работа погибла... В других отделах Министерства шла своя текущая работа, тоже имевшая в виду представить ряд проектов к Церковному Собору. Но уже приближался конец моего пребывания на посту Министра Исповеданий, вопрос шел только о том, когда весь состав Министерства подаст в отставку. Это случилось 19 Октября 1918 г.

## Глава X.

*Отставка. Последний день в Министерстве. Несколько характеристик. Последние дни гетманщины, ее отзвуки в моей дальнейшей судьбе. Образование "группы федералистов".*

Лизогуб медлил с нашей общей отставкой потому, что им не было закончено — вместе с Иг. Кистяковским — формирование нового Совета Министров. Все мы знали о том, что нам должно уйти, и просто выполняли текущие дела; даже заседания Совета Министров проходили скучно и вяло — все торопились закончить проведение тех или иных существенных проектов. Наша группа (от которой за последние месяцы достаточно ясно отделился вправо А. К. Ржепецкий) собиралась несколько раз, чтобы обсудить создавшееся положение и обменяться мыслями. Наконец 18-го вечером Лизогуб предупредил нас о том, что на другой день состоится последнее заседание Совета Министров данного состава и назначил на другой день это заседание в необычное время — днем. На заседании присутствовал Гетман. Лизогуб сказал небольшую речь "от имени всех", указав на то, что, выполняя в течение 5 1/2 м<есяцев> ответственные задачи по устройению жизни на Украине, "мы ныне сознаем, что обстоятельства требуют обновления власти, что мы хорошо сознаем, что успели мало сделать из всего того, что намечалось нами, но что мы уходим с сознанием того, что сделали все, что в данных условиях было возможно сделать", — а затем он обратился к Гетману с прощальным словом от имени уходящего состава Правительства. Гетман ответил Лизогубу коротко, но сердечно, благодарил всех за исключительно ценное сотрудничество по воссозданию нормальной жизни на Украине, выразил сожаление, что обстоятельства требуют серьезных перемен в составе правительства. С каждым из нас лично он простился — и мы все с смешанным чувством веселия — от свободы, которую мы вновь обретали — и некоторой горечи, что работа наша прервалась, не будучи доведенной до конца, простились друг с другом. Вечером был опубликован новый состав Правительства — откуда я узнал о том, что моим преемником назначен А. И. Лотоцкий. Утром на другой день, очень рано, я, сговорившись накануне с К. К. Миновичем, приехал, чтобы проститься с составом Министерства. Все были в сборе. В небольшом (сравнительно) зале Министерства собрались старшие и младшие чины Министерства, — и я как-то особенно сильно почувствовал, что в эти месяцы напряженной (в разных смыслах) работы

я сроднился со многими из моих сотрудников. Но речь свою я посвятил не выражению своих чувств — это было, конечно, неуместно, а настойчивому приглашению всех работать со всей силой для разрешения тех задач, перед которым стояло наше Министерство. Я указал на то, что общий уход Правительства вызван общими же политическими причинами и является “вынужденным”, но что все, кто может, должны оставаться на своих местах, благодарил всех своих сотрудников за работу и просил их сохранить добрую память о нашей совместной деятельности. Прощальные речи, которые мне говорили, меня очень тронули — я чувствовал, что моим сотрудникам грустно со мной расставаться; особенно запомнилась мне речь руководителя отдела средней школы А. И. Максакова, который особенно сердечно благодарил за мужество, с которым я провел реформу средней духовной школы... Становилось уже тяжело от скопившихся в душе чувств — распускаться было невозможно и нелепо. Наконец, этот неизбежный, но тяжелый момент прощания кончился, последний раз на казенном автомобиле я уехал домой — неожиданный, но творческий, тяжелый, но и полный ценного опыта период пребывания моего “у власти” кончился. Я передал все дела К. К. Мировичу, а с своим преемником, — который впрочем не нашел нужным сделать мне даже визит — я так и не виделся. Я вернулся к своей профессорской работе, к своей “частной” жизни — и постепенно стал отвыкать от суетливой и напряженной жизни в месяцы пребывания у власти. Время от времени те или иные мелочи возвращали меня к делам Министерства — то отыскился след упомянутых выше “пропавших грамот” м. Антония (их, оказалось, выкрал и затем стремился на них нажиться некий о. И. Кречетович, талантливый, но уже с навыками проходимца человек, которого я пожалел, дав ему место в Министерстве, — он по-видимому рассчитывал выгодно продать эти документы. Сведение это, доставленное мне одним из сослуживцев по Министерству, не могу однако считать совершенно достоверным), то являлись ко мне бывшие сослуживцы, чтобы погоревать о новых порядках, которые навел новый Министр Исповеданий, сразу поведший дело к насильственному введению автокефалии. Один из сослуживцев принес мне очень ценный подарок — икону собственного письма (очень хорошего), с трогательной надписью... Но все это со дня на день затихало, я все больше уходил в свою личную жизнь. Расскажу теперь лишь о том, что имеет связь с предыдущими страницами и может представить общий интерес.

В Ноябре собрался Церковный Собор — и на первом же собрании произошел у него резкий конфликт с Лотоцким, требовавшим соборного решения об автокефалии, не постеснявшимся подкрепить свое требование угрозой роспуска Собора. Но Собор решительно отказался подчиниться требованию Лотоцкого, за что и был распущен. Лотоцкий от имени Правительства и меньшинства Собора объявил (!) автокефалию Церкви, независимость ее от Москвы. Духовенство не хотело принимать этого, продолжало почитать патр. Тихона (как все время и делалось при мне — так как я защищал принцип автономии, а не автокефалии) — вскоре (уже при падении Гетмана и при диктатуре Петлюры и Винниченко) последовали репрессии, митр. Антоний и архиеп. (тогда) Евлогий, как старшие, были арестованы и почему-то заключены в галицийский (!) католический монастырь (очевидно из боязни оставить иерархов в православной Украине). Лотоцкий, сохранивший свой пост Министра (первое время) при диктатуре (его сменил неистовый и нелепый Ив. Ив. Огиенко, бывший приват-доцент Киевского Университета, малоодаренный, но с большими претензиями, озлобленный и мстительный), являлся к митр. Антонию и арх. Евлогию, чтобы заявить им, что “ничем не может помочь” (точно он хотел им помочь!) в виду того, что они слишком враждебно относятся к Украине и противятся законно (!) проводимой автокефалии. Уже при Огиенко началось дальнейшее разложение церковной жизни; случайными людьми, не Собором, а просто собравшимися крайними украинскими церковниками был избран Киевским митрополитом (в виду заточения м. Антония) о. Василий Липковский. За отсутствием украинского епископата украинские церковные мудрецы вернулись к угасшему, но имевшему в древней Церкви способу хиротонии — а именно: собравшиеся пресвитеры возложили друг на друга руки — а последние с двух сторон возложили руки на о. Василия, который и был провозглашен “аксиос”. Так начались т. наз. “самосвяты”; тем же способом хиротонисали о. Нестора Шараевского и еще кого-то. Украинцы-церковники буйствовали — благо пришло время большевиков, второй раз вошедших (в начале Февраля 1919 г.) в Киев, — а по отдельным церквам продолжалось поминание патр. Тихона. Начинаясь и для Киева та эпоха “местных автокефалий”, которая стала неизбежной в России при условиях гражданской войны, тех жестоких преследований, каким подвергалась Церковь (преимущественно в лице своего епископата).

Второе Министерство Лизогуба имело печальную приви-

легию бесславно завершить мирный период строительства жизни на Украине. 11 Ноября было подписано прелиминарное перемирие у немцев с союзниками, война кончилась победой союзников — и этим радикально изменились все политические предпосылки жизни на Украине. А тут еще вспыхнула революция в Германии, имевшая все тенденции перейти в форму большевизма. Германия, как известно, преодолела эту опасность, но не сразу, а в результате тяжелой борьбы. В немецких войсках, стоявших на Украине, началось тоже брожение, повальное возвращение домой, дисциплина падала со дня на день — и, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы сохранить созданный немцами гетманский режим. В то же время дело восстания против Гетмана получило во всех этих обстоятельствах новый толчок; восстание было объявлено в середине Ноября — и украинское Правительство (“национальное”) попало в труднейшее положение, *ибо у него не было по-существу воли к сопротивлению*. В минуты, когда Украина покидалась немцами, украинские организации поворачивались против Гетмана и шли на союз с большевиками, не отдавая себе отчета в том, что тем самым навсегда губили Украину. Вместо того, чтобы в момент, когда Украина оставалась предоставленной сама себе перед лицом беспощадного врага ее — большевизма, — сплотиться вместе, создать власть “национального единения”, как принято говорить на Западе, поставить свои условия Гетману (а Гетман, лишившись опоры немцев, конечно, пошел бы на все условия) и *не разрушая создавшегося порядка* (что было тактически исключительно важно, ибо за месяцы гетманского режима население привыкло к покою и свободе), т. е. охраняя инерцию порядка, защищать Украину от большевиков, национальные организации (не считая бессильной, “интеллигентной” — в дурном смысле слова — партии соц. федерал<истов>, стоявшей у власти и не сумевшей даже войти в переговоры с повстанцами!) обратились, вместе с большевиками, против Гетмана. Возможно, что союз с большевиками был уже вынужденным, что большевики уже сами в это время готовили восстание, — но это не только не ослабляет вины украинских левых партий, а наоборот ее усугубляет — ибо опасность большевизма в таком случае была уже явной и неотвратимой. Если украинские организации рассчитывали, что, взявши в руки власть при помощи большевиков, они смогут затем от них избавиться, “перехитрить” их, то и это показывает, что политического чутья, маломальской трезвости и понимания реальной обстановки в эти страшные и роковые для судеб Украины часы у них не

было. Совершенно неизбежным, но уже запоздавшим шагом Гетмана было обращение к последней силе, которая оставалась неиспользованной, но к которой гетманское правительство (первого состава) всегда относилось благожелательно — к русскому населению. Это требование новой “ориентации” со стороны Гетмана, что и последовало в передаче власти Гербелю, в манифесте с указанием на федерацию с будущей Россией. Я уже указывал выше, что фактически удалось собрать русские офицерские силы в одном лишь Киеве, что при таких условиях, конечно, не могло быть речи о том, чтобы серьезно отстоять гетманский режим, раз у него враги были с обеих сторон (большевики и украинские повстанцы). Гр. Келлер и его офицерские и юнкерские отряды героически продержались две недели — а затем 14 Декабря Киев пал... Помню тяжелые последние дни, когда со всех сторон Киев был окружен врагами. Ужасные морозы и ветер свирепствовали с небывалой силой, подвоз продукт<ов> необыкновенно упал, и когда утром с музыкой стали проходить с разных концов города “сичевые стрельцы”, а потом торжественно въехал Петлюра, население, чужавшее, что пришел конец свободному режиму, вздохнуло все-таки облегченно, что борьба все же кончилась. Первые же дни “директории” ознаменовались массовыми убийствами. В первый же день появления “петлюровцев” я получил неожиданно записку от Чеховского (он был директором Департ<амента> Общих Дел у меня в Министерстве), который оказался ныне премьер-министром при Директории... Чеховский предупреждал меня, чтобы я первые дни не ночевал дома, что вообще мне ничего бояться не следует, но в первые дни нужно беречься. Я был тронут заботливостью нового премьера обо мне — тронут, что в первый же день вступления во власть он вспомнил обо мне. А вместе с тем как-то сразу почувствовал все бессилие новой власти, раз премьер-министру приходилось рекомендовать мне “не ночевать дома”. Очевидно, “полнотой” власти он не обладал.

Опускаю подробности о новом режиме, который был невыносим по наглости солдатчины во главе с полковником Коновальцом, велевшим в три дня переделать все вывески на украинский язык. Об арестах митр. Антония и арх. Евлогия я уже упоминал. Убийства русских офицеров, расстрел тех, кто держался до последней минуты в Педаг<огическом> Музее, все новые декреты украинской директории, — все это сразу возвращало к забытому на время стилю большевиков. Хотя беспардонные убийства прекратились через 7-10 дней, но преследование разных “Гетман-

цев“ шло все время. Между директорией и большевиками очень скоро вспыхнули нелады — и уже через две недели после того, как в Киев вошла новая власть, стало ясно, что дни ее считаны.

В начале Февраля Киев действительно вновь — на этот раз более прочно — достался большевикам. Украинские власти успели убежать или, как тогда говорили, “отступить“ по Киево-Ковельской ж. д. (т. е. на запад). Среди населения циркулировали пускаемые кем-то слухи, что украинские войска “отошли“ не дальше ст. Коростень (верст 50 от Киева) и что к весне большевиков они “навверное“ прогонят. Родные мои настояли, чтобы я скрылся, и я первый раз в жизни должен был жить под чужим паспортом. Я должен был сбрить свою небольшую бородку, засел на целый месяц у знакомых, ночуя в разных квартирах этого дома и совершенно не выходя на улицу. Сын дамы, приютившей меня, был председателем <ателем> домового комитета, был поэтому в курсе всех тех внешних осложнений, которые в это время сыпались десятками на обывателей. Томительно, скучно жилось мне в течение этого месяца; два раза пережил я поголовный обыск в доме, но оба раза в квартиру председателя домового комитета с обыском, из любезности, не заходили.

Киев тогда был центром “Украинской Советской Республики“ — и тут неожиданно у власти оказалось несколько лиц, так или иначе близких мне. Так, некий Затонский (комиссар нар <одного> просвещ <ения>) оказался моим слушателем (хотя я его совершенно не помнил). Он передал кому-то, что знает обо мне, что считает совершенно возможным для меня перейти на легальное положение и даже советует поскорее сделать это, что он лично берет меня под свою охрану. Другие мои друзья по Институту Дошкольного Воспитания (Директором которого я все время оставался, даже когда был Министром) действовали через мою слушательницу по курсам — некую Ковалеву, сын которой оказался работником в Че-Ка. Как потом мне рассказывали, молодой Ковалев просто извлек все досье обо мне и спрятал у себя, так что “дело“ обо мне на время исчезло. Мой ассистент по Псих <ологической> Лаборатории, д-р Лазерсен, оказался заведующим детским отделом в Комис <сариате> Соц <иального> Обеспечения и тоже настаивал, чтобы я начал легальное существование. В Марте м <есяце> я, в виду всех этих сведений, вновь водворился в свою квартиру и сразу оказался работающим в нескольких комиссариатах (нар <одного> просвещ <ения>, социальн <ого> обеспе-

чения и народн<ого> здоровья — где меня тоже сразу вписали в число постоянных преподавателей врач<ебных> педагогических курсов), а немного позднее мой товарищ по гимназии (ныне прив<ат-> доц<ент> Берлинского Университета) Л. М. Зайцев привлек меня в постоянный состав комиссии при Комис<сариате> Юстиции. Сверх того я работал, конечно, в Университете (и в рус<ском> и укр<аинском>), в Инст<итуте> Дошк<ольного> Восп<итания> и в какой<-то> комиссии по трудовой школе. Среди советских деятелей я приобрел много знакомств — присматривался к этим новым деятелям. Но время было, хотя и суетливо напряженно, но и беспокойное. С весны стали ползти слухи о какой-то “добровольческой армии” ген. Алексеева и ген. Корнилова, украинцы по-прежнему распускали слухи о готовящемся реванше со стороны Петлюры, будто бы вседвигающемся на Киев. В первых числах Июля схватили В. П. Науменко (состоявшего Министром Нар<одного> Просвещ<ения> при последнем — “руссофильском” кабинете Гербеля) и посадили в Че-Ка (Че-Ка тогда заведывал известный своей жестокостью Лацис). Дочь Адел<аиды> Влад<имировны> Жекулиной, в качестве деятельницы Красного Креста (который входил, при общем руководстве Линниченко, в Комис<сариат> Соц<иального> Обесп<ечения>) знавшая разные секреты Че-Ка послала мне своего брата Глеба (моего личного секретаря в бытность мою министром, вскоре убитого большевиками) передать, что надо мной нависла угроза, чтобы я скрылся. Повидимому, “дело” мое, спрятанное Ковалевым, все-таки всплыло наверх. Приходилось уезжать из Киева — но куда? Друзья мои по Дошк<ольному> Инстит<уту> (которые в эти годы и в последующие годы изгнания трогательно заботились обо мне, а потом о моей матери) устроили меня (дело ведь было летом) в украинской детской колонии, которой заведывал некто Р-ий, близкий мне по старому учитель (фамилии его не упоминаю, ибо он доньше еще работает в тех местах). Колония эта находилась в 25 верстах от Киева, в двух верстах от ст. Боярка, в лесу. Вечером, взявши с собой небольшой чемоданчик, простившись с родными, я выехал один из Киева, а на станции Боярка меня встретил Р-ий, который провел меня в колонию, жившую в нескольких домиках в лесу. Тут мне было суждено прожить 1 1/2 м<есяца>. Скоро появились еще подпольные люди, уехавшие, чтобы быть подальше от Киева, а в начале Августа появился некто (фамилии не помню), украинский коммунист, тоже скрывшийся на время из-за ка-



кого-то дела из Киева. Он прямо мне заявил, что меня узнал, но не будет выдавать меня и еще одного с<оциалиста>-р<еволюционер>а, скрывавшегося в той же колонии. Несколько позже, уже когда добровольцы овладели Киевом, до меня дошли сведения, что этот коммунист все же выдал меня и моего с<оциалиста>-р<еволюционер>а и приказ о нашем аресте уже был подписан, но его не успели привести в действие. В Киеве на мою квартиру являлись два раза из Ч-К, чтобы арестовать меня и, не найдя меня, слава Богу, не арестовали никого из родных (упомянутый выше Глеб Жекулин был как раз арестован вместо его матери, которой не нашли — и за день до своего отступления большевики его расстреляли...). Между тем добровольцы продвигались все дальше, овладели уже Екатеринославом, Харьковом, подходили к Киеву с востока и юга; большевикам приходилось уходить на север — и это давало возможность Петлюре с его небольшими отрядами тоже идти на Киев. Украинские войска меня как раз и спасли; они подошли за два дня до оставления большевиками Киева к Боярке; большевики медленно отступали, боясь быть отрезанными со стороны с<еверо>-востока, куда шла единственная на север ветка (на Нежин — Курск — Москву). Так избавился я от ареста со стороны Ч-К по доносу упомянутого украинского коммуниста...

19 Августа 1919 большевики покинули Киев, а рано утром мы втроем (я, знакомый мой с<оциалист>-р<еволюционер> и его жена) вышли пешком в Киев, куда и дошли, не без маленьких приключений к 12 ч. дня. Я снова был дома, среди своих...

В общем этот последний период свободы Киева длился немного более 3 месяцев. Рассказывать, что делалось в это время в Киеве, как жили мы под постоянной угрозой большевистского нападения (1-3 Окт<ября> большевики даже владели Киевом, но потом добровольцы их отогнали верст на 10-15), как ген. Драгомиров организовал нашу оборону, не стану. Упомяну только о двух обстоятельствах, связанных с моей политической деятельностью. Первое я считаю очень важным, хотя самый замысел и остался невоплощенным. На квартире у Н. П. Василенко собралось несколько человек, задумавших по-существу создание такой русско-украинской группы, которая связывая себя органически с тем положительным, что было задумано и сделано при Гетмане, широко пропагандировала бы идею русско-украинского сближения, в границах *федерации*. В слагавшуюся группу входили: Н. П. Василенко, его брат, член партии с-

д. меньшевиков, известный журналист Константин П. Василенко, проф. Богдан Кистяковский, Влад. Ив. Вернадский, проф. Константинович и я. Ближайшим поводом к нашему собранию был вопрос об издании серии книг под общим заглавием "Россия и Украина"; каждый из нас брался написать томик для этой серии — и первый томик был почти готов к печати; это была книга, приготовленная Влад. Ив. Вернадским и дававшая очерк работ той комиссии по общей школе, которой он ведал. Но обсуждая вопросы, связанные с общей идеей задуманного издания, мы все сошлись на том, что перед нашей группой стоит очень ответственная и очень важная задача влияния на русское и украинское общественное мнение, и быть может, если только политические условия будут благоприятны (а мы все тогда почему-то серьезно верили в ближайшее крушение большевизма при помощи Добровольческой Армии), формирование партии федерализма (в противовес укр<аинской> партии соц.-федералистов, ныне защищавших отделение от России!). Многие выдающиеся деятели Добровольческой Армии, после столкновения с Петлюрой возле Киева (я сейчас расскажу об этом) стали выражать самое недостойное пренебрежение к украинству вообще. Не следует забывать, что в окружении Деникина состоял в качестве Министра Земледелия Алекс. Дмитр. Билимович, женатый на сестре Вас. Вит. Шульгина; он — как и самый влиятельный в кругах Деникина В. В. Шульгин — был непримиримым врагом всякого украинского движения и влиял на взгляды Деникина (о чем достаточно ярко говорят различные страницы в книгах Деникина, посвященных "русской смуте"). Все это крайне раздражало решительно все украинские круги. К данному времени даже левые украинские группы пришли наконец к сознанию, что их злейший враг — большевики, и готовы были бы идти на сотрудничество или союз с Добровольцами. Огромный удар этому сближению, которое — как знать? — могло оказаться ценным для Добровольческой Армии, когда ее стали постигать неудачи и даже спасти положение (я лично считаю это, учитывая все обстоятельства, *не исключенным*) нанесла ненужная распря с Петлюрой в день занятия Киева. Дело было так. С юго-востока к Киеву подходила армия ген. Бредова, которая стремилась отрезать коммуникационную связь большевиков по ж. дор. Киев — Курск. Именно *эта* угроза и решила судьбу Киева: дорожа единственным ж. д. путем, большевики вынуждены были оставить Киев. Обеспечив себя с севера, отряды ген. Бредова через Дарницю (первая станция к северу от Киева с лев<ой> стороны Днепра) вошли в

Киев и около часу дня были на Печерске. Войска Петлюры двигались по двум железнодорожным линиям — по Киево-Ковельской дороге и Киево-Одесской линии. Петлюровские войска вошли в Киев с юга *утром*, т. е. часов на 3-5 раньше добровольческих отрядов. Они заняли центр города, стали продвигаться к Печерску; на городской думе появился украинский флаг. В первое соприкосновение с добровольческими отрядами петлюровцы вошли на Печерске. По моим сведениям, Петлюра во что бы то ни стало хотел удержать за собой Киев, но решил действовать осторожно и даже идти на разные соглашения с добровольцами — он хорошо сознавал, что большевики отошли от Киева только потому, что боялись быть отрезанными с севера. Петлюровские отряды, соприкоснувшись с добровольческими частями, согласно приказу, отошли назад, добровольческие части, естественно, более восторженно встреченные русским населением, чем Петлюровцы, спустились на Крещатик, к городской думе и водрузили рядом с украинским флагом национальный русский флаг. Небольшое время оба флага висели рядом, знаменуя некое единение двух антибольшевистских сил. Но тут-то и произошло печальное событие *срыва* украинского флага; между отрядами, находившимися друг против друга, вспыхнула беспорядочная перестрелка, которая быстро стихла. Украинцы отступили на Лукьяновку (т. е. к югу, по направлению Киево-Ковельск <ой> ж. дороги); дня два они еще были в Киеве, но из главной ставки Добров. Армии пришел категорический приказ прервать переговоры с Петлюрой. Соглашения, которое так *легко* было достигнуть в это время (украинцы, дорожа тем, чтобы хотя бы “символически”, но без власти, остаться в Киеве, пошли бы на самые принц <ипиальные?> уступки), достигнуто не было — так была совершена грубейшая трагическая ошибка. По-существу, самое соглашение, которое неизбежно должно было покоиться на унижении украинцев (ибо оставить Киев в руках украинцев — чего они добивались, обещая в дальнейшем доброжелательный нейтралитет — действительно было невозможно для “добровольцев” в виду огромного стратегического значения Киева как крупного железнодорожного узла), но его нужно было бы добиться, чтобы иметь непосредственное соприкосновение с украинцами *именно в Киеве*. Для этого нужно было создать и максимально удерживать какую-нибудь “паритетную” комиссию, не владея вполне Киевом и не отдавая его всецело украинцам. Такое положение продолжилось бы не более нескольких месяцев — одна или другая сторона должна

была бы уйти. А между тем за это время можно было бы добиться нового соглашения с Петлюрой, быть может заключить даже серьезный союз и даже, в случае укрепления в других частях фронта, отдать им Киев, самим укрепившись непосредственно за Киевом (Дарница). Но в ставке Деникина уже был провозглашен лозунг "Единой Неделимой России" — лозунг верный, но демагогически направленный против украинцев — говорю демагогически, потому что не все украинские группы к тому времени стояли так решительно за "самостийность". Создание той группы, о которой я уже упомянул, могло стать центром кристаллизации умеренных украинских групп. Но ведь информация политическая об Украине была у ген. Деникина в руках Вас. Вит. Шульгина, Вал. Мих. Левитского и т. п. людей, на которых и лежит тяжкая ответственность за легкомыслие, проявленное Деникиным и его "Совещанием" в отношении к Украине. История еще раз свидетельствовала о том, какие огромные, почти непреодолимые трудности вставали между русскими и украинскими общественными силами, как актуальна была задача сближения русских и украинских политических сил. Стоит почитать очерки Деникина в частях, относящихся к Украине, чтобы человеку, осведомленному в положении Украины, лишний раз отдать себе отчет в этих безмерных недоразумениях, стоявших и стоящих стеной между Россией и Украиной...

Политическая ошибка, допущенная добровольцами, привела к тому, что украинцы отступили вглубь Украины, а между ними и добровольцами вдруг появились большевистские партизанские отряды. Кстати сказать, добровольцы, войдя в Киев, учредили особые контрольные комиссии для проверки "благонадежности" офицеров, остававшихся в Киеве до прихода добровольцев. Я готов допустить, что такие комиссии неизбежны и нужны, но то, как они работали, как они разбирали дела отдельных офицеров, часто напоминало большевиков, приемы Че-Ка. Отчасти это было связано с "состоянием гражданской войны", где так много всякой провокации, где трудно отличить, кто враг, а кто друг, а отчасти это было связано с непостижимым для меня донныне легкомыслием, политической самоуверенностью, царившими в кругах добровольцев. Они были упоены легко достававшимися победами, казалось им, что вся Россия поднимается по их зову против большевиков, — а что в действительности происходило, они не замечали, да и не могли видимо заметить. Совершалась непостижимая с военной точки зрения ошибка — шли вперед, не укрепляя тыла. Когда Махно овладел Екатеринославом,

разрушая все пути сообщения между разными частями Добровольческой Армии, Д. Армия так и не смогла ликвидировать его. А между тем передовые отряды шли вперед, “летели, как орлы”. Я человек штатский и стал вдумываться в военно-политические проблемы лишь со времени своего вступления в Министерство, но те беседы, которые я имел с представителями Д. Армии (я в Сентябре был приглашен Е. А. Елачичем, стоявшим тогда во главе 3-го <емско-го> Гор<одского> Союза при Бредове, заведывать детским отделом, — это предложение я охотно принял, благодаря чему находился все время в курсе военно-политической обстановки) все более убеждали меня в отсутствии всякой трезвости и реализма у деятелей Д. Армии.

Все, что они делали в Харькове, Киеве, на юге в Одессе, производит кошмарное впечатление по крайней небрежности, неделовитости; все было сшито белыми нитками, все делалось наспех, кое-как. Большевики тоже стояли немногим выше добровольцев, но большевики умели властвовать, да сверх того располагали значительными *верными* и *стойкими* войсковыми частями, которые не боялись смерти и сумели отстоять свое дело. В Д. Армии, наоборот, не было умения властвовать, появились какие-то особые, нового тона карьеристы, какой-то большевизм наизнанку... Но не буду говорить на эту тему, выходящую за пределы тех задач, которые я себе ставлю в данных мемуарах. Возвращаясь к Киеву, скажу, что обнажение украинцами фронта, появление между ними и Киевом партизанских большевистских отрядов (во главе которых стал, если не ошибаюсь, тот самый Затонский, который, как было указано выше, покровительствовал мне) — все это подтачивало положение Киева, особенно со стороны подвоза. Скоро Киев пришлось оставить... Казалось ненадолго, но увя — разложение в Д. Армии было сильнее, чем это всем казалось.

Несчастливая судьба Киева, все время переходившего из рук в руки, неслучайна, неслучайно то, что он попал между двух огней. Я считаю это неслучайным потому, что Киев стоит на рубеже России и Украины, что он есть и Россия и Украина в одно и то же время, есть живое воплощение их связи и их несоединенности, их единства и их разделения. Две стихии, русская и украинская, претендуют на Киев, потому что обе имеют право на него, потому что обе живут в нем. Если одной хорошо, это значит, что, к сожалению, неизбежно другой плохо — и обратно; такова история Киева, таков его фатум. Эти две стихии вступили, начиная со второй четверти XIX в. (а может быть и чуть-чуть раньше) в глубокую, часто скрытую, но всегда острую

борьбу и эта борьба продолжается еще и в наши дни, т. е. дни советской власти. Неудивительно, что отдельные деятели одной или другой стихии оказывались во власти ее, не умели стать выше, подняться и овладеть положением; русско-украинское примирение остается нерешенным ребусом, неразысканным кладом — и в Киеве это было и будет внутренней и глубокой причиной того, что нет в нем мира, что благо одной стороны ведет к резкому или смягченному, но по существу все-равно тяжелому угнетению другой стороны. Но своими долголетними страданиями Киев где-то в глубине своей накопил и силы для мира. Эти силы уже есть, они скрытые, связанные, они ждут того, что придут люди, которые сумеют их пустить в ход, дать им простор... А до тех пор — война идет и идет — явная или скрытая, острая или смягченная...

Недолго процарствовали добровольцы в Киеве. После Октябрьского оставления на 3 дня Киева (драматические подробности этого не считаю нужным описывать, хотя лично меня они очень глубоко коснулись) уже не было до сдачи Киева ни одного дня, когда бы с утра не пронеслись пушечные выстрелы. Большевики стояли в 8-10 верстах от Киева (по Киево-Ков<ельской> ж. д.); путь на юг был свободен, на запад загражден. Мое участие в работе З<емско-> Гор<одского> Союза, связанного с Добровольческой Армией, компрометировали меня гораздо больше, чем участие в гетманском правительстве, — и я понимал, что оставаться в Киеве мне будет невозможно. Моих “благодетелей” среди большевиков я естественно терял, и если во время моего пребывания в украинской детской колонии сам комиссар соц<иального> обесп<ечения> (Зубков) передавал мне привет через Линниченко, т. е. зная, где я укрываюсь от большевиков, не выдавал, если тот же Зубков, во время обыска в моей квартире, которым он сам руководил (была кажется “неделя бедноты” или что-то вроде этого), искусно отвел сыщиков от моего кабинета, который так и остался необысканным, если Ковалев (чекист!) прятал досье обо мне, а Затонский уговаривал меня перейти на легальное существование, то все эти “связи” мои не могли бы, конечно, спасти меня, раз я был участником антибольшевистской организации. Я решил ехать в Ростов-на-Дону. Меня взяли знакомые в вагон Киевского Земства и 29 ноября 1919 г. на рассвете мы покинули Киев... На Ростов-на-Дону поезд наш продвинуться не мог, — путь на Екатеринослав (через Фастов, Цветково и т. д.) был занят Махно — и мы двинулись на Одессу, куда через 10 дней и прибыли. Коротко расскажу о событиях здесь. В Одессе “царст-

вовал“ настоящий бездельник — ген. Шиллинг; русских офицеров было в Одессе больше 10.000, но в значительной своей массе это было уже разложившееся воинство, не способное ни к какому сопротивлению. Меня и в Одессе втянули в работу на Добр. Армию, — сделал это ныне уже покойный о. Константин Маркович Аггеев. Я еще в Киеве вошел в состав т. наз. “Союза Возрождения“, — политического объединения, вобравшего в себя левых к.-д., нар <одных> соц <иалистов>, с.-р. и с.-д. оборонцев. В Одессе я бывал на заседаниях “Союза Возрождения“, был связан с Д. М. Одинцом, который формировал или командовал “батальоном Союза Возрождения при Добровольческой Армии“. О. Аггеев также как-то был связан со всем этим, — и он задумал издание небольшого бюллетеня для этого батальона. Дело он наладил, вовлек меня в качестве сотрудника, но неожиданно уехал, и на меня легла вся тяжесть ведения бюллетеня. Я слишком был связан еще по церковным делам с о. Константином, был связан с ним уже в Киеве в месяцы пребывания там Добр. Армии, в которой Аггеев по-видимому занимал какое <-то> место в “Осваге“. Долголетние и добрые отношения к Аггееву помешали мне отказаться от дела, которое он переложил на меня. Я стал единственным сотрудником и редактором Бюллетеня — чем создавал для себя, в случае падения Одессы, решительную невозможность оставаться там. А между тем падение Одессы было близко... Она и пала, кажется, 26 Января 1920 г. — причем при наличии не менее чем 10.000 офицеров ее захватили 2.000 большевиков. Спасся я совершенно случайно — для меня все сцепление этих случайностей, невероятное, если бы его рассказывать подробно, останется истинным Божиим чудом — настолько все складывалось не в мою пользу и все же не уничтожило меня. Бог даровал мне снова жизнь — явно для какой-то новой задачи в жизни моей.

В Одессе я виделся несколько раз с митр. Платоном и еще ближе пригляделся тогда к его крайне безответственному отношению к церковным и политическим делам. Под его руководством между прочим находился какой <-то> “Священный орден во имя св. Николая“, объединивший верующую и горящую любовью к России молодежь для борьбы с большевиками. Но митр. Платон относился ко всему этому равнодушно и безответственно. Такие люди, как он могли погубить всякую веру в Церковь, веру в Россию — столько пустой, безответственной болтовни и решительного эгоизма было в них и так мало любви к России, к молодежи. Но о митр. Платоне я расскажу отдельно, когда

буду зарисовывать портреты иерархов, с которыми меня сводила жизнь.

Вернусь к своему рассказу. 26 Января я покинул на английском пароходе Одессу, покинул Россию. Моя политическая деятельность, в которую я был втянут помимо своей воли, заставила меня оторваться от родины, от своих родных, от всего дорогого, что было у меня — чтобы отправиться неизвестно куда и неизвестно на что. И все же я не жалел о том, что был 5 1/2 месяцев “у власти”. Я должен был как-то принять участие во всей этой мучительной борьбе, которая шла в России, и если бы я не принял в свое время предложения войти в состав гетманского правительства, уверен — жизнь так или иначе втянула бы меня во что-нибудь другое. Я не жалел и о том, что мне суждено было стать так близко к украинскому, а не общероссийскому делу, хотя душа моя всегда жила и всегда будет жить общерусскими темами. Мне лично проблема Украины была *и остается* чуждой, но как русский человек я понимал и понимаю, что в судьбах России, как бы она ни сложилась, вопрос о том, чтобы спасти Украину для России, есть неотвратимый и исключительно трудный вопрос. Кому же и браться за решение этого вопроса, кому и нести на себе бремя его, как не тем, кто, будучи украинцем по рождению, духовно живет Россией, кто таким образом носит в себе оба начала? Я сознавал и сознаю всю историческую незадачливость русско-украинской темы; все ее так сказать неблагодарность, — и если бы мог я, для самого себя, найти другую форму служения России — это было бы такой радостью! Но я понимал и понимаю, что уклонение от русско-украинской темы было бы с моей стороны настоящим дезертирством. И не мог жалеть о том, что на мою долю достался такой неблагодарный, такой пока бесплодный и трудный подвиг: есть и глубокая радость в том, чтобы брать на себя самые трудные и непривлекательные задачи. То, что моя политическая деятельность оборвалась, что в эмиграции передо мной встала тоже огромная, тоже церковная, но совсем уже иная, форма деятельности, не лишает меня обязанности извлечь из пережитого те политические и исторические выводы, которые я мог сделать. Часть этих выводов и влагаю я в настоящие страницы.

Мне остается досказать кое-что из моей заграничной жизни, так или иначе связанное с моей работой как Министра Исповеданий и набросать ряд характеристик некоторых представителей духовенства — чтобы затем в заключительной части суммарно набросать общие выводы, к которым я пришел за свое пребывание “у власти”.



## Глава XI.

*Новые встречи с м. Антонием и арх. Евлогием.*

*Украинские встречи (Дорошенко, Липинский, Скоропадский, Шелухин, А. Шульгин). Мой разрыв с украинцами. Характеристики митр. Антония, Евлогия, Платона.*

Заграницей я сразу очутился в Белграде, где и пробыл первых три года своего эмигрантского существования. Первые месяцы было очень трудно мне в отношении к посещению церкви — русской службы тогда еще не совершалось, а сербская служба была долго мне очень тяжела. Я аккуратно ходил в сербскую церковь, постепенно привык к ней, а осенью 1920 г. уже начались первые русские церковные службы — первоначально в небольших двух комнатах (службы были разрешены первоначально для детей русских и их родителей), потом они были перенесены в зал одной сербской гимназии, — еще позже для русских служб отвели пустовавший сарай на старом кладбище (на этом месте находится теперь выстроенный русскими собственный храм). Мое усердие к Церкви естественно сближало меня с церковными людьми в Белграде; с другой стороны, судьба судила мне прожить два года в одной комнате с проф. С. В. Троицким, служившим раньше в Свят. Синоде, знавшим очень много архиереев — в том числе и тех, кто съехался в Сербию.

В Белграде я несколько раз встречался с арх. (тогда) Евлогием, который очень любезно всегда разговаривал со мной, встречался с митр. Платоном (у сербского патриарха, который после моего одного чтения среди сербской молодежи, благоволил ко мне, иногда звал к себе на обед). Вскоре появился в Белграде и митр. Антоний, но я всячески избегал встречи с ним, боясь какого-либо “скандала”. Мне не в чем было раскаиваться в своем прошлом, я не стыдился его, не боялся дать ответ за него, но, конечно, я мог ожидать со стороны митр. Антония, очень вообще невоздержанного и к тому же настроенного враждебно ко мне, как к “злейшему врагу Православной Церкви” (из бумаги м. Антония Гетману... см. выше), — какого-либо скандала. Но митр. Антоний сразу же поселился в Карловцах в покоях Сербского Патриарха и мне не приходилось встречаться с ним.

Наблюдая духовное состояние русских и их обычную беспомощность в удовлетворении самых насущных нужд, я пришел к мысли о необходимости создать из более активных людей общество “попечения о духовных нуждах эмиг-

рации“. Я переговорил с Троицким, который был постоянно в общении с арх. Евлогием, мы вместе набросали проект устава — и арх. Евлогий созвал первое небольшое собрание инициативной группы, куда вошли Е. М. Кисилевский, член Цер<ковного> Собора А. В. Васильев, тоже член Цер<ковного> Собора проф. Погодин и еще кто-то. Получил, конечно, приглашение и я, как инициатор проекта, но, разумеется, на собрание я не пошел. Я вообще чувствовал себя в русской среде “изгоем“; ко мне очень дурно относились мои коллеги-профессора за мою “левизну“ (я был один среди профессоров, сохранивший связи с к. д. партией, а тем более из входивших в “Союз Возрождения“), за мою деятельность в качестве Министра Исповеданий я не мог ожидать особенно благосклонного отношения к себе со стороны русских церковных людей. Поэтому, сделав все, что я считал нужным для удовлетворения церковных нужд русского общества, я не считал для себя удобным приходить в упомянутое собрание. Но на собрании было постановлено категорически просить меня войти в состав общества и непременно придти на следующее собрание. Настоятель русской Церкви (достоинейший о. Петр Беловидов) стал к этому времени моим приятелем и даже другом, Троицкий (репутация которого была в тамошних церковных кругах безупречна) был моим сожителем и стоял за меня горой, проф. Погодин — когда-то ожесточенный враг мой (в бытность мою Министром Исповеданий он издавал в Харькове какую-то газету, в которой разделявал меня самым беспощадным образом) узнал меня ближе за это время, как организатора и секретаря объединения русских ученых в Югославии (мне пришлось оказать несколько услуг Погодину — и это его так изумило и совершенно изменило его личное отношение ко мне, что мы состояли просто в дружбе). В течение лета 1920 г. в Земуне организовалось Рел<игиозно-> Фил<ософское> Общество, в котором я был Товарищем Председ<ателя> и принимал самое живое участие... Все это создавало такую атмосферу вокруг меня, что, хотя я очень берегся всяких церковно-общественных выступлений, но в виду настойчивых просьб я не счел возможным упорствовать и пришел на второе организационное собрание. Арх. Евлогий ласково попенял мне за то, что я не пришел на первое собрание. В конце заседания избрали комиссию из трех лиц для составления списка лиц, которые должны были быть приглашены в Правление общества. В эту комиссию кроме Е. М. Кисилевского, А. В. Васильева избрали и меня. При обсуждении состава будущего Правления я решительно отклонил предложение войти в состав

Правления, откровенно объяснив присутствующим, что считаю неудобным входить в Правление общества, призванного объединить русских людей, так как знаю, что ко мне немало лиц относится недоброжелательно за мою "левизну". Тогда А. В. Васильев (крайний правый) стал усиленно убеждать меня, чтобы я вошел в состав Правления именно в целях объединения вокруг Церкви различных русских людей. После долгих споров я наконец дал свое согласие. Неохота, с которой я давал согласие, была во мне, как оказалось через несколько дней, верным предчувствием, что этого не следовало делать. Действительно, в ближайшее воскресенье, на которое, после церковной службы, было назначено учредительное собрание указанного Общества, на которое были приглашены все желающие, о. Беловидов огласил устав Общества и примерный список членов Правления. Когда о. Беловидов огласил мое имя, я услышал недовольные голоса... Действительно оказалось — за меня 13 голосов, против меня 19 голосов. Представьте себе мое удивление, когда я увидел в числе поднявших руку против меня того самого А. В. Васильева, который за несколько дней перед тем настойчиво убеждал меня — против моей воли — войти в состав Правления "для единения всех вокруг Церкви". Горько стало у меня на душе от такой провокации от человека, от которого я ничем не заслужил оскорбления — и я вышел из храма. О дальнейшем знаю со слов лиц, оставшихся в храме. О. Беловидов был так поражен голосованием (кроме меня, "провалили" еще проф. В. Д. Плетнева, стоявшего во главе делопроизводства т. наз. "Державной сербской комиссии по делам русских беженцев" и очень нелюбимого русской эмиграцией за его крайне грубое обращение с теми, кто к нему обращался), что сразу растерялся. Тогда выступил арх. Евлогий, который сказал в мою защиту, что он давно знает меня как искреннего церковного человека, что если кто-либо осуждает меня за мою деятельность в качестве Мин <истра> Испов <еданий> при Гетмане, то он, как стоявший очень близко к церковным делам на Украине, должен взять меня под защиту, затем призывал оставить в Церкви наши разногласия и помнить лишь о благе для Церкви. Затем выступил очень мужественно [и] смело на защиту меня проф. Погодин, который заявил, что он пока не знал меня лично, был моим непримиримым врагом, но узнав уже в Белграде лично, совершенно переменяет свое мнение обо мне, считает крайне важным и ценным мое участие в Обществе, возникающем, кстати сказать, по моей же инициативе... О. Беловидов после этих речей, которые,

казалось ему, должны были рассеять враждебное ко мне настроение, поставил перед собранием вопрос — угодно ли собранию вновь вернуться к вопросу об избрании моем в состав Правления. Голосование дало те же результаты, что и в первый раз: 19 против, 13 за меня. Очевидно было, что голосовавшие против меня 19 человек сговорились раньше.

Совершенно неожиданно для меня я получил довольно скоро еще два, совершенно неза заслуженных мной щелчка за мое “служение Украине”. Оба случая так характерны, что я считаю полезным их здесь рассказать.. Я упомянул о том, что я состоял секретарем объединения русских ученых в Югославии (председателем состоял проф. Е. В. Спекторский). Моя деятельность заключалась в том, чтобы хлопотать за русских ученых перед властями в целях улучшения их материального положения, добывать какую-либо помощь из-за границы (на мой призыв отозвался К. М. Оберучев, создавший в Нью-Йорке общество помощи русским литераторам и ученым). На одном из заседаний Ученого Общества, среди прений, проф. Антон Дм. Билимович (брат упомянутого выше крайне правого Алек. Д. Билимовича, сам крайний правый), возражая мне по какому-то вопросу, вдруг в запальчивости заявил: “я удивляюсь, как Вы, призвавший в свое время немцев на Украину и изменивший делу союзников, позволяете себе еще выступать здесь, в Сербии, так пострадавшей от тех немцев, которых Вы так любезно устраивали на Украине”. Он еще добавил какие-то слова о “немецком сапоге”, но за шумом, который раздался в комнате, я этих слов не расслышал. Грубые и оскорбительные слова Билимовича, не имевшие никакого отношения к тем спорам, которые у нас шли в Обществе, задела не меня одного: в зале находилось еще три человека, входивших в состав гетманского Правительства (М. П. Чубинский, Ю. Н. Вагнер, Г. Е. Афанасьев), тут же был проф. Ф. В. Тарановский, входивший в состав Украинской Академии Наук. Меня поразили не столько грубые слова и наглый тон Антона Билимовича, сколько то, что председатель собрания проф. Спекторский не счел нужным остановить Билимовича и извиниться передо мной. Я решил ничего не говорить, а просто уйти из собрания — что и сделал. Но вместо меня заговорил очень ядовито и резко М. П. Чубинский, указавший на всю бессмысленность и несправедливость ант. Билимовича, который в пылу борьбы выпалил, очевидно, то, что давно было у него на душе. Придя домой, я написал Спекторскому, что не могу больше выполнять обязанностей секретаря, а через несколько времени целая группа ученых во главе с проф. Тарановским тоже

покинула Общество — и мы создали вторую академическую группу в Белграде... Отмечу тут же любопытный эпизод, в котором Ант. Билимович засвидетельствовал мне свое уважение. Он тоже любопытен, хотя совсем в другом смысле. Дело было в 1926 г. на ученом съезде в Праге. Когда съезд кончился, был устроен банкет, который проходил очень оживленно. Говорилось много разных речей, как вдруг встал Мякотин. Он сильно подвыпил и потому откровенно выпалил то, что у него было на душе. Все хорошо у нас было на съезде, говорил он, только вот зачем в начале съезда было объявлено о молебне? Какая-то старая забитая психология проявилась в этом. Кто хотел непременно отслужить молебен, тот мог это сделать, а объявления не следовало делать... Неожиданные слова Мякотина стали вызывать шум, Мякотин разгорячился, стал говорить еще более неудачные слова — и чувствуя, что большинство съезда его не одобряет — сел. Тарановский заставил меня ответить Мякотину. Я отвечал в тоне иронии, говоря, что Мякотин проспал 10 лет, что снятся до сих пор официальные молебны, снится кварталный надзиратель, который требует его участия в молебне. Надо проснуться — уже давно никто никого в Церковь не тащит, нет никакого начальства, но произошел глубокий сдвиг в русской интеллигенции, в том числе и в русской профессуре. Пусть пойдет Мякотин в храм в субботу вечером — он удивится, сколько русских ученых ныне ходит в Церковь. И неужели объявление о том, что перед началом съезда будет отслужен молебен, все еще звучит для Мякотина в тонах старого официального распоряжения?

Моя спокойная ирония добила Мякотина, мою речь покрыли аплодисментами — и вдруг Антон Билимович встал с своего места и подошел ко мне, чтобы пожать руку и выразить мне свое уважение... Это было бы приятно даже, если бы в душе моей не встала картина, выше описанная.

Тогда же в Белграде, летом 1921 г. и митр. Антоний изрек обо мне "правое слово". В начале, кажется, Июня приехал из Константинополя еп. Вениамин, чтобы организовать Собор (который и состоялся осенью того же года в Карловцах — это знаменитый Карловацкий Собор). На первое же собрание, которое было организовано по просьбе еп. Вениамина русским посланником в Белграде В. Н. Штрадиманом, получил приглашение и я (по личному указанию еп. Вениамина). Второе собрание состоялось через 2-3 дня, но на него я не получил приглашения — и хотя мой сожитель, проф. Троицкий, усиленно убеждал меня идти без приглашения, я все же не пошел. Осторожность моя

оказалась не излишней. Троицкий обратился с вопросом к еп. Вениамину: случайно ли не послана мне повестка, и тот с присущей ему откровенностью сказал: “да, представьте, митр. Антоний против его участия, так что пришлось задержать посылку повестки проф. Зеньковскому“. Я надеюсь это уладить, добавил еп. Вениамин и еще сказал: “а митр. Антоний сильно сердится на Зеньковского. Он даже сказал о нем — как он смеет показываться в церковных собраниях; я бы на его месте спрятался бы где-нибудь, чтобы никто не замечал меня...“ Эти слова не вызвали у меня паники, но только подтвердили что надо быть очень осторожным, что совсем не напрасно я уклоняюсь от церковно-общественной работы.

Между тем осенью 1921 г. произошло небольшое событие в Белграде, с которым связана была совсем новая страница в моей жизни. Студенты богослов<ского> факультета (на котором я преподавал философские предметы) создали, в числе 7 чел<овек>, кружок религ<иозно-> фил<ософский> и пригласили меня принимать участие в этом кружке. Это положило начало очень большому и творческому делу — Русскому Христианскому Студенческому Движению — которое ныне чрезвычайно разрослось и бессменным председателем которого я состою. С осени 1922 г. Белградский кружок очень возрос, моя роль тоже стала очень значительной. Студенты, принимавшие участие в кружке и очень полюбившие меня, постоянно посещали митр. Антония, который вообще всегда очень любил молодежь и был с ней очень ласков. Вероятно, они не раз говорили ему обо мне, но я всегда тщательно избегал встречи с м. Антонием (памятуя его слова, переданные еп. Вениамином). В Январе 1923 г. студенты затеяли пригласить в кружок митр. Антония. Когда я об этом узнал, я собрал руководителей кружка и сказал им, что я очень рад за них, но что мне совершенно невозможно встретиться с митр. Антонием, что я просто не приду в данный вечер. Но оказалось, что студенты давно (очевидно, от митр. Антония) знали о моих давних трудностях с митр. Антонием и заявили мне, что без меня они не считают возможным принять у себя митр. Антония, что митр. Антоний совсем теперь иначе ко мне относится, что я непременно должен быть, когда он будет, что “все будет хорошо“. Тогда я должен был рассказать им в общих чертах ту историю моих отношений к митр. Антонию, которая подробно изложена на предыдущих страницах. На студентов и это не действовало. Я не мог все же дать им согласия присутствовать на собрании с митр. Антонием, указывая, что, помимо воз-

можных личных для меня неприятностей, которых я вправе избегать (когда митр. Антоний служил напр. в русской Церкви в Белграде, то я не рисковал даже подойти к кресту, не будучи уверен, что не начнет вслух обличать меня...). Студенты уверили меня, что они еще раз переговорят с митр. Антонием, о котором они и сейчас знают, что он *хочет* меня видеть. На другой день я пошел в Церковь (было воскресенье) и у самого входа в Церковь меня задержал кто-то, — и неожиданно подошел митр. Антоний. Увидев меня, он приветливо сказал: “А, Василий Васильевич! Рад Вас видеть”. Я подошел под благословение, митр. Антоний заявил мне: “я собираюсь на днях в Ваш кружок, надеюсь увидеться с Вами там”. После этих слов митр. Антония мне уже ничего не оставалось делать, как придти на то собрание, на котором должен был быть митр. Антоний. На собрании митр. Антоний был сверхлюбезен со мной, постоянно говорил со мной, все озирался на меня и если не видел, то говорил: “а где Василий Васильевич”. Видимо, студентам легче удалось то, чего хотел добиться еще в Октябре 1918 г. о. С. Булгаков, думаю даже, что они нарочно подстроили все это “примирение”.

Конечно, я от души был рад ему. За всю свою деятельность в качестве Министра Исповеданий я никогда никакого зла к митр. Антонию не имел — это как раз он сердился и негодовал на меня, — и если теперь он менял гнев на милость, тем приятнее это было для меня. Мне всегда было тягостно то несправедливое, недоброе отношение, которое было у многих на почве создавшейся легенды о том, что я “гнал и преследовал митр. Антония” (такой рассказ я сам однажды слышал) — и хотя я еще не был уверен в том, что настроение митр. Антония вполне переменялось, но был рад даже и тому, что он так мило и любезно меня встретил. Мне пришлось через два месяца оставить Белград — я был приглашен в Прагу читать лекции в Педагогическом Институте, но за эти два месяца я несколько раз виделся с митр. Антонием, был однажды приглашен им к завтраку (вместе с несколькими студентами из кружка) — и отношение ко мне м. Антония оставалось все таким же сердечным и любезным. Одна его проповедь привела меня в такое волнение, что как-то все больное, что еще оставалось у меня в душе, совершенно растаяло. Летом, когда я заехал в Сербию, я поехал к митр. Антонию в Карловцы, снова был чрезвычайно любезно принят им и, прощаясь с митр. Антонием, просил его простить меня, если чем его обидел. Он очень ласково и сердечно обнял и поцеловал меня. Но наше “примирение” на этом не кончилось, Бог судил мне

еще такую встречу с митр. Антонием, которая навсегда остается в душе моей светлым воспоминанием. Русское Христ<sup>ианское</sup> Студ<sup>енческое</sup> Движение решило устроить свой годичный съезд в мон<sup>астыре</sup> Хопово (возле Белграда). Конечно, мы послали приглашение и митр. Антонию, который провел всю неделю с нами. В первый же день (все это было до того Карловацкого Собора, который осудил РСХ Движение за его связь с американской христианской организацией Y. M. C. A.). Митр. Антония выбрали почетным председателем съезда, а я был деловым председателем. Все неделю мы сидели рядом, естественно, много говорили — и между нами сложились замечательно дружеские отношения, которых так не хватало тогда, когда я был Министром. В последний день, когда кончился съезд, митр. Антоний сказал съезду, что он благословляет меня оставаться бессменно Председателем Движения и заповедал молодежи никогда не отпускать меня с поста Председателя, подарил мне карточку с самой сердечной надписью... Года через два, когда я выпустил в свет непериодическое издание “Вопросы религ<sup>иозного</sup> воспит<sup>ания</sup> и образования“, я получил очень нежное письмо от митр. Антония, превозносившего мою статью. Не знаю, что теперь думает обо мне митр. Антоний, но я всегда благодарю Бога за то, что мне дано было так благостно закончить самую тяжкую страницу в моей былой деятельности в М<sup>инистерстве</sup> Испов<sup>еданий</sup>.

Я не собираюсь здесь рассказывать о моей службе на пользу Православной Церкви в эмиграции, поэтому опускаю все те встречи с митр. Евлогием, которые были связаны с организацией Богословского Института в Париже, с арх. Феофаном Полтавским. Кое-что я скажу в дальнейшем — где хочу дать несколько портретов-характеристик тех архиереев, с которыми пришлось мне ближе познакомиться. Обращусь поэтому к описанию других моих встреч — с политическими украинскими деятелями.

Первая встреча была еще в 1921 г. с одним из моих слушателей и учеников в Киевском Университете — Тимофеевым, увлекавшимся философией. Я потерял его из виду в год революции — оказывается, он был страстным украинцем, участвовал в Петлюровском восстании и был или Министром, или Товарищем Министра Продовольствия в Директории. Попав в эмиграцию, Тимофеев сильно эволюционировал и стал защитником гетманского (монархического) принципа в том духе, в каком защищал идею гетманщины украинский писатель (бывший послом Украины в Вене) Липинский. Тимофеев как-то узнал мой адрес в Белграде,



списался со мной и мы условились, что я приеду к нему под Вену, где он жил, погостить на несколько дней. В годы своего пребывания в Белграде я проводил лето в Берлине (где стояла тогда, до стабилизации марки, необыкновенная дешевизна), чтобы научно работать. Возвращаясь из Берлина осенью 1922 г., я приехал в Вену, где меня встретил Тимофеев, и вместе с ним я отправился в чудное место Кюб (недалеко от Jettingen). Тимофеев всегда был привязан ко мне, тут же еще прибавилось его новое увлечение идеей самодержавия — гетманщины, как конструировал эту идею Липинский, давший оригинальнейший синтез славянофильского учения о самодержавии, учения Сореля и некоторых советских идей. Мы без конца говорили с Тимофеевым, который повел меня затем к Липинскому, жившему в нескольких верстах от Тимофеева. Липинский, которого я лично до того не встречал еще, оказался очень интересным и оригинальным человеком, большим и серьезным историком. Будучи католиком, он имел огромное влечение к Православию — и главной темой нашей беседы был разговор именно о Православии. Липинский исходил из той мысли, что промышленное развитие неизбежно разбивает население на “профессиональные” группы, чем наносится глубокий удар национальному единству. Это национальное единство должно быть охраняемо наследственным (а потому свободным от игры классовых и партийных разногласий) монархом, которого он вслед за славянофилами наделял атрибутами самодержавия, имея в виду, что *совесть* (а не воля) монарха должна быть выше “народной воли”. Вместе с тем Липинский считал, что Россией должны править три русских “народа” — великороссы, украинцы, белоруссы. Они должны иметь трех монархов, образуя федерацию наподобие немецкой империи. Точкой единства должен быть, однако, патриарх, единый для каждой Руси, для всей “империи”.

Это была полуфантастическая система, но мне очень близкая и интересная во многих мотивах своих. Меня поразило и очень обрадовало у Липинского то, что церковное единство он ставил в основание политического единства России. Его любимой мыслью было то, что Россия не есть создание одной Москвы, что “Россия” — т. е. то целое, какое мы имеем с XVII в. — именно как целое есть создание Москвы и Украины. Липинский поэтому не хотел отречься, во имя Украины, от России — и это был новый, дорогой для меня синтез русско-украинской стихии. Липинскому особенно важно было удостовериться в том, что он понимает дух Православия. Он даже с грустью о себе под-

черкнул то, что на Украине, которая должна быть непременно православной (против унии он выразился очень резко), могут действовать плодотворно только православные.

Беседа моя с Липинским была очень продолжительна и оставила очень глубокое впечатление во мне. Я не разделял ряда идей, которые он высказывал, но меня до последней степени привлекло глубокое и серьезное стремление обосновать *церковно* нерушимую связь России и Украины. Я и сам считал и считаю, что единство православной веры является драгоценнейшим залогом нашего исторического единства. Липинский производил впечатление не только умного, но и глубокого человека, меня влекло к этому смелому и парадоксальному мыслителю, одинокому, головой стоящему выше и Гетмана и всех “Гетманцев”. Кто следит за эмигрантской украинской литературой, тот знает, что Липинский является духовным вождем всего “гетманского” движения. Сколько мне известно, Гетман, который, по-видимому, вывез из Киева солидные деньги, поддерживает Липинского, человека больного и, пожалуй, обреченного (благодаря туберкулезу) — но, кажется, он держится и до сих пор, хотя по-прежнему слаб. Но при всем искреннем уважении моем к Липинскому, искреннем влечении к нему, мне было почему-то жалко его. Позднее я понял это свое чувство, когда уже в Праге пришлось мне встречаться с другими украинскими политическими деятелями (Дорошенко, А. Я. Шульгин и др.): Липинский был не только головой выше всех этих людей, необыкновенно провинциальных, — он был, по моему глубокому убеждению, не только крупным историком, но и высокоталантливым мыслителем — пожалуй, единственно ярко талантливым человеком, которого я вообще встречал среди украинцев. Его таланту просто не на чем было развернуться — и именно это ощущение *несоответствия* между большим талантом и маленькой, узенькой задачей, к которой его национальное чувство и историческая обстановка привязала целиком — и было, как мне казалось тогда, в основе моего грустного чувства, которым окрашено мое воспоминание о Липинском. Он весь ушел в выработку идеологии гетманщины — и, читая его статьи, я всякий раз испытывал тоже грустное чувство от большого человека, упорно везущего маленькую телегу. Не оттого ли все крупные таланты уходили к простору великой России, что Украине суждено было историей остаться навеки *лишь провинцией России?* “Большому кораблю большое плавание” говорит пословица, которую любят применить иронически, но и в самом де-

ле — в маленьких и скудных условиях провинциального бытия, на которое осуждена Украина — что делать большому таланту? О, как я понимаю все остроту той горечи, всю жгучесть той любви, которую испытывают сыны Украины по своей “неньке Украине”? Любовь к Украине есть огромная и творческая сила, сила, которой никогда не смогут убить ни внешние притеснения, ни свободная “конкуренция” более сильной общерусской культуры: перед этой именно силой должно склониться русское сознание, — склониться с уважением и верой. Но никакая любовь, никакое одушевление и творческий порыв не могут сделать невозможного — превратить провинцию в великую державу. Липинский для меня есть самое яркое непререкаемое свидетельство именно *провинциальности Украины*: ему тесно в пределах темы об Украине именно потому, что это тема провинциальная, хотя все сердце, все вдохновение и любовь, весь огромный талант отдал он Украине. Но не цвести его большому таланту на маленьком поле... и стоит мне представить рядом с Липинским таких бесспорно одаренных людей, как Дорошенко или Шульгин, таких сильных людей, как Чеховский или А. И. Лотоцкий, таких “вождей”, как Петлюра или Скоропадский, таких “премьер-министров”, как Лизогуб или Вяч. Прокопович, чтобы еще ярче почувствовать как трудно было развернуться огромному таланту Липинского на мелководье, в котором его удержала пламенная любовь к Украине. В этом увядании талантов на узенькой и скудной полосе, отведенной историей Украине, есть нечто роковое? Да, но это надо понять и принять. Сам же Липинский превосходно выяснил, что украинский гений (а можно и должно говорить об украинском гении) явил себя в XVIII и XIX веке в творении великой России — и это значит, что украинский гений обретает свои крылья, обретает свою творческую силу, лишь когда перед ним открывается простор великой России. Не просто в “союзе” с Россией, но в *слиянии* с Россией, — том слиянии, которое имело место в XVIII и XIX веке — обретает и Украина свой путь, оставаясь в своей особенности, не теряя своего своеобразия, но входя в орбиту движения всей России. Это грустно? Конечно, ибо не цвести высшим цветам, где скудна почва — они замирают и гложут. Но надо понять и принять то, что диктует история — политика есть творчество лишь в том случае, если мы повинемся директивам истории. Фигура Липинского останется для меня всегда символическим осуждением — против воли, против всего творческого одушевления самого Липинского — претензии сынов Украины на самостоятельное, особое истори-

ческое бытие, осуждением неприятия ими горькой доли провинциальности, осуждением их стремления *сбойти историю*. Творчество Липинского (не как ученого, а как историка) остается бесплодным... пока оно не свяжет себя со всей Россией.

Последний день перед отъездом Тимофеева меня неожиданно посетил тоже живший в соседстве... Шелухин! Тимофеев предлагал мне раньше повидаться с ним, но я отклонял это предложение — уж очень безвкусное, тяжелое впечатление оставалось у меня от Шелухина. Но он сам пришел — и я должен был провести часа два с Шелухиным. Тут я впервые его узнал как человека. Впечатление от его “неумности” утвердилось в полной силе — и еще удивительнее показалось мне то, что его всерьез делали государственным человеком, назначили председателем комиссии по заключению “мирного” договора с большевиками. В Шелухине и теперь сохранилось гаерство и шутовство, но под этим я не мог не увидеть доброго и симпатичного *обывателя*. Да, он именно был таким “либеральным” украинским обывателем, — и в этих пределах он был даже достойным, порядочным и приятным человеком. Но судьба сыграла злую шутку с ним, превратив его в государственного деятеля... Шелухин, если не ошибаюсь, попал потом в профессора уголовного права в Украинском Университете. То-то, думаю, было жалкое зрелище. Ему бы оставаться членом окружного суда, чем он был в Одессе до революции.

Тимофеев, у которого я жил, был умный парень и, кажется, видел насквозь своих украинских приятелей, но его ум уходил в сферу практическую. Мне неожиданно привелось его встретить зимой 1926-27 г. в Чикаго, где он разыскал меня (я провел тот год в Америке и два раза был в Чикаго). По-прежнему хранил он любовь к Украине, остался по-прежнему “Гетманцем” (я серьезно думаю теперь, что для трезвых украинцев осталась только одна более или менее реализуемая перспектива — та самая, которая воплотилась в “гетманщине”, — но об этом не стоит говорить); но вся его энергия уходила в “доллар”...

Встреча с Липинским не пропала даром; думаю, что он писал обо мне Скоропадскому и Дорошенко, потому что Дорошенко разыскал меня в Праге и убедительно просил меня, когда я буду в Берлине, навестить Скоропадского. Мне было любопытно и самому встретиться с Скоропадским; скоро я получил от него письмо, за первым письмом другое. Письма были любезны, интересны, и я обещал навестить его в его вилле в Wannsee (под Берлином). Первый раз я был у него один, мы “предавались” воспоминаниям,

не вели никаких ответственных бесед. Но в следующей мой приезд в Германию случайно или неслучайно тут же оказался и Дорошенко, который вообще уже в то время целиком связал себя с Гетманом. Я получил от Скоропадского приглашение приехать на обед — и застал у Гетмана и Дорошенко (который, кстати сказать, все время говорил Скоропадскому “пан Гетман“ — хотя я обращался к нему по имени и отчеству; Дорошенко демонстративно подчеркивал, что для него Скоропадский не перестал быть Гетманом). После обеда со всей семьей Скоропадского мы остались втроем и тут у нас началась неожиданная политическая беседа. Скоропадский попросил меня высказать мой взгляд на церковное положение на Украине (если память мне не изменяет, это было зимой 1925 года). Я был несколько au courant церковного положения, некоторых течений. И. И. Огиенко, последний украин <ский> Министр Исповеданий (при Директории), с которым я виделся в Варшаве еще в Январе 1921 г., время от времени присылал мне в Прагу разные свои издания, так что я мог следить и за этим течением (Огиенко был крайним автокефалистом). Выслушав меня, Скоропадский задал мне другой вопрос: а как я смотрю на возможность и пути церковного возрождения на Украине? Надо заметить, что к этому времени я уже три года состоял Председ <ателем> Рус <ского> Хр <истианского> Студ <енческого> Движения — и украинцы при встрече не переставали меня укорять за это, — за то, что я “работаю на русских“. Эта моя “активность“, как я несколько раз убеждался, почему-то “беспокоила“ украинцев, которые очевидно предпочитали, чтобы я ничего не делал, чем служил бы русскому делу. Уже не потому ли и возник у Дорошенко план завлечь меня в украинские дела и тем отвлечь от русских? Может быть, я напрасно так подозрителен, но появление Дорошенко в Берлине, когда я там был, и именно у Скоропадского, невольно наводило на подозрения. Когда я высказал Скоропадскому, как я гляжу на ближайшее будущее в церковных судьбах на Украине, в чем я вижу сейчас единственную плодотворную работу для укрепления Церкви (а именно — работу среди молодежи для развития и укрепления церковного сознания с целью подготовки поколения, могущего взять на себя задачу восстановления церковной силы), Скоропадский спросил меня, не взялся ли бы я работать в этом направлении среди украинцев и сосредоточить в себе все основные нити церковные (украинские). Я сразу же ему сказал, что не вижу реальной почвы для такой работы, что ничего из-за границы сделать в смысле влияния на церковное положение на Ук-

раине невозможно, что наконец я целиком ушел сейчас в работу среди русской молодежи и мне уже трудно сейчас что-либо делать дополнительное. Я говорил Скоропадскому и Дорошенко о тех бесплодных моих попытках вызвать к жизни религиозное движение среди украинской молодежи, какие имели место в Праге.

Разговор наш оборвался, я почувствовал, что и Скоропадский, и Дорошенко хотели меня привлечь ближе к “гетманской идее” — к чему у меня, по-существу, никогда не было влечения. Через год в Америку последовало мне еще одно “приглашение” — как раз в 1926 г. при содействии Гренера и немецких денег открылся Украинский Научный Институт с некоторым количеством платных кафедр (пока была занята одна лишь кафедра — Липинским). Меня Дорошенко запрашивал, соглашусь ли я вступить в состав Укр<аинского> Научн<ого> Инст<итута>. Я ответил ему, что из Америки затруднительно дать ему какой-либо ответ, потому что слишком удален сейчас от всего, что происходит в Европе, но добавил к этому, что если Научн<ый> Инст<итут> имеет в своей основе политическое, а не чисто научное задание, — что я в таком случае, по принципиальным соображениям, вступить в него не могу. По возвращении моем в Европу нового приглашения не последовало.

Этим, в сущности, исчерпываются мои встречи с украинскими политическими деятелями. Об русско-украинских беседах, организованных еще в 1923-1924 г. Дорошенко и мной, я уже рассказал в предисловии к настоящим мемуарам, упомянул и о том, что беседы наши, хотя были интересны, но были и решительно бесплодны — для обеих сторон. С Дорошенкой тогда у меня было много встреч, мы стали даже, пожалуй, близки, — но после бесед у Скоропадского отношения наши совершенно увяли.

С Лотоцким (см. выше) я впервые познакомился в Праге на упомянутых беседах. Это был коренастый, сильный, упрямый человек — очень умный, но и обозленный, непримиримый враг России. При взгляде на него невольно вспоминались мне различные жестокие фигуры из украинской истории — такой человек не моргнувши глазом мог бы отправить на смерть. Что-то жестокое, беспощадное, — а в то же время трагическое чувствовалось в нем. То, что называют “сердитым бессилием”, гневом от бессилия, но что у Лотоцкого было не гневом, а злобой, непримиримой и страстной, — все это говорило о *муке его любви к Украине*. Он любил ее горячо и фанатически и не мог простить России самого ее

существования, самого факта ее величия; мучительная зависть, непрощаемая обида как-то “застряли” в нем. Мы с ним ни одного слова не говорили при встрече об украинской Церкви, но при внешней вежливости со стороны Лотоцкого, какой-то насильной для него любезности, я чувствовал в его отношении ко мне элемент *обиды* — и, конечно, никак не мог разгадать причины. Но в одной из бесед, в случайном слове Лотоцкого, сказанном об украинской интеллигенции, бросившей свою “страну” и ушедшей служить России, в его выразительном жесте, обращенном потом ко мне, я вдруг понял причину нелюбви Лотоцкого ко мне. Он не мог простить мне того, что, будучи украинцем, я служил и служу русскому делу. Уже много позднее, когда беседы наши оборвались, в случайной встрече Лотоцкий меня холодно спросил — “а Вы по-прежнему все заняты русскими делами?” Этот холодный вопрос звучал все тем же обвинением мне, которое я почувствовал раньше. Лотоцкий был *ревнив* к Украине, он не допускал ухода “на сторону” (т. е. в Россию!), принадлежа к той “старой гвардии”, которая умирает, но не сдается.

В тех же Пражских русско-украинских беседах я ближе узнал и А. Я. Шульгина, тоже Министра Иностр. Дел, как и Дорошенко, но уже при Директории. Если Дорошенко всегда был немецкой ориентации, то Шульгин, ученик Н. И. Кареева, работавший у него по истории французской революции, был всегда французской ориентации. Поэтому он был послан в Париж (при Директории, т. е. когда победа союзников стала уже совершившимся фактом, — и до сих пор является “полномочным министром” Украинского Республиканского Правительства (последнего состава, когда Чеховского сменил Вяч. Прокопович), ездит в Лигу Наций защищать интересы украинцев. Это очень живой, корректный и выдержанный, умный и эластичный, но в то же время страстный человек, безгранично и всецело преданный украинской идее. В нем как-то не ощущается солидности — и это очень ослабляет то в общем ценное впечатление, которое получаешь от беседы с Шульгиным. На самом деле, насколько я могу судить, это самый широкий и умный (хотя тоже не талантливый, как и Дорошенко) человек среди украинской политической интеллигенции. На нем легла печать столичного “лоска”, в нем нет ни мужиковатой, но зато прямой, грубости Лотоцкого, нет приторности Дорошенко, у которого всегда ясно ощущаешь хитрого человека. Шульгин тоже своего заветного не выдает сразу, но у него *есть политический темперамент*, отсутствие которого так понижает все дела и выступления Дорошенко. У

Шульгина не хватает ума, чтобы иметь продуманную и ясную систему политических идей, его защита тех или иных положений больше действует ее эмоциональной окраской, чем убедительностью аргументов. Шульгин был бы очень хорошим “вторым лицом” в какой-нибудь делегации, а для того, чтобы быть первым лицом, у него недостаточно данных.

В Праге же я встречал и Швеца — одного из членов Директории, которого я знал по Украинскому Народ <ному> Университету. Это был типичный украинский попович, импонировавший своим огромным ростом, физической силой, какой-то стихийной силой, которую ему некуда было девать, в компании “добрый малый”, решительный в словах и в действиях, но совершенно глупый во всех общих вопросах, необразованный и некультурный. Ему бы родиться в век Тараса Бульбы, а не быть специалистом по минералогии, каковым он по игре случая был. Каким образом он оказался в составе Директории при таком явном умственном ничтожестве, не берусь объяснить, вероятно, представлял свою партию (украинских с-р).

Раз говорю я об украинских политических деятелях, вернусь еще раз в двум главным деятелям современного эмигрантского украинства — Скоропадскому и Дорошенко. Я называю их главными деятелями, хотя хорошо знаю, что на украинском Олимпе живет много отставных богов — как Прокопович, Левитский, Лотоцкий, Шульгин, Шаповал и tutti quanti. Но все эти деятели разного калибра и разной политической ловкости, умеющие пристраиваться к тем или иным правительствам (польскому, чешскому, французскому), — они могут еще немало намотить, они, как *разрушительная сила*, могут еще не раз внести свою долю участия в разные беспорядки и неурядицы, но все они какие-то подбитые, бессильные, нетворческие. Петлюра убит — а он был человек не очень большого ума, но с большим характером, с большой силой волевой концентрации; Саликовский умер — а он был умный, широкий и порядочный человек, с большим моральным весом. Остались либо “дельцы” (Шаповал — совершенно невыносимая фигура, Левитский, Огиенко и т. п.), либо прибитые романтики, как Прокопович. Более свежие и умственно еще творческие примыкают к Скоропадскому; главным мотивом этого сосредоточения вокруг Скоропадского является то, гетманский период в судьбах Украины после русской революции был действительно периодом удачного и положительного строительства, творческого подъема во всех сферах жизни, а еще что важнее — единственным периодом по-



рядка. Правда, этот порядок был связан с тем, что на Украине были в это время немцы; противники гетманщины на это и указывают. Но факт остается фактом: в течение 7 1/2 месяцев гетманской власти создавалось и крепло чувство украинской державности. И если переживавшим различные перипетии в ходе жизни на Украине есть что вспомнить как реальное явление украинской силы, творчества и политической независимости — то это именно гетманский период, с иностранными послами, с парадами, с цветением и культурной, и экономической, и церковной жизни. И то, что “Гетман” не то монарх, не то президент республики, эта неясность его конституционного положения — только способствует росту популярности гетманского периода. Я уже говорил, что идеологом гетманщины является единственно талантливый писатель и мыслитель — Липинский. Его благоговейно и любовно слушает во всем Дорошенко, его глубоким речам поддается и Скоропадский, доньше еще не вполне сознающий, где он играет “роль”, навязанную ему историей, а где он “на самом деле” уже украинец. Скоропадскому ведь ничего и не остается сейчас, как продолжать играть ту игру, в которую засадили его играть 14 лет назад, благо, его происхождение действительно, а не мнимо (как у разных мелких его соперников вроде Полтавца-Острицы) дает ему известное право на “гетманский престол”. Но он — сужу по всем своим встречам вплоть до последних, бывших в 1926 г. — все еще не может до конца стать украинцем, поэтому старательно *играет* в украинство — и как неизбежно бывает с такими простодушно-хитрыми (*sit venia verbo*) натурами — переигрывает, ибо не знает того, где он имеет право быть “самим собой”. У меня осталось впечатление, что Скоропадский в эмиграции как-то выцвел, даже поглупел, измельчал, обленился. И правду сказать — где же ему набираться вдохновения в растянувшемся монотонном досуге? Если бы не было Дорошенко, который, как старательный художник, все работает над ним, как над картиной, все “пишет” и “стилизует”, внушает и подсказывает, если бы не было этой неугомонной “мухи”, которая изо всех сил старается будить Скоропадского от сна, в который он все время опускается, которая вечно внушает Скоропадскому, что он “исторический деятель”, что Украина его “ждет”, “возлагает на него надежды”, — Скоропадский совсем бы опустился и превратился в типичного обывателя, благо он захватил с собой очень солидные суммы денег. Правда, говорят, что Скоропадский при какой-то финансовой операции потерял около 50.000 dollars, но судя по всему эта потеря не особенно чувстви-

тельно отозвалась на его благосостоянии. Прекрасный человек — его жена, сумевшая сохранить здравый ум и настоящее благородство души во все периоды ее многострадальной жизни, сумевшая хорошо воспитать своих дочерей, она является ангелом-хранителем Скоропадского, его надежнейшим советником, постоянно умеряющим его порывы. Собственных политически комбинаций у Скоропадского давно нет — за него думает и хлопочет Дорошенко, поражающий неутомимостью своей любви к Гетману и к гетманской идее. Как Дон Кихот, верен Дорошенко этой идее; с настойчивостью и неутомимостью изо дня в день работает он на пользу этой идеи — пишет, говорит, интригует (среди немцев). Это идеалист, самый привлекательный из всех романтиков украинской идеи, верный проводник и истолкователь всех глубоких и мечтательных идей Липинского. Возможно, что история еще раз улыбнется Украине — и тогда Дорошенко будет наиценнейшим человеком. Но я сомневаюсь, чтобы история улыбнулась Украине, хотя не сомневаюсь, что враги великой России, враги возрождения России (а не врагами являются, по-моему, одни лишь американцы) будут долго еще играть на украинской теме — да только ведь никогда не сговорятся, ибо все это хищники... Дорошенко, под влиянием Липинского, строит свои политические планы на связи с Россией; но я мало доверяю его руссофильству — оно у него не от трезвого учета исторической обстановки, а от некоторой зачарованности идеями Липинского. Липинский же, при всей своей глубине, тоже Дон Кихот, хотя и самый замечательный и глубокий среди своих товарищей по судьбе.

Мне остается в этой последней главе набросать общие характеристики тех представителей русской Церкви, с которыми я имел возможность познакомиться за свое пребывание у власти. Я ограничусь немногими лицами — и, давая свои характеристики, буду считаться не только с тем материалом, какой накопился у меня за время управления Министерством Исповеданий, но и после того.

Скажу прежде всего о митр. Антонии. Его репутация так прочно создалась, так документально обрисована с опубликованием его различных писем, что было бы излишним с моей стороны говорить об этом. Мне хочется дать некоторую общую характеристику м. Антония как человека и как иерарха, в нем я вижу образ *трагический* — и с точки зрения его собственной судьбы, и с точки зрения судеб русской Церкви. Будучи большим талантом, с глубокой и редкой богословской ученостью, м. Антоний являл пример великого и неутомимого церковного деятеля, отдавшего всю

свою незаурядную энергию на церковную работу. Его центральная идея, как мне кажется, всегда заключалась в вере, что подлинное и чистое христианство осуществимо лишь в монашестве. Пребывание в миру сладостно нам по естеству — а что м. Антоний хорошо понимал всю “естественную сладость” жизни в миру, это видно из его очень метких, колких и ядовитых замечаний о жизни “по естеству”, что хорошо знают все собеседники м. Антония, — но эта естественная сладость не приближает нас по его сознанию к правде Христовой, а наоборот удаляет. Для естественного нашего зрения закрыта правда Христова, как красота и утоление нашей духовной жажды — и потому, кто понял это, тот должен освободиться от мира, т. е. уйти в монашество. В этом еще нет презрения к миру, поэтому есть у м. Антония очень много подлинной и даже нежной снисходительности к грехам (“пребывая в миру, можно ли не грешить в смысле подвластности страстям” — так бы я формулировал это основное положение в практической этике м. Антония), но *он не уважает мира*, не верит в него. В *этом* смысле и Церковь для м. Антония не семя обновления жизни в мире, в истории, а некий Ноев ковчег, со всех сторон окруженный бурными водами. Правда в мир не входит и не может войти — и единственно, что может справляться с миром, *это не Церковь, а светская власть*. Светская власть есть от Бога данная, естественная, но и постоянно благословляемая свыше сила на обуздание природного хаоса, природной неправды; поэтому Церковь потонула бы в миру, если бы с мира были сняты оковы, налагаемые на него властью (!). Отсюда для м. Антония вытекает тезис, который по-существу ужасает своим неверием в Церковь, который определяет все церковно-политическое мировоззрение м. Антония — а именно его глубокое убеждение, что Церковь *нуждается* для своего мирного и плодотворного развития *в монархии*. Но м. Антоний слишком глубоко и горестно перестрадал тот плен Церкви государству, какой был при нашей монархии. Поэтому искренно и непоколебимо защищая идею монархии, м. Антоний столь же твердо стоит за свободу Церкви, за соборное ее управление, за патриаршество. Возрождение патриаршества на Руси есть по-преимуществу заслуга м. Антония, неутомимо защищавшего эту идею в течение нескольких десятилетий.

М. Антоний более смел и даже радикален в церковных вопросах, чем это про него думают. Он никогда бы не мог, если бы стал патриархом, получить тот ореол чистоты и правды, который привлекали привлекает русские сердца к образу патр. Тихона, но в смысле уступок большевикам и

даже всего того, что ныне делает митр. Сергий, м. Антоний мог бы пойти даже дальше и смелее. Он до известной степени воспитатель всего русского епископата, умевший замечать огонь в душах тех, кто уходил в монашество — его действительно чтут и глубоко ценят почти все русские (да и не одни русские) епископы. И вместе с тем именно в силу своей глубины и цельности м. Антоний был и остается самой роковой фигурой в русском епископате — не столько даже в силу его назойливой и неумной “политики”, его игры с разными монархистами (которых, впрочем, он видит насквозь и совершенно не уважает!), а в силу его общего принципиального неумения, фатальной неспособности понять то, что если Церковь лишь уходя от мира может быть верной Христу, то этим она неизбежно отдает мир во власть Сатане, отрекается от своей спасительной задачи в мире. Односторонность понимания христианства, как она проявила себя в нашем монашестве (хотя, конечно, монашество не покрывается этим моментом, оно глубже и религиозно *действительнее* его), есть роковая и страшная “ересь чувства”, говоря термином Хомякова, ересь в исходной установке. Ничто так не иссушало и не губило Церковь, как отрешенный и отворачивающийся <ся> от жизни, а потому и односторонний, и болезненный, и *неправедный* мистицизм. Роковое значение усваиваю я м. Антонию именно как наиболее яркому и одаренному, наиболее глубокому и влиятельному представителю такого одностороннего, внежизненного понимания христианства. Вся неправда этого направления в Церкви, помимо чисто догматического искажения, которым оно страдает, обнаруживается в том, что, отворачиваясь (по- существу) от жизни, оно неизбежно утеривает основную христианскую стихию любви, не может любовно и светло глядеть на мир, а полно презрения, злобы, осуждения. *Неблагостность* душевного типа, здесь создающаяся, есть решающее свидетельство его неистинности.

Я не хочу винить митр. Антония — он не был выше своего времени, он отдал лучшие силы своей богатой и разносторонней души на то, чтобы максимально возвысить то направление, в котором, вслед за эпохой, видел “суть” христианства — и, конечно, не понял, не восчувствовал того, куда должна идти христианская сила... Из всего сказанного единственно и можно понять странный, почти мозаичный, если угодно — *гротескный* склад личности митр. Антония. С одной стороны, он на редкость бескорыстный и добрый, отзывчивый и сердечный человек. Особой любовью его всегда пользовалась молодежь — и даже в последние

годы его одряхления он по-прежнему ее любит и сердечно ласков с молодежью. Он тонок и умен, имеет поразительную память, прямодушен и не лукав, глубоко религиозен и даже мистичен. А в то же время он невыносимо циничен в своих речах, *ни о ком не скажет доброго слова* (это мучительное для собеседника свойство митр. Антония; я лично много раз был доводим им до невыразимой тоски...), часто груб, неприличен в своих суждениях, бестактен и невыносим в своих беседах. И все это — и положительное, и отрицательное — живет вместе; противоречий у митр. Антония так много, что порой возникает вопрос — да где же он “настоящий”? У меня всегда было впечатление, что у митр. Антония не только перестали действовать (ко времени, когда я его знал) задерживающие центры, но что у него вообще ослабела или недостаточно развилась та сила логического мышления, которая, помимо нашей воли, ведет к единству в мысли. Впечатление какой-то богатой *руды*, в которой драгоценный слой быстро сменяется низким и ненужным, над которой никакая сила не возвышается, чтобы отделить ценное от ненужного — вот что всегда чувствовал я в митр. Антонии. И еще одна существенная черта (по крайней мере, для того времени, когда я знал митр. Антония) должна быть здесь отмечена. Митр. Антоний был, по видимому, всегда очень доверчив и очень легко поддавался чужому влиянию. Мрачная фигура Махараблидзе, который вертел митр. Антонием, как игрушкой, подсказывал ему, что надо говорить и делать, как-то странно стояла долгие годы рядом с митр. Антонием, — который в то же время, как мне кажется, всегда был *низкого* мнения о Махараблидзе, но считал его дельцом и потому терпел его возле себя и даже подчинялся ему.

Перейду к другой яркой фигуре — митр. Евлогию. Еще до знакомства личного с митр. Евлогием я знал о нем немало со стороны его школьного товарища проф. Кудрявцева, который был всегда (говорю о времени после 1906-1907 г.) *недоброжелательным* к митр. Евлогию, считая его карьеристом, продавшим себя правым ради карьеры, вообще лишенным нравственной стойкости. Еще в 1926 г. проф. Экземплярский, тоже хорошо знавший — с детства — митр. Евлогия, сам человек кристальной чистоты и честности, бывши в Праге, куда он приезжал на месяц из Сов<етской> России, говорил мне раз — как Вы можете верить митр. Евлогию? Сколько бы хороших вещей он теперь ни делал — а я должен признать, говорил Э<кземплярский>, что митр. Евлогий действительно ведет себя достойно и умно — все равно верить ему нельзя. Если жизнь

поставит его перед альтернативой выбирать между правдой и выгодой — он не устоит... Это резкое мнение я никогда не разделял, но деятельность митр. Евлогия в Государственной Думе, в Галиции (я судил, конечно, на основании тех сведений, какие я слышал от других) вызывала у меня и недоверие, и даже антипатию. Первые мои встречи с архиеп. (тогда) Евлогием, когда я уже стал Министром, убеждали меня в том, что это очень умный и глубокий человек, но все же “лукавый царедворец“, на которого положиться нельзя. Впечатление доброты и мягкости, какого-то личного очарования уже тогда ясно определились у меня — и тем холоднее выдвигал рассудок отмеченные неприятные черты.

Уже в эмиграции я стал очень близко к митр. Евлогию и думаю, что знаю его довольно хорошо. То недоверие, которое у меня сложилось, смягчилось, но все же *не рассеялось*, — но оно в то же время совершенно потонуло в живом впечатлении от редких свойств митр. Евлогия — от широты его понимания, от светлой силы его духовного зрения, умения быстро и правильно схватывать самую суть вещей, от его благодности, постоянного и искреннего желания мира и наконец от неожиданных, но глубоких и твердых проявлений в нем *творческой воли* — которая сделала митр. Евлогия не только исключительным, но и единственным русским иерархом, понимающим современность и стремящимся по мере сил идти ей навстречу. На моих глазах митр. Евлогий сделался *одним из крупнейших* деятелей русской церковной истории — не только умным и смелым, не только глубоким, но и творческим. Нужно знать в подробностях все, что делал и делает митр. Евлогий в сфере междухристианских связей, в Богословском Институте, в отношении его к Рус<скому> Хр<истианскому> Студ<енческому> Движению, чтобы признать митр. Евлогия не только достойнейшим из иерархов, но и настоящим украшением русской Церкви. Если бы к прекрасным свойствам митр. Евлогия присоединилась бы крепкая воля, то это еще больше, конечно, увеличило бы историческое значение его.

Последнюю характеристику свою хочу посвятить митр. Платону. Талантливый, тонкий, умный митр. Платон стал мне ближе известен с 1917 года, — но это были уже годы редких вспышек его таланта и все усиливающихся проявлений тяжелых свойств — мелкого эгоизма, кажется, большого корыстолюбия (общий голос говорил об этом) и абсолютной небрежности к интересам Церкви. Еп. Феофил, занимавший место викария митр. Платона в Чикаго, один

из замечательнейших русских архиереев, каких я встречал, в откровенной беседе со мной очень горько, с большой обидой жаловался на то, что митр. Платон ничего не делает для огромной, переживающей большой духовный и организационный кризис Американской Церкви, что все попытки подвинуть на какие-либо мероприятия разбиваются о решительное нежелание митр. Платона думать об интересах Церкви. Он стремится только удержаться на своем посту (против него борются в Америке “карловчане” и советские обновленцы) — и на это одно у него еще осталось сил. Но он мог не работать сам, мог бы дать простор работать другим... — но не хочет. Боюсь, что у него есть опасение, что еп. Феофил, весьма популярный в разных кругах, может стать соперником его...

Эти три портрета скорбно глядят на нас. Кроме одного митр. Евлогия нет никого в русской иерархии, кто понимал бы запросы времени и умел бы идти навстречу нуждам Церкви. Великий критический период проходит русская православная Церковь — и в свете всего того, что вижу я и наблюдаю в церковной жизни за последние годы — те замыслы и планы, которые я лелеял, став Министром Исповеданий, и о которых я лишь частично рассказал в настоящих мемуарах, кажутся мне и ныне верным и отвечающим интересам Церкви, ее основным проблемам, которые перед ней поставила история.

## Часть II.

### Русско-украинская проблема в ее существе и пути ее разрешения.

#### Глава I.

##### *Русско-украинская проблема.*

Русско-украинский спор исторически достаточно “стар”, но в той форме, в какой он предстает ныне, он возникает лишь в XIX в. В XVIII в. закончилось самостоятельное существование Украины (если только можно то, что происходило в течение двух столетий — XVI-XVII — серьезно называть “самостоятельным” существованием Украины *как государства*) — и что бы ни утверждали украинские историки (из которых я больше всего считаю с Липинским, написавшим замечательную работу о Переяславском договоре) — 1654 г. положил конец существованию Украины, которая вошла в состав Московского царства *и тем положила начало всей России* в том новом ее смысле, который обычно (и удачно) называют периодом “императорской” России. XVIII век был тусклым в истории украинской культуры, — но он был тусклым и в истории России, хотя и очень плодотворным. Но XIX век, положивший начало самостоятельной и оригинальной русской культуры, не только не поглотил украинской культуры (чего было бы, с внешней точки зрения, естественно ожидать), а наоборот, как-то глубоко оплодотворил украинский гений. Украина отдавала своих лучших сынов России, тем *создавала* Россию — и прав Липинский, что не должно отрекаться украинцам своих прав на Россию, которая создана не одними великороссами, но и украинцами. Но, отдавая свои лучшие силы России, Украина не умирала, а наоборот, расцветала в своем своеобразии. Чрезвычайно любопытно следить за силой и жизненностью украинской стихии в Гоголе, который, отдав себя целиком России, войдя в историю русской культуры как один из важнейших ее деятелей, *все время хранил любовь к Украине, ее фольклору и столько страниц посвятил в своих произведениях украинской природе, украинской старине.* Но не один Гоголь жил, отдав себя России и Украине, — целая плеяда молодых талантов были такими же, как Гоголь. Не искусственно, не во имя отвлеченного принципа или оппозиции, а естественно, *скорее скромно*, чем выдвигая себя вперед, робко и стыдливо, но неизменно росло и крепло *украинское сознание.* Вот факт, которого никакая история зачеркнуть не может, не может его ослабить, наоборот, должна взять его во всей истори-



ческой данности и *его культурно-политической проблематике*. Естественным ростом украинского сознания *не за счет вовсе России*, а именно в связи с ее ростом — перед политической и культурной мыслью ставилась серьезнейшая проблема культурного дуализма. Правда, вся Россия еще не знала политической жизни — а поскольку узнавала, то увы в форме подполья и заговоров. Украинское движение пострадало и в силу общерусских условий, но особенно пострадало оно благодаря соседству с Польшей. Такая уж горькая историческая доля выпала на Украину — страдать и от собственных грехов, и от чужих. Польские восстания, исторически неизбежные и оправданные для Польши, увенчавшиеся в конце концов созданием уже в наши дни польского государства, ложились и на Украину тяжким ярмом, не суля однако ничего в будущем. Все украинское бралось под подозрение и угнеталось... Я уже говорил в начале о разных ступенях в развитии украинской проблемы, о роли Австрии в создании питомника антирусского украинского движения.

Факт, с которым русская революция встретила украинскую проблему, в основном и существенном сводится к тому, что украинское сознание в своем развитии *как-будто органически* включает антирусскую установку; столь же основным фактом является та отравка русского сознания, которая явилась в итоге гонений на украинство и которая раздавила былые братские чувства и у русских: за *“культурную свободу”* Украины у нас стояли и стоят лишь те, кого к этому обязывают их общие принципы — *живого императива, непосредственного ощущения реальности исторической силы украинской культуры* нет и у левых русских кругов. Ничто так не затрудняет русско-украинское объединение, как это духовное равнодушие к Украине у русских, расценка ими украинской культуры как чего-то глубоко провинциального. Я готов сказать даже резче — в *глубине* украинского сознания сохранилось до сих пор влечение к России, — если сбросить все то, что исторически какой-то плесенью оседало в украинской душе, если побратски подойти к украинцам — вы легко вызовете то, что живет в глубине души — *искреннюю любовь к России, некую неотменимость темы о России в украинской душе*. Замечательнейший, наводящий на глубокие историософские размышления парадокс в украинской душе (говорю, конечно, о тех, кто вырос в России) состоит в том, что они *любят Россию* в глубине души даже тогда, когда искренно и глубоко отталкиваются от нее в верхних слоях души. Ведь любовь к России в украинской душе — *любовь без*

*взаимности*, и вся горечь неразделенного чувства, вся тревожная и мучительная острота положения оборачивается тем, что энергия любви к России в процессе подсознательного сдвига уходит в ненависть. Ведь так и в диалектике индивидуальной любви, ненавидят часто *только потому, что любят*, ненавидят потому, что любовь не имеет возможности расцвести и проявить себя. Надо до самой глубины понять и почувствовать это парадоксальное положение в украинской душе, чтобы стать лицом к лицу к основным фактам, мимо которых не может проходить политическая мысль, серьезно глядящая в проблемы будущей России.

Совсем иначе в русской душе! Украина может быть мила, забавна, любопытна, но в русской душе нет ни братского чувства, ни братского интереса к Украине. Роль Украины в истории России так забыта, что нужно было бы немало специальных исследований, чтобы внедрить в русское сознание отчетливое понимание того, что такое украинский гений.

Ужасно мешало и мешает правильному пониманию положения вещей то обстоятельство, что русско-украинский вопрос сближает вообще с так наз. национальным вопросом в России. Внешне это, конечно, правильно — и такая книга, как книга Станкевича “Народы России” как бы совершенно оправдывает постановку вопроса об Украине рядом с вопросом о Латвии, Эстонии и т. д. Между тем это *совершенно неверная* постановка вопроса ни в его существе, ни в его истории. Москва и Украина были и остаются *родными* по самому происхождению и еще более родными по общей истории, и самое главное — по общей вере. Для русской души, глубоко религиозной донныне, последнее обстоятельство имеет совершенно исключительное значение. Ведь Киев для русских такой же русский город, как для украинцев он украинский, и обе стороны здесь правы, ибо Киев не есть ни русский, ни украинский, а русско-украинский город, в живом сочетании объединивший обе стихии. Конечно, внешнее угнетение украинской культуры совершенно аналогично тем преследованиям, каким подвергалась, напр., Латвия — но насколько различны внутренние причины и действующие силы этих преследований! В истории угнетения Латвии колоссальную роль играли все время немцы (хорошо известно, как поплатился за раскрытие этого юный Самарин, когда он впервые столкнулся с этим фактом), — но украинцев преследовали именно специфически за стремление к обособлению, как за преступление против России *quand teme*. Не здесь ли таится ключ к

тому, что украинское сознание как таковое мыслит себя органически связанным с антирусским настроением? Что фактически там мало людей типа Н. П. Василенко, В. П. Науменко? Не странно ли, что даже у Богдана Кистяковского (между прочим, редактора сочинений Драгоманова) были элементы “самостийничества”? Что чаще всего (до 90 %) украинцы встречаются либо с доминирующим русским сознанием (при полном выветривании украинского), или с доминирующим украинским сознанием (при враждебности к России)? Потому я и считаю оправданной свою формулу, выражающую, по-моему мнению, самую сердцевину украинской проблемы: *надо спасти Украину для России*, надо достичь того, чтобы не по внешним политическим или иным соображениям украинцы шли на федерацию с Россией, не со вздохом, как вздыхают люди перед лицом неотвратимой неизбежности, не с горечью от исторической неудачи в замысле *своей* державности — а так, чтобы они чувствовали себя богаче, полнее и *свободнее*, более способными к творчеству в союзе с Россией. Теперь принято — и на мой взгляд справедливо — противопоставлять французскую колонизацию, при которой колонии чувствуют себя обогащенными, английской (в первой стадии колонизации, до получения свободы путем борьбы), при которой колонии ненавидят англичан. Вот и русско-украинская проблема может быть сформулирована так в соответствии с этими двумя типами колонизации: необходимо добиться того, чтобы украинцы, будучи подлинными украинцами (а не теми надуманными и ходульными, которых хочет нам выдвинуть в лице “малороссов” Вас. Вит. Шульгин), признавали себя *и русскими*, не отрекались бы от России, а любили и гордились ей.

Не является ли однако это все простым политическим сентиментализмом? Может быть, только думаю, что ни малой доли сентиментализма здесь нет, а есть лишь настоящий политический *реализм*? Я не верю в те соединения народов, при которых один народ оказывается угнетенным другом, втайне мечтает о свободе и независимости. Как тирания внутри государства не может быть прочной и надежной базой политического строя, так и угнетение целого народа не может дать надежной основы для государственного единства. Украина слишком выросла, слишком созрела в своем национальном сознании, чтобы можно было не считаться с фактом особой украинской культуры. В том и заключается здесь политическая проблема — возможно ли, при созревшем национальном сознании, вольно и глубоко сознавать себя принадлежащим и к другому целому (более

широкому) целому — да не только сознавать, но и дорожить этим? Говоря иначе — разрешима ли поставленная проблема так, чтобы при зрелом и углубленном украинском сознании было в то же время и сознание себя русским? Признаем аргіогі, что *если бы* это было возможно, это дало бы единственное исторически ценное и плодотворное решение вопроса, — иначе говоря, признаем это пока как абстрактное, но зато и полное и настоящее решение русско-украинского вопроса. Я думаю, что в такой (пока априорной) постановке вопроса все согласятся, что при наличности такого своеобразного *двойственного национального сознания* было бы найдено необходимое равновесие. Признаем еще одно, что тоже аргіогі может быть принято: что *только такое* решение вопроса может быть названо настоящим и плодотворным решением. Ведь всякое *иное* означало бы или 1) насильственное сохранение связи украинцев с русскими или 2) ослабление у украинцев их национального сознания. Не отрицая возможности и такого вырождения, если бы это случилось, *это было бы огромным несчастьем для России*, ибо это означало бы угасание той творческой силы в украинском гении, которая так много дала России. Ведь развитие украинского сознания совсем не есть “выдумка” австрийцев, которые вообще лишь с 80-х годов прошлого столетия впервые задумались над украинским вопросом, — а есть совершенно органический процесс, глубочайше связанный с ростом самой России, как это было уже указано выше.

Теоретики национального вопроса создали учение, ныне проводимое в жизнь, о национально-культурной автономии. Многое из того, что здесь дала теория и практика, ценно и в нашем вопросе, но следует иметь в виду, что при национально-культурной автономии мы не имеем двойного национального сознания, а имеем национальное сознание (связанное с национально-культурной автономией) и *государственное* сознание (относимое к тому целому, в пределах которого действует данная национально-культурная автономия). Гораздо ближе подходил бы к нашему вопросу пример Швейцарии, где мы действительно имеем дело с прочным и исторически очень окрепшим двойственным национальным сознанием. Каждый швейцарец сознает себя прежде всего именно швейцарцем, а затем у него есть сознание своей принадлежности к французскому, или немецкому, или итальянскому национальному целому. Но пример Швейцарии, хотя он уже открывает новые перспективы и в нашем вопросе, тоже не вполне подходит для нас, так как в Швейцарии три языковых группы взаимно рав-

ноправны и различны по удельному весу не внутри Швейцарии, а вне ее. Между тем в русско-украинском вопросе самым больным для украинского сознания является то, что Украина является младшим и притом исторически обездоленным братом. Великороссия слилась с понятием России и поэтому ее положение неодинаковое с Украиной, для украинского сознания всегда является больным, задевающим самые нежные движения в национальном самочувствии то положение, что великоросс во всем отождествляет себя с Россией, тогда как украинец в своем украинстве обособляет от России. Швейцарец-француз находится, по-существу, внутри Швейцарии в таком же положении, как и швейцарец-немец, и швейцарец-итальянец — и именно этого условия, которое обеспечило Швейцарии простоту в разрешении национальной проблемы, нет налицо в русско-украинской проблеме.

Дело идет о какой-то новой двойственности национального сознания, причем вся тяжесть выработки этого нового сознания ложится *только на украинцев*, которым не только дана более тяжкая историческая доля, но от которых требуется какой-то небывалый духовный труд. Не является ли поэтому весь замысел, здесь развиваемый, чистейшей, решительно неосуществимой утопией? Я не думаю этого — просто потому, что XIX век дал нам много образцов такой естественно возникающей двойственности национального сознания. Я вовсе не хочу Гоголя возводить в какой-то идеал, знаю хорошо, что современные украинцы никак не могут простить Гоголю того, что он “ушел” в Россию, — и все же должен констатировать, что как тип Гоголь вовсе не является единственным, что и в наши дни такой психологический тип возможен. Та украинская группа федералистов, о начале формирования которой я рассказал выше, почти сплошь состояла из людей такого двойственного национального сознания. Я не считаю поэтому фикцией или утопией идею, которую здесь развиваю, хотя и сознаю все практические трудности в осуществлении и историческом упрочении указанного типа. О практических путях к осуществлению такого решения русско-украинского вопроса поговорим ниже, а теперь обратимся еще к существу дела.

Если предположить, что жизнь даст выход тому типу двойственного национального сознания, о котором идет сейчас речь, то каковы должны быть исторические предпосылки его жизненного влияния и творческого действия?

Общим принципом, который должен определить тот строй, при котором Украина свободно и творчески остава-

лась бы в составе России, должна быть *реальная* свобода в развитии украинской культуры. Ударение делаю я на слове *реальная* свобода. Дело идет не о формальной свободе, ибо нормальное развитие украинской жизни было настолько стеснено во второй половине XIX века и до революции в XX в., что необходима особая забота со стороны власти о развитии украинского культурного творчества. И дело идет не только о денежной сугубой поддержке культурных начинаний украинской интеллигенции, а о создании ряда таких учреждений, каким был, напр., Ученый Комитет при Министерстве Исповеданий, отчасти комиссия по высшей школе при Министерстве Нар<одного> Просвещения. Такие специальные комитеты содействия развитию украинской культуры, концентрируя всех выдающихся деятелей в определенной области, должны были бы охранять украинскую культуру от тех поспешных и по-существу вредных и ядовитых начинаний, которые в таком изобилии проявились за годы революции. Все поспешные и недостаточно продуманные начинания не только дискредитируют дело украинской культуры, но и просто способны оттолкнуть от нее живые и творческие силы народа. *Реальная* свобода для развития украинской культуры должна быть охраняема и осуществляема теми, кто искренно любит и верит в украинскую культуру и кто в то же время свободен от стремления к дешевым, чисто театральным эффектам. Украина должна чувствовать, что ей действительно открывается дорога для продуктивного движения вперед.

Но это неизбежно выдвигает и другой существенный момент — *свободу языковую*, т. е. признание украинского языка за государственный. При включенности Украины в состав России, при признании общегосударственным языком русского языка это привело бы к установлению *государственного двуязычия*. Я не знаю, нужно ли расширять значение этого принципа для других “областей” России, но для Украины во всяком случае это необходимо. Соответственно этому и школы, содержимые за счет государства и местных самоуправлений, должны включать в качестве обязательных *оба* государственных языка — русский и украинский. Господство того или иного языка (при преподавании общих предметов) должно определяться составом населения, — но там, где русский язык лежит в основе преподавания, должны быть обязательны уроки украинского языка и литературы, там, где украинский язык лежит в основе преподавания, должны быть обязательны уроки русского языка и литературы.

Самый трудный вопрос в затронутой нами теме о пред-

посылках того строя в отношении России и Украины, который мы считаем единственно разрешающим русско-украинский вопрос — это вопрос о *политической* стороне. О том, что система конфедерации не может быть здесь применима, не буду распространяться: если с точки зрения Украины это вполне допустимая (а для многих и желательная и, может быть, даже единственно приемлемая) форма связи Украины со всей Россией, то для России это немыслимо и совершенно непроводимо. Вопрос может идти только о том, что разумнее и исторически продуктивнее — система автономии или федеративных отношений. Дело идет не о частностях, ибо между автономией и федеративной системой нет отношения низшей и высшей ступени: система автономии легко может быть выше в частных своих положениях федеративной системы, как и наоборот. Иначе говоря — развитие местной культуры, реальное обеспечение свободы для нее не связано с *принципиальным различием автономии или федеративной системы*, а всецело связано с подробностями в законодательстве, одинаково осуществимыми в обеих системах. Различие этих двух систем сводится к вопросу *об участии в центральном правительстве*: при автономии отдельные области не принимают никакого участия в центральном правительстве, связь с которым поддерживается особым лицом, назначаемым из центра (самый типичный образец этого мы имеем в управлении английскими доминионами), при федеративном строе центральное правительство слагается из представителей от отдельных “областных” единиц. С точки зрения развития *украинской* жизни следовало бы, конечно, предпочесть систему автономии, а с точки зрения интересов *России* необходимо ввести систему федерации. Вот какие соображения побуждают меня к такому выводу.

Система автономии *освобождает от ответственности за государственное целое*, дает полную возможность всецело уйти в свою местную жизнь, если угодно — обособиться в ней. При громадных размерах России, при сложности международной обстановки, при запутанности политических, экономических, духовных проблем современности — насколько “выгоднее” для Украины в годы своего национального возрождения стоять в стороне от большой дороги русской истории и всецело уйти в строительство украинской культуры. Под охраной большого государства, пользуясь всеми ценными сторонами этого, жила бы украинская “провинция” тем, что одно ей уделено историей: ведь о политической полной свободе, т. е. о независимости и самостоятельности нечего говорить. Поэтому пусть те, у

кого есть политический зуд, уходят в общероссийскую жизнь — и это питание России украинскими силами не только естественно и неизбежно, но и желательно с украинской точки зрения, а для Украины как таковой оставалась бы, тихая, но плодотворная, свободная от текущего политического дня и тем более творческая жизнь как “провинции”.

Но в такой системе обособления как раз и таится та опасность, которой избежать в интересах России. Связь Украины и России не должна быть только “внутренней”, “подпольной”, так сказать, и потому не воспитывающей чувства исторической ответственности Украины за Россию. Именно это чувство активного творческого участия, чувство ответственности за судьбы России нужно всячески воспитывать, чтобы стала реальной, а не пустой, не словесной чисто та двойственность национального сознания, о которой выше шла речь. Надо бояться того, — как было уже сказано выше — чтобы в украинском сознании вся сила национального вдохновения отдавалась бы этой Украине, а принадлежность к России определяла бы лишь “государственное сознание”. Я уже говорил, что вся эта система национально-культурной автономии не годится для Украины потому, что она усиливает обособление от России, создает чисто внешнее восприятие связи с Россией, т. е. разрушает то, что нужно созидать. Кровная связь с Россией не может ощущаться, если Украина будет “автономией”, — пример Финляндии, которая, по совести говоря, кроме последних 20 лет до революции не знала притеснений и имела то, чего не имела вся Россия, убедительно говорит об этом. Уж если ставить серьезно вопрос об укреплении внутренней связи Украины и России, о развитии упомянутой выше “двойственности национального сознания”, то совершенно необходимо, по моему пониманию, создание федеративной связи Украины и России. Только при таком решении политической проблемы Украины возможно развитие и укрепление связи Украины со всей Россией — участие в центральном правительстве создает неизбежно и чувство ответственности за судьбы России вообще — и творческое устремление живых сил к строительству России.

Конечно, необходимо признать, что введение федеративной связи для Украины в отношении к России в целом включает в себе огромные трудности, которые иной раз кажутся прямо неразрешимыми. Ведь только “окраины” России (Кавказ, Украина — не говоря о лимитрофах, политическая судьба которых стоит под большим вопросом) могут выдвигать начало федерации — а вся огромная Россия на-



столько политически однородна, — те отдельные народности, которые в ней живут, так мало могут претендовать (несмотря напр. на все старания большевиков вызвать к жизни разные национальные республики) на самостоятельное (в пределах даже федерации) бытие, — что получается крайняя неравномерность, нарушающая самую структуру в федерации: огромная (основная и политическая цельная) часть России, с одной стороны, и Украина, Кавказ, с другой (лимитрофы, б <ыть> м <ожет>), образующие меньше 1/5 всей остальной России. Очень трудно в таких условиях конструировать федеративную систему — или нужно несоответственно “раздуть” долю участия частей, федеративно построенных, с остальным массивом России, не построенным федеративно, — или же доля участия напр. Украины будет так мала, так ничтожна, что творческого простора она не может открыть, что чувства ответственности развить она не может. Украина будет — *sit venia verbo* — плестись в хвосте огромной России, как маленькая лодочка, привязанная к большому кораблю, — что ценного это может дать. Правда, доля участия в федеративном центральном управлении может определяться не территорией, а количеством народонаселения. Украина, территориально будучи “малой Россией”, по количеству населения — как бы скромно ни определять размера Украины — составляет очень значительную часть всего населения России (уж никак не менее 1/8). Это вносит значительную поправку в проблему федеративного устройства России, но территориальный момент не может быть тоже игнорируемым. Не годится ли тогда для России такое искусственное разделение на политические единицы, какое мы напр. находим в С <еверо-> Американских Соединенных Штатах? Если наделить всю Россию, руководствуясь различными признаками (по их совокупности), на области, то получится возможность федерального парламента. Да, это уж есть решение вопроса — но признаем: все же неудовлетворительное — ибо есть чрезвычайно существенная удельная неравномерность между “штатом”, скажем, Самаро-Саратовским — и Украиной! То, что выше говорилось об *особом* участии Украины в жизни России, как родного и “равночестного” “младшего” брата Москвы не должно быть забываемо.

Все эти затруднения, возникающие при введении в жизнь федеративной системы, подчеркивают ее не только сложность, но быть может некоторую *надуманность*. Элементы доктринерства, столь опасного всегда для живой политической работы, не входят ли в самый замысел федеративного связывания Украины и России?

Я признаю всю основательность и всю серьезность этих сомнений, признаю всю трудность “естественного”, т. е. вытекающего из исторических и иных предпосылок решения вопроса о форме политической связи Украины и России, — и все же по-прежнему стою за применение сюда принципа федерации. Уже тогда, когда я был министром и особенно живо и интенсивно размышлял на темы русско-украинского сближения, у меня сложилось убеждение, что только в федеративном принципе может быть найдена основа для правильного, исторически плодотворного развития отношений Украины и России. За годы, прошедшие после моего министерского служения (уже почти 13 лет) это убеждение не только не ослабело у меня, а наоборот, стало еще тверже и определеннее. Здесь совсем не место выдвигать те или иные дополнительные мотивы и построения, с помощью которых, как мне кажется, могут быть парализованы различные трудности в построении федеративной системы. Достаточно сказать, что *только при ней* можно серьезно говорить о таком срастании Украины и России, которое, обеспечивая для Украины свободу ее национально-культурного развития, в то же время укрепляло бы и углубляло бы связь Украины и России и содействовало тому оформлению и развитию русско-украинской близости, которое, в соответствии с тем, что уже дал нам XIX и XX век, вело бы к прочному и исторически ценному выражению и углублению двойственного (русско-украинского) национального сознания.

## Глава II.

### *Пути разрешения русско-украинской проблемы. Вопросы об Украинском Учредительном Собрании.*

В этой последней главе мне хотелось бы коснуться вопроса чисто практического, стоящего в глубокой связи с тем, что было сказано выше — и вместе с тем очень актуального по тому значению, какое оно имеет в современном украинском политическом сознании — вопроса об Украинском Учредительном Собрании, о его необходимости и возможности, о его целесообразности и его значении с различных точек зрения. Вопрос этот вовсе не надуман, наоборот, мы найдем его во всех украинских политических чаяниях. Для политической украинской интеллигенции, даже готовой идти на федеративную связь с Россией, быть может, готовой перейти к системе автономии, этот вопрос является *conditio sine qua non*. Украина, в лице своей политической интеллигенции, хочет непременно иметь свое Учредительное Собрание — отдавая ему в руки право решить судьбу Украины. Как бы ни склонялась украинская политическая мысль перед суровыми данными действительности, но она глубоко и повелительно чувствует, что не имеет права сказать ни “да”, ни “нет” любому строю Украины — не получив голосования правильно избранных представителей Украины. Здесь не утопия “*volonte generale*”, не миф о “*vox populi*”, а просто неотвратимое сознание, что огромную, веками выдвинутую проблему Украины как целого не вправе решить никакие конгрессы политических партий. Сама Украина, в лице своих представителей, свободно и трезво должна решить свою судьбу — и перед волей народа должна будет склониться всякая ответственная политическая мысль. Можно, конечно, вовсе не спрашивать свободного мнения Украины, можно простым путем принуждения заставить ее принять тот или иной режим — это разумеется можно. Но тогда невозможно не только рассчитывать на “сближение” России и Украины, но даже на простое сотрудничество с украинской интеллигенцией. Ей, быть может, и придется подчиниться — но только для того, чтобы уйти в подполье и готовить восстание...

Необходимо считаться с этой политической психологией украинской интеллигенции. Насколько я ее понимаю, она совсем не есть “выдумка”, игра или фанатическая одержимость — она уходит своими корнями очень глубоко в особое чувство, которым так богата украинская интеллигенция — чувство неразрывной связи с народом. Украинская интеллигенция не оторвана от своего народа, как это мы

видим в российской интеллигенции, и ее близость к народу сделала невозможным и ненужным что-либо аналогичное российскому народничеству, — по той простой причине, что “народнической” украинская интеллигенция всегда была по самому существу своему, по особенностям своей социальной истории. Без народа, без его голоса политическая украинская интеллигенция — кроме политических шарлатанов — никогда не возьмется решать основной вопрос об Украине, об ее дальнейшем существовании. Обращение к народу — хотя бы и не в форме учредительного собрания — совершенно и категорически обязательно для нее. Хорошо ли это или плохо, но это так, — я утверждаю всю реальность и значительность этого тезиса со всей настойчивостью и серьезностью. Насколько я знаю психологию украинской интеллигенции, я категорически утверждаю свой тезис.

Но обращение к народу не может быть допущено в форме референдума, как это теперь — после Версальского мира — стало модным. Необходимо гласное обсуждение всех основных сторон в русско-украинском вопросе — и не только для того, чтобы дать “выговориться”, но гораздо больше для того, чтобы дать диалектическую возможность найти решение, которое разумно и трезво взвесит все моменты в вопросе, учтет все различные течения. Всякий парламент, созданный для этой цели, неизбежно станет “учредительным собранием”, ибо от его свободной воли будет зависеть утверждение или отклонение связи с Россией, формулирование той или иной системы, в которую эта связь будет приведена. Многих пугает или отталкивает самое слово “учредительное собрание”, с которым у многих связана тяжелая ассоциация. Но что делать — иного способа узнать “волю народа” — если вообще хотеть ее узнать, как только дать свободу парламенту высказаться по существу вопроса, т. е. усвоив ему учредительные функции, невозможно.

Но Учредительное Собрание должно предшествовать определению взаимных отношений Украины и России — а до тех пор какой же должен быть режим на Украине? Она должна оставаться самостоятельной? Но если так, то есть ли гарантия, что те власти, которые будут управлять Украиной, дадут свободу Учредительному Собранию выразить голос народа, что не будет обычного давления на избирателей? Жизнь не решит ли вопроса — или, по крайней мере, не заострит ли его раньше, чем Учредительное Собрание выразит волю украинского народа? Ведь если Украиной, по ходу событий, будет управлять общероссийская власть, то

не будут ли украинцы заранее опорачивать и бойкотировать Учредительное Собрание, созданное под покровительством общероссийской власти? Ведь те или иные злоупотребления и ошибки, даже при самом искреннем желании центральной власти всегда возможны на местах? Не является ли поэтому идея учредительного собрания простой идиллической мечтой, неосуществимой в наше "военно-полевое время"?

Одновременно возникает вопрос: если предоставить Украинскому Учредительному Собранию решить вопрос о формах отношений к России, то почему это определение должно быть односторонним? Почему нужен голос одной Украины и не должен быть спрошен голос России? Ведь, если серьезно относиться к идее Украинского Учредительного Собрания, то надо быть готовым к тому, что это Учредительное Собрание объявит не федерацию и даже конфедерацию с Россией, а просто провозгласит Украину суверенным, независимым государством, которое с Россией вступит как с соседкой в такие же договорные отношения, как и с Польшей и Румынией и т. д. Возможность такого решения не только не исключена, а наоборот, довольно даже вероятна — как в виду прямых заявлений украинских партий, действующих ныне, так и потому, что идее "суверенной Украины" так "серьезно" сочувствует Германия, быть может, Чехия, быть может, Румыния и даже Англия и Франция. Как же русскому политическому сознанию идти на Учредительное Собрание, стоя перед возможностью отрыва Украины от России. Или, объявляя себя сторонником Украинского Учредительного Собрания, русские политические деятели должны заранее оговорить, что это Учредительное Собрание не может вотировать суверенности Украины? Конечно, такая оговорка означала бы превращение самого Учредительного Собрания в комедию: ведь весь же смысл его, даже с русской точки зрения, в свободном волеизъявлении. Нельзя же сказать так: мы не допустим никогда отрыва Украины от России, но даем свободу украинскому народу сказать свое слово лишь об форме его связи с Россией; в случае же, если Учредит. Собрание провозгласит отрыв от России, русские политические течения свободны от всяких обязательств и свободны стоять за те меры, какие они найдут необходимым для восстановления единства Украины и России? Говорить так значит угрожать войной в случае отрыва от России, т. е. не только не способствовать росту мирных и доброжелательных к России чувств на Украине, а наоборот, заострять и ухудшать положение. Вообще можно так формулировать смысл всех тех возраже-

ний, которые только что приведены: идея Учредительного Собрания таит в себе такие неразрешимые трудности, что выбраться из них едва ли будет возможно — и потому лучше отказаться совсем от идеи Украинского Учред. Собрания и помимо него искать способов соглашения с украинской политической интеллигенцией.

Это, конечно, очень легко сказать, но я лично думаю, что это просто нереальный проект. Найти соглашение с украинской политической интеллигенцией или думать ее игнорировать, рассчитывая на то, что народ не с ней — совершенно невозможно: тогда нужно тоже быть готовым к войне и следовать Вас. В. Шульгину с его упрощенной схемой управления Украиной в духе старых генерал-губернаторств. Я вообще готов сказать, что, возможность войны между Россией и Украиной — в форме ли обычной войны или в форме восстания (в случае если Украина силой событий окажется под эгидой общероссийской власти) — чрезвычайно велика. Я не склонен даже очень бояться ее, но при одном условии — если у русских политических партий будет все же готова и мирная программа для Украины — вплоть до Украинского Парламента с учредительными функциями. Это звучит парадоксально и противоречиво — я согласен, но попробую объяснить и выяснить, как я смотрю на пути осуществления той мирной программы русско-украинского сближения, поисками которой мы сейчас заняты.

Русское политическое сознание едва ли будет управлять событиями, из которых сложится — сразу или в несколько этапов — освобождение России от власти от большевизма. События эти будут определяться различными историческими силами, как внутрисоссийского, так и международного характера. При этом возможны два варианта — что в ходе этих событий Украина окажется внутри общерусского целого (при попытках оторваться от нее) или же она оторвется от этого целого и тем вызовет у общерусской власти неизбежность войны за включение Украины в Россию. Весь этот период, конечно, не будет “парламентским” — хотя бы парламент и был налицо; по стилю своему он неизбежно будет военным, если угодно — диктаторским. К этому периоду не может относиться идея Украинского Учредит. Собрания, которое предполагает стабилизацию положения Украины внутри России (иначе ведь ни к чему и предлагать оторвавшейся Украине то, что она и без России сможет осуществить). Иными словами, включение Украины в состав России есть логическая предпосылка лозунга “Украинское Учредит. Собрание” — и потому, что этот ло-

зунг вне этой предпосылки бессмысленен и пуст — и потому, что Россия не может и не должна терять Украину. Украина должна это знать — хотя бы это знание далось ей в итоге кровавой войны; “уступить” Украину кому-нибудь другому (а реальное независимое существование Украины вне России вообще невозможно) Россия не должна — и лозунг Учредит. Собрания, как я выдвигаю его, не имеет ничего общего с пресловутым принципом “самоопределения народностей”. Вопрос о необходимости Украине быть в составе России имеет для России такой категорический и безусловный характер, что просто не может быть и речи о том, чтобы ждать от Учредит. Собрания, захочет ли оно, как Богдан Хмельницкий, соединиться с Россией или нет. Украина должна считаться с тем, что Россия ни за что никому не уступит Украину — как бы ни складывались исторические обстоятельства, какова ни была воля самой Украины. Даже против воли Украины она должна быть в составе России — и это должны твердо и раз навсегда понять украинские политики, если они хотят понимать реальную историческую обстановку. Это не каприз, не “Wille zur Macht” со стороны “Московии” — это суровая и глубокая необходимость, с которой должна считаться украинская политическая мысль. Россия не может быть без Украины — по политическим и экономическим причинам, для нее (России) это суровый императив ее истории, ее судьбы. Тут просто нет вопроса — и как бы ни возмущались этим украинские политические деятели, но перед неотвратимостью этого как раз и должна смириться трезвая и разумная украинская политическая мысль. Если Украине будет угодно воевать с Россией — пусть воюет, — но чего бы России ни стоила война с Украиной, она будет ее вести “до победного конца”. Вопрос, который стоит на очереди, заключается поэтому не в том, быть или не быть Украине в составе России — вопроса здесь нет потому, что это пребывание Украины в составе России есть неотвратимая историческая необходимость; вопрос идет только о том, как ей быть в составе России. Самая неотвратимость пребывания Украины в составе России вовсе не предрешает формы ее вхождения — и со стороны России должно быть все сделано для того, чтобы в этом вопросе (т. е. вопросе о том, в какой форме должна Россия включать в себя Украину) была дана свобода “самоопределения” для украинского народа. Основной темой для Украинского Парламента с учредительными функциями был бы вопрос о выборе между федеративной системой или автономией — и хотя с точки зрения России выгоднее

федеративная система, но она не должна быть навязываема Украине. Политическое сознание Украины должно иметь свободу осознать границы своего самоопределения; зная, что Россия не допустит отрыва от России, политическая мысль Украины должна иметь свободу в диалектическом изживании основных трудностей, связанных с проблемой русско-украинских отношений. Парламенту должна быть дана полная свобода в выявлении и “самостийнических” течений; весь смысл Учредительного Собрания (с русской точки зрения) заключается в том — не найдется ли в украинском политическом сознании достаточно трезвости и выдержки, чтобы понять, что отрыв от России невозможен, что он приведет к жестокой и ненужной борьбе. Ставка на трезвость и рассудительность означает желание со стороны России найти точку опоры в добровольном и трезвом подходе к русско-украинской проблеме, — ибо если этот подход может быть найден, может одержать верх в Учредительном Собрании — тогда откроется возможность не просто мирного, но и творческого соучастия в общей жизни. Русская политическая мысль в лозунге Учредительного Собрания обратилась бы к тем течениям украинским, которые сознают всю реальную историческую обстановку и освободились бы от напрасной и нереализуемой мечты о независимости, — ища в этих течениях отзвука на свой призыв к совместному строению России, как строилась она совместно в XVIII и XIX век.

Но не назовут ли украинские политики такой подход к ним насмешкой и издевательством? К чему говорить о свободе на Украине, раз заранее этой свободе не уделяется места? Если русские с своей стороны предreshают то, что Украине должно оставаться в составе России, не спрашивая об этом самой Украины — какой смысл выдвигать лозунг Учредительного Собрания? Уж если дело идет о насилии, следует ли говорить о свободе — иначе как издевательством не могут звучать такие речи... Я совершенно уверен, что в ответ на лозунг об Учредительном Собрании будут раздаваться такие именно речи со стороны украинских деятелей, весь вопрос в том — не послышатся ли и другие голоса? Если история принуждает Россию к тому, чтобы Украина оставалась в ее составе, если неотвратимая неизбежность этого диктует повелительно твердость и определенность в данном вопросе — то неужели этим исключается возможность братских отношений и братского сотрудничества, возможность призыва разделить ответственность за Россию? Если Украина уклонится от того, чтобы разделить эту ответственность и предпочтет пассивно принять, как акт



насилия, то, что необходимо России, — это, конечно, ее воля, но это будет таким историческим безумием, таким безответственным, скажу резче — предательским актом со стороны политической интеллигенции в отношении к Украине, которого ей никогда не простит история. И долг России до последней возможности искать мирного, свободного соглашения (в пределах, диктуемых суровыми историческими условиями), — этого свободного соглашения и должно добиваться через Учредительное Собрание. Если Украинское Учредительное Собрание вотирует отрыв от России, это будет значить объявление войны России — иного смысла такой вотум не может иметь. Но, помня тяжкое положение украинской политической интеллигенции, Россия должна дать максимальные условия для того, чтобы украинская политическая мысль сама, свободно пришла к неотвратимости, к неизбежности пребывания в составе России и, похоронив нереальную и бесплодную мечту об украинской суверенности, перешла к подлинному вопросу, который перед ней стоит — к вопросу о форме связи с Россией. Пока не угасла надежда, что трезвость и ответственность за судьбы Украины победят романтику и мечтательность в украинском политическом сознании, до тех пор Россия должна мужественно и терпеливо ждать вотума Учредительного Собрания. Обращение к украинскому народу через созыв Украинского Парламента с учредительными функциями с предоставлением ему полной свободы в прениях есть обращение к его историческому инстинкту, есть доверие к его политическому реализму, есть призыв к мирному сотрудничеству и слиянию.

На этом я бросаю свое эскизное изложение тех выводов, к каким я пришел, размышляя о русско-украинской проблеме еще в бытность мою Министром Исповеданий. Мне кажется, что я тогда имел возможность понять украинскую стихию во всей ее глубине — и никогда у меня при этом не исчезала надежда на возможность разумного и свободного, достойного сговора России с Украиной. Я знал и знаю, что на обеих сторонах есть нетерпеливые политики, заменяющие мудрость страстностью, реализм — темпераментом, есть политики, для которых не существует в истории ее указаний, которые не хотят считаться с тем, чтобы устроить взаимные отношения так, чтобы не ронялось ни одной стороной ни достоинство, ни верность своей национальной стихии. Мы — говоря об обеих сторонах — обязаны, после трагических лет большевизма — искать мирного разрешения трудных вопросов, мы должны идти на всевозможные

уступки, поскольку они допускаются историческими условиями, мы должны искать сговора. Союз России и Украины неразрывен — и тщетно было бы [пытаться] разорвать его, но должно всемерно стремиться к тому, чтобы сознание этой “неотвратимости” не принижало и не угнетало более слабой стороны, а выступало лишь как объективная историческая необходимость. В лозунге “Учредительного Собрания” заключено уважение к свободе украинского политического сознания, хотя при этом вовсе не отменяется то, что диктуется историей — ибо не от воли русских политиков зависит изменить суровые итоги истории.

На этом кончаю свою “программу”, которую я вместил в мои записки лишь для того, чтобы до конца договорить то, что в намеках было высказано раньше.

## Заключение.

Мне остается сказать в заключение лишь несколько слов.

Большевизм вошел в историю России не только как разрушительная сила, но и как положительный фактор, ибо только при нем до конца обнажились те проблемы, от неразрешенности которых страдала русская жизнь. Я держусь взгляда, что таких нерешенных старой русской жизнью проблем было две — национальная и социальная; я думаю также, что до тех пор, пока не насытится жажда русской жизни в правильном решении этих двух задач, — не будет достигнуто равновесие в русской жизни. И если большевизм падет, как политическая система, но революционные процессы будут не “разрешены”, и загнаны в подполье — желанной “органической” эпохи в России все-равно не наступит. В украинской проблеме, близко стать к которой пришлось мне, войдя в состав гетманского правительства, перед нами с особой напряженностью встает именно национальная проблема будущей России — конечно, не во всем своем объеме, но во всей своей глубине. Россия без Украины быть не может, Украина России нужна так глубоко и так разнообразно, что от правильного, т. е. исторически плодотворного, несущего с собой мир и творчество решения, зависит и судьба России. Если Украина останется в России, но не найдет для себя мирного исхода, творческая сила Украины, Украина будет очагом заразы, источником длительных потрясений, могущих потрясти окончательно существование России. Русская политическая мысль должна сознать это со всей силой.

Мне кажется, что та система культурного параллелизма, которую проводил Василенко в школьном деле, та система в церковной жизни, которую проводил я в своей области, — намечают путь такого разрешения вопроса, при котором может быть удовлетворена основная и главная потребность Украины — потребность творческого развития украинской культуры. Украина духовно еще не потеряна для России, еще не поздно духовно срастись России с Украиной — и тот факт, что украинское сознание в подавляющем проценте развивается обычно в тонах антирусских, еще не стал фатальным и непоправимым. Должны быть сделаны навстречу Украине те шаги, какие были сделаны нами в гетманский период, должна быть проявлена смелость и мудрость вплоть до созыва Украинского Учредительного Собрания с полной свободой суждений, но с кате-

горически ясным заявлением, что Россия не может допустить отрыва от нее Украины.

Гетманский период в истории русско-украинских отношений не должен быть забыт. Не нужно его возвеличивать или разукрашивать, но должно быть изучено все то положительное, что было сделано или что было начато — для того, чтобы из этого можно было извлечь надлежащий урок для будущего. Значение же гетманского периода в том и заключается, что он счастливо сочетал в себе искреннюю и подлинную любовь к Украине, подлинное желание помочь ей подняться и окрепнуть — с глубоким сознанием неразрывной связи с Россией. О себе лично скажу, что считаю своей заслугой, которая исторически погасла благодаря тому, что произошло после меня, но которая в своем смысле остается неизменной — то, что пути украинской церковной жизни я направлял столько же на блага ее для Украины, сколько и для России.

## Оглавление

<i>От издательства</i> .....	5
<i>Предисловие публикатора</i> .....	9
<i>Предисловие</i> .....	11
<i>Введение</i> .....	15
Глава I. Русская революция и ее проблемы. Положение на Украине до гетманщины. ....	15
Глава II. Украинская проблема до революции и во время ее. ....	25
Глава III. Церковное положение на Украине во время революции. ....	36
 <i>Часть I.</i>	
<i>Пребывание у власти.</i>	
Глава I. Вхождение во власть. ....	46
Глава II. Первые шаги мои. ....	61
Глава III. Вопрос о созыве украинского собора. ....	74
Глава IV. Перед Собором. Открытие Собора. Вопрос о митр. Антонии. ....	82
Глава V. Церковные дела до моего отъезда в отпуск (конец Августа 1918 г.)..	104
Глава VI. Общие замечания о гетманщине. Немцы и их роль. Проблема России в разные периоды гетманщины. Переговоры немцев с Милюковым. ....	121
Глава VII. "Политика" в Совете Министров (вопросы внешней и внутренней политики). ....	134
Глава VIII. Школьные и академические дела. Система культурного параллелизма. Собрание русских сил. "Спасение Украины для России"....	150
Глава IX. Мои политические переговоры в Крыму. Мой отпуск, церковные дела в мое отсутствие. "Пропавшие грамоты" м. Антония и его жалобы на меня. Основные разногласия с ним. Основные вопросы церковно-государственных отношений в эту эпоху. ....	160
Глава X. Отставка. Последний день в Министерстве. Несколько характеристик. Последние дни гетманщины, ее отзвуки в моей дальнейшей судьбе. Образование "группы федералистов". ....	178
Глава XI. Новые встречи с м. Антонием и арх. Евлогием. Украинские встречи (Дорошенко, Липинский, Скоропадский, Шелухин, А. Шульгин). Мой разговор с украинцами. Характеристики митр. Антония, Евлогия, Платона. ....	193
 <i>Часть II.</i>	
<i>Русско-украинская проблема в ее существе и пути ее разрешения.</i>	
Глава I. Русско-украинская проблема. ....	216
Глава II. Пути разрешения русско-украинской проблемы. Вопросы об Украинском Учредительном Собрании. ....	227
<i>Заключение</i> . ....	235

## Книги серии «Материалы по истории Церкви»

Работа над серией начата в 1991 году, первая книга выпущена в 1992 году.

Первой книгой серии стал труд Высокопреосвященнейшего Митрополита Ставропольского и Бакинского Гедеона (Докукина) «История Христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России». На основании многочисленных источников, исторических свидетельств и ряда архивных материалов автор рассказывает об истории Христианства на Северном Кавказе, охватывая период с первых веков от Рождества Христова до начала XX века. Книга вышла тиражом 15000 экземпляров, причем 2000 из них — в твердом переплете с золотым тиснением и портретом Высокопреосвященнейшего автора.

Вторая книга серии (протоиерей Сергей Гаккель «Мать Мария»), вышедшая 50000 тиражом весной 1993 г., посвящена жизни и деятельности выдающейся подвижницы современности — монахине Марии (Е. Ю. Скобцовой), мученически погибшей в фашистском концентрационном лагере Ravensbrück в 1945 г., за несколько дней до освобождения узников. Имя м. Марии в последние годы становится все более известным в нашей стране. Светлый образ, подвижническая жизнь и праведная смерть м. Марии свидетельствуют не только о подлинной святости, самоотверженной любви к Богу и человеку, но и о красоте и величии нашей Церкви. Переиздание книги о. Сергия Гаккеля, до этого дважды выходившей в Парижском издательстве «ИМКА-ПРЕСС», было посвящено мученикам и исповедникам Российским XX столетия.

Воспоминания Высокопреосвященнейшего Митрополита Евлогия (Георгиевского) «Путь моей жизни» стали третьей книгой серии. Ее тираж составил 25000 экземпляров. Книга вышла весной 1994 г. в твердом переплете с золотым тиснением в суперобложке, с двумя портретами автора. Мемуары митр. Евлогия являются уникальным источником, повествующем о целом ряде важнейших событий светской и церковной истории России конца XIX — начала XX столетий. Речь идет о системе дореволюционного духовного образования, быте и нравах духовенства той поры, революциях 1905 и 1917 гг., Японской, Первой мировой и гражданской войнах, о деятельности церковной организации на территориях, контролируемых Белой армией, о церковных и государственных событиях на Украине, в Польше и Западной Европе, куда вместе с остатками разгромленных белогвардейских соединений эмигрировал Владыка-Митрополит. Много внимания уделяется в книге деятельности Государственной Думы, работам Предсоборного присутствия, заседаниям Поместного Собора 1917—1918 гг., а также др. историческим событиям и фактам. Автор повествует о Св. Патриархе Тихоне, Патриархе Сергии (Страгородском), Митрополитах Антонии (Храповицком), Владимире (Богоявленском), обер-прокурорах К. П. Победоносцеве, В. К. Саблере, государственных и общественных деятелях — П. А. Столыпине, В. Н. Кокцовце, императоре Николае-II, Гр. Распутине и о многих других.

Четвертая книга серии — учебное и справочное пособие по истории Христовой Церкви протоиерея П. Смирнова, охватывающее период от Сошествия Св. Духа на апостолов до второй половины XIX в. (Протоиерей Петр Смирнов. «История Христианской Православной Церкви». Тираж 5000 экз.) Отличительная особенность труда о. П. Смирнова, выдержавшего свыше 30 изданий — краткость и доступность изложения. В приложении к книге дано краткое историческое описание Крутицкого Патриаршего Подворья в г. Москве. Книга выпущена летом 1994 г.

Пятая книга серии — «Из истории Христианской Церкви на Родине и за рубежом в XX столетии». В нее вошли работы А. В. Карташева «Временное Правительство и Русская Церковь», проф. И. А. Стратонова «Русская церковная смута (1921—1931)» и Митрополита Елевферия (Богоявленского) «Неделя в Патриархии». Впечатления и наблюдения от поездки в Москву.

## Книги нашего издательства

### **ЛИТУРГИЯ. АЛЬБОМ ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.**

М. 1991 г., в мягкой обложке, тираж 30 000 экз.

Книга предназначена для детей младшего возраста и может быть использована в образовательном процессе в православных учебных заведениях.

### **ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН МАТУСЯК. «НАША ВЕРА»**

(Основы Православной Христианской веры для детей и взрослых в популярном изложении.)

М. 1992 г., в мягкой обложке, тираж 25 000 экз.

Книга прот. Иоанна Матусяка, председателя Департамента молодежного служения Американской Автокефальной Церкви, в популярной форме излагает основные вероучительные истины Православной Церкви. Рассчитана на самые широкие читательские круги.

### **ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ, ГРЕШНЫМ?**

(Вопросы и ответы о Православной вере)

М. 1994 г., в мягкой обложке, тираж 25 000 экз.

Составитель В. А. Панова.

На вопросы читателей отвечает священник Вячеслав Марченков.

### **СВ. ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ ПИСЬМА О ПОДВИЖНИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ**

555 писем епископа Игнатия Брянчанинова к разным лицам. Значительная часть писем публикуется впервые.

### **СБОРНИКИ МОЛИТВ.**

#### **МОЛИТВЫ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ОТ НЕДУГА ПЬЯНСТВА.**

М. 1994 г., в мягкой обложке, тираж 25 000 экз.

В сборник включены Акафист Иконе Божией Матери, именуемой «Неупиваемая Чаша» и сказание о ее явлении, канон св. муч. Вонифатию, молитвы.

#### **МОЛИТВЫ ОБ УМНОЖЕНИИ ЛЮБВИ, ИСКОРЕНЕНИИ ВСЯКОЙ НЕНАВИСТИ И ЗЛОБЫ, УМЯГЧЕНИИ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ И ЗАЩИТЕ ОТ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ.**

М. 1995 г., в мягкой обложке, тираж 25 000 экз.

(Составители И. В. Соловьев, Д. В. Вановский, под общей редакцией протоиерея Валентина Чаплина, Настоятеля Крутицкого Подворья).

Сборник включает в себя Акафисты Честному и Животворящему Кресту Господню, Иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец», Св. Муч. Киприану и Иустине (с каноном), а также молитвы. В приложении — слово к читателям прот. Валентина Чаплина «Дурной глаз», «сглаз», приметы. О болезнях». Также помещены поучение св. Ефрема Сирина и житие св. муч. Киприана и Иустины.

## НОТНЫЕ СБОРНИКИ

### «ПЕСНОПЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА».

М. 1995 г., в мягкой обложке, тираж 1000 экз.

(Составители Л. И. Боровлева (музыкальный редактор Издательства), И. В. Соловьев).

В сборник вошли произведения А. Гречанинова (Страстная седмица), А. Архангельского «Господи си...», А. Веделя (в переложении Григорьева) «Покаяния отверзи ми двери», Н. Озерова «Кондак Акафиста Божественным Страстям Христовым», А. Кастальского «Бог Господь и явися нам...», Свящ. В. Зиновьева «Искупил ны еси...», П. Чеснокова «До молчит всяка плоть...» (Ор. 37 № 3), С. Богословского «Непорочны» Великой субботы на утрени.

### «БЛАГОСЛОВИ ДУШЕ МОЯ ГОСПОДА»

(Песнопения всенощного бдения для четырехголосного смешанного хора  
малого состава)

(Составители А. Ратников, Л. Боровлева (музыкальный редактор  
Издательства), И. Соловьев)

М. 1995 г., в мягкой обложке, тираж 5000 экз.

В сборнике свыше 50 произведений различных авторов, в том числе А. Кастальского, А. Архангельского, Иером. Нафанаила, Д. Ледковского, Г. Ардаматского, В. Бирюкова, А. Дворецкого, Н. Кедрова, А. Фатева, Я. Яичкова, И. Смирнова, Д. Христова, А. Горошко, С. Зайцева и др. Представлены песнопения обиходного, греческого, киевского, демественного, знаменного, болгарского, афонского напевов, обихода Синодального хора, а также Троицко-Сергиевой и Киево-Печерской Лавры, Соловецкого, Валаамского, Покровского монастырей, Зосимовой пустыни. Рекомендуются для руководителей и участников церковно-певческих коллективов, обучающихся церковному пению и всем любителям духовной музыки. Удобен для практического употребления в клиросной практике. Имеет высокие отзывы специалистов.

---

*На первой и четвертой страницах обложки  
виды Киево-Печерской Лавры.*

ЛР № 061218 от 21.05.95. Сдано в печать 01.08.95. Формат 84×108/32.  
Печать офсетная. Гарнитура Таймс. Тираж 5000 экз. Заказ 230.

Крутицкое Патриаршее Подворье, 109044, Москва, Крутицкая, 13.  
типографии ИПО Профиздат, 109044, Москва, Крутицкий вал, 18.